КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№

ЯНВАРЬ







ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1928 ЛЕНИНГРАД

ОТПЕЧАТАНО
в 1-й Образцовой типографии
ГИЗ'а, Москва, Пятницкая, 71.
Главлит № А-3169. Гиз № 24908
Заказ № 5781. Тираж 16.000.

Гибель Железной.

(Повесть).

Всеволод Иванов.

Глава первая.

В доме, где находился штаб Железной дивизии, от прежних хозяев осталось только тусклое зеркало в передней и в коридоре подле «зала заседаний» портрет какого-то кроткого с тонкими усиками человечка. К утру, когда в штабе утихала суматоха, с чердака слазил горбатенький и необыкновенно противный старичок в засаленной жилетке. Старичок бродил по саду, кряхтел, бранился злым и тонким голоском. Он долго стоял у ограды, напряженно прислушиваясь. Ясно, что слушать он только мог одно: когда поляки ворвутся в город, опрокинут осадное положение и восторженная сволочь помчится, размахивая белыми флагами по улицам!

— Прислушивается, — сказал Плешко. Облупленная краска на переплете рамы из синей стала вдруг мутно-красной: последние дни Плешко мало спал, и только мгновениями сон теплой пеленой проходил по его глазам. Плешко вытер веки. Старичок ковылял вдоль ограды. Из сада в комнату несло весенним утренним теплом. — Обыватель прислушивается к тревожным слухам. Падет Житомир, товарищ Мицура!

Командир бригады Филипп Степаныч Мицура, низенький, широкогрудый человек с желтыми обкусанными усами, тоже смотрел на старичка. Мицура был горд, всегда самодовольно улыбался и прославился необычайной речистостью. В колчаковщину он прошел со своим отрядом через Урянхайские дебри, Монголию и вышел к Владивостоку. Железная дивизия была им сформирована из сибирских партизан. Родная волость вышила ему красное знамя.

— Обывателя можно убрать, Ипполит Егорыч. Легче всего убрать обывателя. А только он вот ходит, ворчит и ворчит ведь тогда, когда думает, в штабе-то все спят, не видят его, а нам на него смотреть смешно. Ты вот пикаешь, а я вижу и могу тебя всегда прищемить, старичок почтенный!

— Я не интересуюсь прищемлением обывателя. Время видимо требует других интересов. Предлагаю мобилизовать в городе все, что можно.

— Сапог-то на ноге у него как квашня. А ведь поди ты — кроткий и безболезненный человек был.

— Кто?

— Я все про обывателя. В саду который. Портрет в коридоре висит. В молодости, видно, был кроток. Наши ребята все перепортили, а портрет оставили — очень, говорят, морда тихая. А вот он теперь понимает, днем не выходит: морда стала другая...

Плешко повернулся спиной к окну. Мицура понял его движение по-своему и сказал, что приказано увеличить патрули. На минуту лицо его стало тревожным. Еще поздно ночью Мицура вызвал Плешко с крестьянской конференции, а сказал он то, что Плешко сам давно знал: фронт, занимаемый дивизией, растянулся на восемьдесят верст! Пополнения не приходят! Всю зиму свирепствовал тиф, и некоторые полки насчитывают по сотне бойцов. Похоже на то, что среди партизан — железных великих бойцов — появились дезертиры. Конечно, Мицура не верит, что у него могут быть дезертиры, но человеческие слабости трудно учитываемы. Мицура покачивался на стуле и медленно крутил папиросы.

— Политотдел примет все меры, — сказал Плешко. — Думаешь ты грузить эшелоны имуществом дивизии?

— А их уже грузят. Спешным порядком. Имущество-то будто сажа — кверху корнем растет. Имущество, Ипполит Егорыч, впереди человека всегда бежит. — Он долго рылся в карманах и достал, наконец, желтую записную книжку. Внутри было несколько скрепленных никкелем листков, серый карандаш. — Вот тоже имущество! Офицера одного польского пощадили, зверь был, собака. Ноги нам от радости лизал, и вот книжку мне сунул. Запишешь на бумаге, а когда не надо записанного, смоешь и опять пиши заново. Всего-то пять листиков, а на всю жизнь хватит. Мне бы сейчас на охоту сходить, Ипполит Егорыч, пока срок не вышел. А что мне с записной книжкой возиться, на кой мне леший польская записная книжка?

Мицура и сам понимал, что говорит не то, что нужно. Низкорослый, с морщинистыми узенькими глазами Ипполит Плешко, начальник политического отдела дивизии, вежливо сидел перед ним и усиленно старался понять, чего же хочет Мицура. Глаза у Плешко красные, усталые и словно бы раздраженные. В штабе говорили, что всего неделю назад, как его бросила жена. Ушла с каким-то венгерским коммунистом. А Плешко ее любил и два месяца ждал ее в гости, в Житомир.

— Продай книжку, — напряженно улыбаясь, сказал Плешко.

— Купи, — тихо ответил Мицура. — У тебя, сказывают, с женой неблагополучно?

— Ты чего, за этим меня с конференции и вызвал? Город надо защищать, а не жен. Твои предложения какие?

— А вот сейчас представители учреждений явятся. Ревтрибунал. Особый отдел... Мои предложения — приготовиться на всякий случай, вот какие мои предложения. Сколько даешь за книжку?

— А ну тебя!

— Дарю. Вон в стакане вода: смой и пиши в нее все заново. Я в нее сны записывал.

— Зачем тебе сны нужны, Мицура?

— А тебе известно, что я во сне вижу. Всего вероятней, парень, что во сне я вижу самую замечательную жизнь. Так ты смой мои сны к чортовой матери, Ипполит Егорыч.

Глава вторая.

К восьми часам утра двадцать шестого апреля получено было сообщение, что поляки разгромили бригаду Второва. Курс советских денег упал на пятьдесят процентов. День был влажный и ветреный. На постоялом дворе мещанина Грубина, по предложению Плешко, собрались крестьянские работники политотдела. Хозяин разбирал соломенную крышу амбара — сено у него было конфисковано, из коней уцелела дряхлая кляча. Клячу эту Грубин кормил больше для хлопот, чтоб не тосковать. Тонкие вилы сверкали в прозрачном небе. Голова у Грубина острая. Прелая солома пахнет уныло, гробом.

«Железная дивизия имеет прекрасный клуб, великолепную библиотеку, которую привезли из Сибири. Имущества много и все нужное, а эшелон достать трудно и мало надежды, что его вывезут. Погрузить погрузишь, да так на станции и останется. Надо грузить на подводы. Прошу подвод!». — Повторяя несколько раз одни и те же фразы, Плешко думал: — «Надо еще прибавить... прибавить»... Бока у него ныли и в глазах кололо. Крестьянские работники слушали его молча. Затем рыжий мужичок в коротенькой шинели, подпоясанный чересседельником, подал ему список окрестных деревень, в которые можно было б поехать за подводами. Расписывая крестьянских работников, Плешко думал: которого же из них, скольких он видит в последний раз. Рыженький мужичок вскочил на лошадь, гикнул неумело. «Этот-то вернется», — уныло подумал Плешко. А с фронта поступали сведения все тревожнее. Политотдел выделил двенадцать наиболее активных, для того чтобы влиться в передовые цепи. Через город тянулся обоз бригад и полков. Грубин с вилами под мышкой прошел мимо Плешко. «Колеса-то у телег, будто попы поют», — сказал он подобострастно. Плешко стукнул ногтем по кобуре револьвера и вежливо ответил: «А как же им петь иначе, хозяин?» Мицура звонил по телефону. — Исполком позорно и нагло бежал. Каково ваше настроение? «Превосходно, — ответил Плешко. — Школа политруков дивизии направлена по охране мостов в окрестностях Житомира». Мицура повесил трубку. А мосты, звеня, искрясь, дыша железом, как бы повисли над городом. Весь город, небось, думает о мостах! Через минуту Мицура звонил еще, сообщая, что полкам приказано развернуться в боевом порядке и перейти в решительное наступление на поляков! Тетерев охраняется! «Какой тетерев охраняется? — и Плешко вспомнил охоту,

о которой утром говорил ему Мицура, — до тетеревов ли теперь?». Тетерев — это река, а охраняются на ней переправы к шоссе, единственной дороге, которая поведет дивизию на Бердичев. Голос у Мицуры был попрежнему самодовольный и высокий. Крутит, небось, папиросочки. Эх, товарищ Мицура, многословный и высокоголосый, — певчим бы тебе быть, а судьба одарила тебя сибирским характером, а значит и храбростью! Рыженький мужичонко в короткополой шинели уже ворвался во двор. «Подводы веду, — закричал он: — никак не могу к библиотеке прорваться, кавалеристы мешают». Крестьянские работники привели-таки подводы. Плешко пожал ему руку. «Как ваша фамилия?» — спросил он. — Тимофей Болдырев, его фамилия, — ответил рыжий мужиченко.— Обозы кавалерийской бригады мешают крестьянским подводам подойти ближе к постоялому двору. Мужиченко был необычайно доволен своей исполнительностью.

И тотчас же почти пришло сообщение, что поляки перерезали шоссе и занимают вокзал. С вокзала послышалась перестрелка. Обозы мчались по улице. У возниц были веселые бледные лица. И только расслабленные и как бы удлиненные шеи выдавали их испуг. На этих вялых шеях мотались крепкие и озорные головы. Плешко побежал на второй этаж дома. Рыжий мужиченко сопровождал его. Политработники с шоркающим грохотом сапог неслись ему навстречу по лестнице. «Взвод, стройся! — закричал Плешко. — К мосту, переправу охранять!»

Сильно, нестерпимо ныл затылок. Плешко расстегнул френч. Высокий и худой работник политотдела Клементий Пыхачев, чем-то похожий на грабли, держа винтовку за штык, прихрамывая и напряженно и насмешливо улыбаясь, бежал впереди взвода. Он все время оглядывался, стальные очки скользили у него с носа. И у этого человека, страдающего ишиасом, большой семьей и вечным недовольством жизнью, было тоже веселое и насмешливое лицо! Он и сам не сознавал, наверное, своего смертельного веселья. Взвод раскинулся перед мостом. «По беглецам, огонь!..» — только лишь хотел скомандовать Плешко. Пестрая ревущая толпа кавалеристов вывалила из переулка, она смяла цепь и кинулась на мост. Зарябил от вокзала пулемет. Кавалерист в синей фуражке с огромным кольтом в тонкой руке упал через голову лошади. Красноармейцы и кавалеристы кинулись к Тетереву вброд. Мост опустел. Пулемет сиротливо ныл. Автомобиль, длинный, синий, наполненный людьми, вынырнул на мост. Плешко разглядел зеленый широкий френч Мицуры, военком Петровский махал Плешко рукой. Начальник штаба, косоглазый и желчный Катин, оправляя пенсне, тронул шофера за плечо остановиться: Плешко обернулся к политработникам. Рыжий мужиченко Болдырев с любопытством смотрел на автомобиль, словно бы гадая: проскочит автомобиль под пулеметами али нет? «Не поеду!» — крикнул Плешко. Едва ли они слышали его голос, но они тоже оглянулись на взвод политработников и сделали под козырек. Шофер грудью впился в колесо. Автомобиль ринулся на мост...

— На шоссе, в лес, цепью, взвод!.. — крикнул Плешко.

Житомир пал.

Железная дивизия бежала. Политотдел Железной остался в тылу у поляков.

Глава третья.

Клементий Пыхачев, тот, который бежал впереди взвода к мосту, сидел, сильно опершись худой спиной в пень. Лицо у него было синевато-желтое, морщинистое. Он сильно устал. Раздражало его, повидимому, и то, что красноармейцы, несколько сот, бессмысленно толкутся по поляне, расспрашивая о командирах, и то, что день жаркий, сухой, а листва влажная и медленная, и то, что красноармейцы испуганно ждут польских разъездов, да и он сам боится и ждет не меньше других. Плешко, одергивая френч и потирая коротким и толстым пальцем грязные скулы, окрикивал знакомых. Рыжий мужиченко Болдырев стоял подле него и соболезнующе смотрел ему в рот.

— Пузыревский, Генька, — пронзительно кричал Плешко. — Ни одного командира полка! Перебили всех, что ли? Герои героями, а кто командовать массой будет? Мне хоть раненого одного приведите, пускай командование передаст.

Он подошел развалистой своей походкой к Пыхачеву.

— Геройский народ, чорт их подери. Все командиры перебиты!

— Перебиты, — раздраженно протянул Пыхачев: — просто сбежали. Герои! Две недели бубнили всем городом: поляки заберут, поляки заберут... Тут хоть и какой герой побежит. И вы не верите тому, что командиры перебиты и погибли героями. И солдаты не верят.

— Верят...

— У меня вот банка с консервами сохранилась — от всего Житомира. Всю жизнь ненавидел консервы, а на войне в самые отвратительные минуты приходится жрать эту гнусную пищу. Сели бы вы давеча с Мицурой в машину. Защищали вы город до последней возможности. Мост даже охраняли взводом. Ни пред другими, ни пред собой не совестно покинуть город.

— Стреляли, знаете, по мосту. И в машине могут убить, знаете. А я крови не могу вынести, меня тошнит. — Плешко крепко вытер губы и у него стало такое лицо, что Пыхачев, как его ни раздражал сейчас Плешко, поверил.

— Возможно. А я думал, вам политработников своих жалко. — Плешко пожал плечами. И Пыхачев подумал, что сейчас он скажет: «помилуйте, жалеть — это значит: не надеяться на своих работников, а наши работники, знаете ли, нигде не пропадут». А затем вскочит и начнет организовывать. И Плешко точно вскочил, кинул хлебные крошки в рот, осторожно передал консервную банку Пыхачеву и взмахнул руками:

— Жалеть. Наши работники — огонь. Они не пропадут! Пузыревский, Пузыревский, коммунистов собрать можно? Вот видите, товарищ

Пыхачев, ни одного командира полка, и красноармейцы в большинстве из тыловых команд и батальона связи, все же мы... Пузыревский!

— Чего вам Пузыревский?

— Его отпускать из виду не годится. У него, знаете, товарищ Пыхачев, прекрасный ориентировочный мозг и вообще... кулаки.

В ориентировочный мозг Пузыревского сам Плешко едва ли верил. Длинная голова Пузыревского походила на потертую щетку, у него были тупые и неподвижные глаза и медленныя движения. Он вытянулся подле Плешко, положив один на другой огромные жилистые кулаки.

— Пластунский полк семнадцатой дивизии идет по шоссе. Я его остановил. Полк при командире, направляется по шоссе. Я говорю им — Плешко, а они...

— Отказываются подчиняться?

— Выходит, отказываются.

— Пойду, поговорю. А вы, товарищ Пузыревский, за мной, а вы, товарищ Пыхачев, наиболее активных вокруг себя сбирайте.

Плешко выхватил желтую книжку из кармана и торопливо записал на первой странице: «Болдырев, Пыхачев, Пузыревский»... Книжка ему нравилась, карандаш шел по желтой и шершавой бумаге легко. Даже дурной почерк Плешко выходил на этой бумаге значительным. Преувеличенно, как и все в этот день, любуясь на книжку, Плешко шел за Пузыревским. Затылок фуражки Пузыревского засален, несколько сосновых игл прилипло к нему. Плешко шел и думал о неудобствах. Какое неудобство кругом! Вот Пузыревский — тупой и исполнительный, его можно назначить командиром колонны, а надо изворачиваться, искать комиссара к нему. Надо лгать, ловить бойкого человека, бойкие люди все попрятались или отступили вместе с дивизией, остались одни меланхолические растери вроде Пыхачева. Впрочем, и Пыхачев может пригодиться! Вот на сияющем солнцем гладком шоссе стоит пластунский полк. Лошади заморенные, люди усталые. Маленький тощий комиссарик в расстегнутом френче идет к пластунам вдоль шоссе по тропинке. Непредставительный, неудобный вид у комиссара! Чубастый командир, сдвинув на ухо папаху, неприязненно смотрит на него. У командира тонкие хрящеватые ноздри, щеки цвета свеклы.

— Слушаю, товарищ...

— Плешко, уполномоченный.

Нет, полк отказывается подчиниться Плешко! Полк сам сможет догнать отступающих и, вообще, он знает, куда надо направляться. Большие неудобства! Фамилия командира Белов. Вот если бы раньше встретились где-нибудь случайно с товарищем Беловым, несомненно теперешний разговор был бы и длиннее, и значительнее. Полк ушел, Пузыревский чистил травой сапоги. Шоссе идет в гору. Издалека полк походит на пук травы.

— Между прочим, я с уверенностью могу сказать, что пластунский полк первым бежал из Житомира. Естественно его нежелание нам под-

чиниться. Да и кони тоже у них, с такими конями работу разве можно вести? Им надо отдыхать недели три...

— Дрянь, — ответил коротко и самодовольно Пузыревский. Плешко доволен. И, вернувшись к отряду, он повторил о пластунском полке ту же выдумку, что и Пузыревскому. Красноармейцы бестолково толпились. Плешко прошел через поляну с листом бумаги в руке, вскочил на пень и крикнул: «Смирно!». Солдаты вздрогнули. И тотчас же, возвышая голос, не давая опомниться, Плешко заговорил:

— Как уполномоченный двенадцатой армии, мною составлен план действий... Организуется сводная бригада. Командиром бригады назначен товарищ Пузыревский... комиссаром к нему Болдырев! Сводная бригада двигается по киевскому шоссе на соединение с Железной доблестной дивизией. Впереди идут крепкие отряды, посредине артиллерия и обозы. Передаю командование... При малейшей измене...

Глава четвертая.

Плешко не договорил того, что он думал. Он хотел сказать, что при малейшей измене будет отдан приказ немедленно применить вооруженную силу. Но сейчас неудобно говорить так! Надо выждать некоторое время, хотя бы то, когда колонна двинется, пройдет один переход, остановится. Да и что можно назвать изменой: бегство, дезертирство, предательство? План действий, составленный им, неясен; направление сводной бригады по киевскому шоссе совершенно необосновано... Ночь была безлунная, гулкая. Шоссе скрипело, визжало. Часто ломались телеги. Кони уныло ржали. Тихо бранились красноармейцы, торопливо исправляя поломки. Головная колонна далеко ушла вперед. Когда стали спускаться с той горы, на которую в сумерки ушел пластунский полк, их встретил лес — сырой, безмолвный. Должно быть близко где-то протекала река. Плешко ехал в телеге с красноармейцами. Молоденький красноармеец осипшим голосом торопливо рассказывал похабную сказку о попадье и работнике. Красноармейцы хохотали деревянными голосами. Плешко старался понять над чем они хохочут, но он и сам плохо понимал сказку. Вдруг телега остановилась как-то особенно стремительно. Впереди послышались вопли: «В цепь, жива!». Красноармейцы схватили винтовки. Два-три выстрела гулко пронеслись над лесом. Человек, погоняя веткой низенькую лошадь, скакал вдоль шоссе. Он разыскивал Плешко.

Плешко пошел рядом с ним к головной колонне. Местечко Р., в которое, по плану Плешко, направлялась сводная бригада, будто бы занято поляками! А кто стрелял? Неизвестно. Ночь, суматоха, народ сомневается и, кроме того, неизвестная женщина Мицура. Какая неизвестная женщина Мицура? И причем тут командир дивизии? Человек бестолково бренчал стременем. Удивительно звонкое стремя. «Действительна чуда, — заговорил вдруг человек с седла: — я вот свою бабу не видал полтора года, а она говорит: все хозяйство и я, значит, в по-

рядке. Вот в стакане вода стоит столбом и не проливается: очень просто, а не чудо. Так и в таком деле, чтобы баба не напутала — чудо будет». Плешко не понял, почему красноармеец говорил о чуде и о своей бабе.

Пузыревский держал в руке громадный фонарь. Подле него стояла женщина в мужском стеженом пиджаке и длинной юбке. Когда Плешко подошел, она скинула пиджак и передала повод красноармейцу, рассуждавшему с Плешко о бабе. Пузыревский осветил женщине лицо, плечи. Плечи у нее широкие, почти мужские, голос тоже грубый и в то же время восторженный. Она ли сообщила, что местечко Р. занято поляками? Да, она! Откуда она имеет такие сведения и как ее фамилия! Женщина отвечала подробно, держа руки по швам. Красноармейцы теснились у телеги. Она только что приехала в местечко Р., оттуда думая пробраться к своему брату Филиппу Мицуре, командиру Железной дивизии? Она не знала точного местонахождения штаба дивизии, так как в местечке Р. уже в полдень было известно, что Житомир пал и дивизия отступила. Поздно в сумерки, кавалерийские польские разъезды беспричинно открыли по местечку Р. ружейный огонь. Хозяевам ее квартиры было известно, что она сестра Мицуры. Она, боясь репрессий, с револьвером в руках вскочила на коня и поскакала по киевскому шоссе. Она — женщина, но как ни страшны бандиты, но поляки еще страшнее! Она несказанно рада тому, что встретила части Железной дивизии. Бригада направляется на соединение, не правда ли? «Да, возможно, бригада направляется на соединение, — ответил Плешко. — Но, к сожалению, перегруженность работой мешала мне говорить с товарищем Мицурой о семейных делах, и мне неизвестно, имеется ли у него сестра, брат и вообще родственники. Однако вас, товарищ, мы обязаны приютить, и я подниму вопрос о прикомандировании вас, скажем, к клубу бригады!». Но она может показать документы. Документы? Хорошо, товарищ Пузыревский осмотрит ее документы. Кожа ее лица розовая и глаза расположены так, как будто правый выше левого. Пузыревский смотрит на нее с нескрываемым удовольствием. Да, много неудобств и много пустяков! По пустяковому какому-нибудь делу эта женщина ехала к своему брату из Сибири. Ехала, наверное, недели две-три. А теперь мотается по шоссе среди разгромленных войск и деревень — и докуда будет мотаться? И, несмотря на мотанья, говорит она возвышенно, крепко, а может быть и сама она возвышенный и крепкий человек. Но в данное время Плешко обязан сомневаться. Сомневаться без конца и краю, как бы ни мучительно было это сомнение. И Плешко громко сказал Пузыревскому:

— Мне давеча помешали досказать свою мысль, товарищ Пузыревский. Я хотел сказать, что при малейшей измене, замеченной вами, вы обязаны немедленно же применить вооруженную силу.

Пузыревский взмахнул тяжелым фонарем и скомандовал по обозу: «Назад!». Обоз шарахнулся и полчаса спустя свернул на проселочную дорогу, направляясь в Карастышевские леса.

Глава пятая.

Четыре дня узкими лесными дорогами шла дивизия. Деревень встречали мало. Мужики, рваные, босые, стояли подле хат и спокойными глазами провожали обозы. О поляках им вестей не приходило, «якие дывызии» проходят мимо — тоже. Церквушки в деревнях серые, грязные. Рассуждая о том, сколько же добра ухлопано на эти церквушки и что никакой пользы от них в теперешней жизни извлечь невозможно, Плешко и Пыхачев, перепрыгивая через пни, валежник, догоняли головную колонну. Фургон, обитый фанерой, оклеенный плакатами, на которых необычайно жирные буржуа с острыми зубами и польские паны в невероятных конфедератках, захлебываясь, вопили стихами Бедного, — фургон нырнул перед ними в выбоину. Широкая сосновая лапа упала и зашуршала у него по крыше: как бы зеленое шелковое знамя на мгновение полоснулось по ветру. Из фургона крепкоголосая Феоктиста Мицура окрикнула товарища Пыхачева:

— Рассчитывает товарищ Плешко в недельный срок вывести бригаду к Железной дивизии? Как вы думаете? У меня все бока разбило, дышать невозможно.

— И воздух здесь, Феоктиста Степановна, хороший и против лесной жизни я принципиально не возражаю, но судите сами — откуда мне знать про сроки? Я человек больной, измученный, мне бы лежать на лазаретной койке, а Ипполит Егорыч, видите ли, мне о пользе церквей рассказывает. Он себя строителем жизни чувствует, ему светлое будущее...

Плешко забежал с другой стороны фургона, открыл дверцу и опять захлопнул. Мицура даже не обернулась.

— Мы все строители, товарищ Пыхачев, даже и те, которые насмешливо говорят, что они и строить не могут. Раз живешь, значит строитель. Вы, товарищ Мицура, в фургоне книжки не просматривали? Рекомендую просмотреть и составить список. Могут быть полезные!

Феоктиста возвышенно ответила Плешко, что книжки ею давно просмотрены, список составлен, и, как только бригада остановится на отдых, — библиотека начнет функционировать. И дальше она возразила Пыхачеву, что он или утомлен длинными переходами, или по природе ворчлив, но даже и теперь, в переходное время, церкви могут быть полезными. А позже они превратятся в музеи, в которых новые поколения людей, свободные и радостные, будут учиться на ошибках своих отцов. Она вспоминает свое тяжелое детство, когда она каждую страницу прочтенной книги вырывала у жизни, кровью своего сердца, и книга часто оказывалось не той, которая нужна рвущемуся к знанию человеку. Пыхачев насмешливо кивал головой.

— Так, так, Феоктиста Степановна, — сказал Пыхачев, тяжело, со свистом вздыхая, — ваши слова молодые, красивые. Я сильно рад, что вы так думаете. Я и в партию-то, может быть, пошел из-за красивых слов. Мне, знаете, жить осталось полгода, самое большое — год. И если

умереть не окруженному красивыми словами и поступками — скучно, а?.. Даже стыдно. Я всю жизнь по земству работал, отец у меня ветеринарный фельдшер. Детей у меня пятеро и все золотушные, потому что я отец слабый и мне бы родителем не следовало быть... Любовь, красота — слова-то какие! Иди по лесу как травленный волк — из-за этих слов. И умереть придется совершенно неправдоподобно, а мне неправдоподобная смерть зачем?

Возница, белесый мужиченко в коротенькой холщевой рубахе, обшитой по вороту синей тесемкой — всем, движениеми и легким говорком похожий на ребенка, вдруг мелко-мелко заморгал глазенками и, презрительно трепыхая возжами, заговорил: «Про любовь всегда, выходит... в песнях да в господских разговорах — будто как солнце, без огня горит и всех может мучать. А нашего брата подводами замотали. Сколько лет уж не помню все солдат возим и все задарма... Болтают... В Железной дивизии храбрец на храбреце и кроме того — справедливость...».

— Вот тоже и ему красота нужна. А, может, тоже зря, а?

— Что болтают? — поспешно спросил Плешко.

— Разное болтают... Нам бы подводы... поменьше.

Крепкая, смуглая рука открыла дверцу фургона, подле которой шел Плешко. Под локтем на руке небольшое розовое пятно — человек сильно опирался на дверь, когда слушал разговоры — если приглядеться к пятну, ясно различишь отпечаток планки. Человек внимательный, с ясным взором и стремительным голосом. Вот она сколько за такой короткий срок сделала: клуб почти готов, библиотека просмотрена, а ведь только сейчас товарищ Плешко заметил имеющиеся книжки. Она опустила глаза перед враждебными и в то же время смущенными глазами Плешко. Вот они уже идут впереди фургона: маленький, кажущийся кривобоким, Плешко и длинный Пыхачев. Обгонять им воза трудно: дорога узкая, а у дороги пни, валежник, весенняя трава. Пыхачев пробует остановить Плешко и полувосторженно, полупрезрительно, наверное, говорит, что теперешняя жизнь напоминает ему детские книжки и энергичная возвышенная спутница тех героинь, которые... Феоктиста Мицура сама растрогалась своим мыслям, ей трудно было перенести одной свою растроганность. «Ипполит Егорыч, Ипполит Егорыч!» — позвала она. Плешко ожидал ее, стоя на пне. Пень походил на серую вазу. Феоктиста схватила Плешко за руку и, стискивая ему пальцы, сказала: «Вы превосходный человек и милый... вообще. Если б поудобнее ехать, я совсем была б довольна жизнью. Воздух-то, воздух!». И она захлопнула дверцу. Возница обернулся к нему:

— В прошлом годе из-за подвод сено я сгноил. Бандистов им, видишь, ловить надо, а бандисты сами сенокосом занимались... Вот и выходит всегда: подвода как угодно может человека замучать. А двизия-то им и говорит, вы, говорит...

— Какая двизия?

Мужиченко, вздрогнув, с неожиданной злостью ударил по лошадям. Фургон зарычал фанерными своими планками. За фургоном воз с патронами, за патронами — пять велосипедов и два пулемета, а за ними красноармейцы, красноармейцы. Вяло свесив руки, уныло покачиваются они на телегах. Сосны темные и грязные походят на какой-то гигантский дождь.

Глава шестая.

Пузыревский, попрежнему малоповоротливый, кажется все с той же щепочкой в зубах, с которой он принимал командование бригадой, плотно соединив толстые и длинные свои ноги, прослушал и немедленно согласился с Плешко, что расположение у озерка и речки Ухавы вполне подходит для бригады. В полуверсте волостное село Ухава. Если придвинуться вплотную к озерку, противнику будет открыт один фланг. Только одно смущало его: болотистая местность, сырость, долго стоять: голос потеряешь. Плешко чувствовал весь день на душе тягучий и мучительный осадок и все старался уяснить: откуда это у него?

— Плохо, сильно плохо, — сказал он, подписывая приказ об организации бригады. — Ты на голос надеешься, что ли?

— Голос помогает, товарищ Плешко.

Плешко хотел указать Пузыревскому, насколько тот ошибается. Раздражение охватывало все более и более. Нос у Пузыревского похож на подкову, а усы как гвозди. Но тут ему пришло в голову, что ведь под Житомиром Пузыревский понравился же ему громадными своми кулаками.

— Геньша, кулаком голову разбить можешь?

— Чью?

И час спустя Плешко докладывал на общем собрании коммунистов бригады, что, по предложению товарища Пузыревского, бригада останавливается на отдых у озерка Ухавы, в село назначается волостной комиссар и комиссар по продовольствию, что задачи политработы в настоящее время: восстановление дисциплины, борьба с мародерством, дезертирством и паникой, будут проводиться всемерно... пускай негодяи и трусы берегут свои головы. Организован бригадный клуб. При клубе библиотека. Пора выделить комиссаров и политруков!..

— Стесняются еще говорить, — сказал рыжий мужиченко Болдырев, садясь после собрания рядом с Плешко: — а разговоров об Железной по бригаде много ведется. Если предположим неделю отсутствие сообщенья-то, я тебе скажу, Ипполит Егорыч, народ нас окружает темнай, тыловой и небоеспособнай, как говорится. Посмотрят, посмотрят, плюнут на нас...

— Разойдутся?..

— Спасибо, коли разойдутся.

— Вот политруки и необходимы... Сибиряки...

— Сибиряки мне известны. Вот сибиряки-то так и думают, как я тебе говорю. А и не только сибиряки, да и окрестный мужик тоже. — Болдырев моргнул рыжим своим глазом. — Сибиряк сибиряком, соринка

в глазу, конечно, заметней, чем дуб в море, а все же и по всей земле, я полагаю, так же мужики думают.

Плешко начал чувствовать легкое недоумение. Подошел Пузыревский и донес ему рапортом, что бригада в полном порядке. Болдырев засмеялся. И Плешко торопливо сказал, что пока бригада занимается расстановкой и посылкой разведчиков, засад, налаживанием продовольственного и транспортного вопроса, он съездит на ближайшую станцию железной дороги, чтобы по прямому проводу связаться с Киевом и Бердичевом. Желательно б получить тачанку с пулеметом; двух смышленых кавалеристов.

— Вот правильно башка работат, — обратился Болдырев к Пузыревскому, — а ты: рапорт! Этот сердцем не сдаст, этот умом вывезет. Вот учительша нонче к клубу нашему пришла. Страсть как походит на мою деревенскую учительшу. У той морда была красота, народу из-за той морды погибло!

— Зачем нам учитильница, товарищ Болдырев?

— Учительница нам действительно не нужна, Ипполит Егорыч. А вот, должно, сожгли у ней школу, она жить в крестьянский избе не может, воспитание не такое. Приходит ко мне. А в фургоне места на двоих как раз. Я говорю: живи в фургоне. Две бабы, все-таки веселей и смущенья для народа меньше.

Болдырев смиренно вздохнул. «Уже и мысли мои пронюхал, жулик», — подумал Плешко и ему стало веселей.

— А ты часом, товарищ Болдырев, не слышал давеча, как мы с сестрой Мицуры говорили?

— С сестрой? С какой сестрой? Нешто у него сестры есть? Вот не знал.

Пузыревский строго наклонил к нему густую свою бровь:

— А разве она не сестра, — почему ты так думаешь, Болдырев?

— Да не думаю я так, отойди. Ну, пускай сестра будет. Я разве спорю? Показать тебе, Ипполит Егорыч, учительшу?

Плешко взял портфель. Пузыревский посторонился. Болдырев, затягиваясь махоркой, смеясь и сплевывая, говорил:

— Не буду, не буду показывать. Во всю жизнь не покажу. Ближайшая для тебя станция Бровки будет. Парней для сопровождения я тебе хороших дам, вроде и местность знают, оттого что болтливы больно, а насчет языка и Киева поговорка известна. Савка! Савка...

Пулеметчик Савка Ларионов с белокурыми стружками волос на розовом гладком лбу в выпачканной маслом шинели встретил Плешко у тачанки ласковым хохотом. Другой сопровождающий, Саша Матанин, огненный, веснущатый, похожий на сухую хвойную лапу, угрюмо мотался на поразительно сухопарой лошади. И лошадь и он казались злобны и сухи, что поднеси к ним сейчас спичку — вспыхнет и сгорят в одну минуту. «Конь-то выдержит?» — спросил Плешко кавалериста. «Я его так могу бить, что он и мертвый до Владивостока довезет», — ответил Саша Матанин.

Две женщины смотрели вслед мчащейся тачанке. Сонная и вялая пыль стлалась по дороге.

— Это великий, прекрасный, хотя и болезненный человек, — сказала Феоктиста Степановна, держа стакан с морковным чаем в руке. — Но кончит он, я уверена, плохо. В жизни необходимо спокойствие.

— А мне говорили: он веселый и все по лагерю ходит и анекдоты рассказывает. Я, знаете, по культурному анекдоту соскучалась... У меня брат был...

Но здесь ее Феоктиста вдруг прервала и заговорила быстро: она танцовала с братом, а в это время говорят: большевицкие полки мимо идут, сейчас обстрел сторожки начнется. Она выскочила из сторожки, на коня, она любит выстрелы, бой, и вот конь ее понес, несет, несет!.. А ездит она мало, неумело, — и попала в самую кашу битвы. А теперь вот и белья нет переменить.

— На самом деле смешно: нам солдатское белье придется носить.

— Не смешно, а страшно! Солдатское белье — это ж могильное белье. Оно и грубое как гроб.

Глава седьмая.

Тачанка остановилась на пригорке, над станцией, в яме, вымытой дождями. Кони, стараясь выкинуть удила, тянулись к траве. Трава была высокая и покрытая розовато-желтой пылью. Савка Ларионов, разглядывая сквозь траву станцию, сказал лениво: «Жалезна дорога чисто рукомойник — всякому поклон. Спалить бы, по мне, все эти станции». Огненноволосый кавалерист посмотрел на него пренебрежительно и спросил Плешко: «Какие дальше нам распоряжения?». И Плешко подумал, что если послать вот их двоих, то один перепутает поручение от восторженности, а другой — от осторожности. Единственная грязная улица станционного поселка походила на прокуренный мундштук. Тощий теленок, наслаждаясь свободой и теплом ветром, мотался по улице. Он чувствовал запах свежей хорошей травы, но не знал, куда бежать. Тачанка бросилась с пригорка. Несколько лохматых кур мотнулось из уличной канавы. Старуха выглянула в окно избы и перекрестилась. Двухэтажный домик с зеленой вывеской остановил внимание Плешко. Он велел Савке-пулеметчику стать в тонком конце улицы, а Саше Матанину караулить к раструбу, а сам вошел в домик. Плотный широколицый человек с гранатой в одной руке и с револьвером в другой, грохоча сапогами, выскочил на лестницу.

— Вы кто такой, такой? — завопил он испуганно.

— А вы кто?

— А вы?

— Нет, скажите вы. Ну-у!..

Плотный человек поднял гранату над головой.

— Я агент транспортного чека!

Плешко назвал себя. Агент положил гранату в карман и попросил спичек.

— Вот, знаете, товарищ Плешко, если б вы отчеканили стальным голосом: «руки вверх», я бы несомненно их поднял. Судите сами: милиция сбежала, каждую минуту на станцию бандиты могут заявиться, сплю я в оружии и ежедневно меняю место ночлега, потому что предательства боюсь...

— Фамилия?

— Щербаков, Павел.

— Пройдите, товарищ Щербаков, к тачанке: мы присоединим вас к себе в случае чего.

Разговаривая с начальником станции, Плешко вспомнил Щербакова и подумал, что хорошо бы с пяток таких героев насбирать, и сказал вслух: «Пора ягод и героев». Начальник станции ходил перед ним шоркающей походкой, украшенный флюсом, несмотря на сухие дни (правда, в начале разговора он заявил, что станция Бровки находится в нездоровой и сырой местности), бормотал: «Какой там Бердичев? В Бердичеве, полагаю, поляки». «Ну, я подожду, пока они выйдут», — сказал Плешко, стараясь казаться возможно более беззаботным. Начальник станции долго бормотал над аппаратом, что и поесть-то не дадут, что зубы у него шатаются. В палисаднике неприятный детский голос тянул однообразно: «Папа, суп стынет!..». Наконец, послышался в аппарате Киев. К аппарату подошел комиссар штаба Рейх. Плешко хорошо помнил его: это был стремительный, честный и часто ошибающийся человек. У него были пухлые губы колечком и узенькие зеленые глаза. Он долго и осторожно мычал, словно боясь, что даже мычанием может выдать он какую-нибудь штабную тайну, а затем стремительно спросил:

— А какой нос у Керемеенки?

— Нос у Керемеенки нормальный, — ответил Плешко, — а на правой ноздре бородавка.

— Все бандиты знают про эту бородавку. Опиши твою жену!

— Я с женой развелся и разговор об ней мне неприятен.

— Когда развелся?

— Я не развелся с ней формально, но получил от нее письмо в Житомир.

— Ну, как тебе не печально, а опиши.

— Да что она, в Киеве?

— А может и в Киеве.

— Да ты что: с ней живешь?

— Отойду от аппарата.

Плешко торопливо сказал несколько фраз.

— Так, так, — бормотал комиссар штаба, и вдруг он зычно крикнул. — Валяй, докладовай, Плешко!

— Сводная бригада, сформированная из раздробленных частей, занимавших Житомир, под непосредственным наблюдением Плешко

находится в районе станции Бровки. У нас имеется около пятисот штыков хотя малобоеспособных, но сознательных. У нас нет обоза, почти нет снарядов, но мы готовы драться... Усиленно мы просим снарядов и в частности...

— Хорошо, я верю. Даю директивы.

— А также прошу сообщить немедленно о положении Железной дивизии, так как усталая красноармейская масса, состоящая большей частью из сибиряков. Железная дивизия нас интересует также...

— Как? Что вас интересует?

— Железная дивизия. Да выслушайте же вы, чорт возьми!

— Хорошо. Даю директивы. Обождите у аппарата.

Аппарат на Киев безмолвствовал. Уже несколько раз приходил пулеметчик Савка. Подле подоконника на пол мелкими крошками осыпалась штукатурка. Кондуктор, седой, в рваной куртке и рваных сандалиях, поставил ящик с инструментами подле подоконника. Штукатурка вдруг рассыпчато забарабанила в ящик. Это прыгнул Савка и вытянулся подле порога:

— Прикажите, товарищ Пляшка, огня!

— Сиди спокойно, Савка.

— С шарфами какие-то скачут на станцию. Петлюровцы, что ли...

Несколько всадников с развевающимися шарфами скакали к водокачке.

Тачанка свернула в переулок, затем в лесок.

— Ну, как дела-то в Киеве? — спросил Савка, показывая станции кулак.

— Отлично.

Агент вздохнул.

— Вот вы говорите отлично, товарищ Плешко, а я пост свой покинул.

— А если б не покинули, вас бы шарфы разрубили.

— Выходит, что я вроде мертвого, и теперь за свои поступки не отвечаю?

— Выходит. У вас есть жена, товарищ Щербаков?

— К сожалению, нет, так как война и любовь занятия несовместимые.

И Савка подтвердил:

— Кака там любовь? Вот я подъезжаю к поселку, в поселке-то, может, моя любовь живет — ожидает, а мне на душу выпало: «Савка, огонь по поселку». Вот я свою любовь и кончу, не зародив.

— Согласен с вами, — и агент еще раз вздохнул.

Огненноволосый кавалерист наклонился с коня и пытливо спросил у Плешко:

— А как же двизья-то, начальник? Я вот стою у водокачки: станция-то огромная, в каждое окно по три пулемета вставить можно, и все эти пулеметы на меня. Згинем мы без двизии: и полячишки слопают, и петлюровцы.

Савка и агент Щербаков уставились на Плешко. Агент даже сухарь, который он сосал, вынул изо рта и крошки сдунул с усов.

И Плешко вдруг, чувствуя необычайную легкость на сердце, сказал:

— По полученным сведениям дивизия в полном порядке и ждет нас.

Глава восьмая.

С колес веером скользил песок медового цвета. Топота почти не слышно. Ласковые и опрятные ели медленно подымались из песка. Кавалерист Саша далеко ускакал вперед, затем вернулся, опять ускакал. Конь у него оказался, действительно, превосходным. И глаза необыкновенно умные. Вот за такие глаза, подумал Плешко, иногда, смертельно любят некрасивых женщин. Из-за таких глаз погибают. И дальше Плешко вспомнил, что сейчас, разговаривая по аппарату с Рейхом, он описал ему жену свою некрасивой с хорошими глазами. Да и многие, любившие ее, находили ее некрасивой. Да и можно ли любить за красоту, да и что такое любовь? Вот бабник ли, любовник ли, Плешко? Может быть, то, что он называет любовью, есть постоянное стремление помочь людям, не только в борьбе, но и в душевном устройстве их, в душевном спокойствии, так сказать. Вот и Феоктиста Мицура, слов нет, — красавица, но есть ли у Плешко стремление полюбить ее? Едва ли. Возможно, не сегодня-завтра он будет стоять вечером у фургона. Сальная свечка, оползая на подсвечник, будет догорать. Свет от нее, очень теплый и рассеянный, будет освещать пустой фургон, а Феоктиста будет, закрыв глаза, лежать у его груди и тихо говорить, что ее никто так не целовал. И она сама будет верить этим словам, и он поверит им, и когда он отойдет от фургона и когда будет ложиться спать, ему будет казаться, что никогда он не был так счастлив, как сегодня. А все это от того, что его наполняет стремление устранить неудобства ее жизни. А серьезно-то подумать: кто она? Сестра Филиппа Мицуры? А где ее документы? Она хотела их предъявить, а до сего дня не предъявила. Вот ведь наладится жизнь слегка в дивизии и Пузыревский научится наводить порядки, ведь он же потребует от нее документы. Конечно, пошло и плоско так думать, но она может оказаться польской шпионкой... многое в этой жизни надо исправить. И затем на деле к концу жизни выйдет, что любил-то по-настоящему он жену свою, которая в Киеве...

Плешко достал желтенькую книжку, подаренную ему Мицурой, и записал: «Щербаков. Савка Ларионов». Савка, фартово опираясь рукой о пулемет, спросил его:

— А пополнения в дивизию поступили, Ипполит Егорыч?

— Пополнения получены.

— Ну, значит наши не выдадут. Погонют наши полячишек. Мы им можем разъяснить, как капиталистический строй устраивать.—Он глубоко вдохнул воздух: — Вот тебе и лес такой же, как и у нас, и тебе пашня... хоть я и пашней не занимаюсь, а все больше пасекой и мараловодством.

Агент встрепенулся и переспросил подозрительно: «Как вы?..».

— Мараловодством, — повторил Савка с удовольствием длинное слово: — оленей таких...

— Ах, оленей, а то, знаете, слово подозрительное.

— Все так же... однако домой манит...

Кавалерист Саша опять показался среди елок.

— Хоть в перегонки бы, а то что ж самостоятельно коня мучишь — упрекнул его Саша.

— Мучишь, — хмуро ответил кавалерист, — а так приехал, что там скачут. Виртай, товарищи, в кусты.

Тачанка остановилась среди густых и запашистых елей. Плешко выступил несколько вперед. Рядом с ним, низко к земле держа карабин, стоял Савка. Руки его дрожали.

— Ты, Савка, охотник? — спросил Плешко.

— Я - то? Нет, дяденька. Я кровь животную не люблю проливать. Человеческую кровь можно со смыслом пролить, другим потом легче жить будет, а животная что, хорошо если тигр, а то ведь мясо и мясо, всего и пользы.

Глава девятая.

Стемнело. Несколько силуэтов всадников показалось на дороге. Савка пополз. Шопотливо зашелестела хвоя. Затем раздались выкрики. Голос Савки: «Свои!» — и чех Гавро, командир интернациональной роты, сутулый и чем-то похожий на монгола, подскакал к Плешко. Гавро всегда удивлял Плешко своей сосредоточенностью, важностью. Оборванный, в лаптях и рваном картузе, он каждый вечер долго сидел у костра, заполняя маленькую тетрадку мелким и скорым почерком. «Пишу дневник жизни», — ответил он Плешко. И тогда Плешко предложил ему вести дневник бригады. Гавро ответил ему медленно и сурово, что он не обладает таким великим слогом, который бы мог описать геройскую жизнь бригады, с него хватит, что если его тетрадь попадет к его сыну и будет им прочтена и хоть сколько-нибудь убедит сына вести жизнь, достойную памяти отца. Плешко обиделся и с того дня почувствовал неприязнь к Гавро. Теперь этот Гавро, качаясь громадной головой, над стриженной гривой лошади, докладывал ему. Голос у Гавро был обеспокоенный, хриплый. Фонарь освещал его широкую ногу и стремя, скрепленное веревками.

— Назначенный комиссар и комиссар по продовольствию — сбежали. В бандиты сбежали, иначе куда! В полдень к нашему расположению подошел вновь пластунский полк под командой товарища Бьялова и сообщил, что им известно: поляки ведут наступление вдоль железной дороги и что пластуны обстреляли польскую разведку поблизости Ухавы.

— В какой, приблизительно, близости?

— Пластунский полк вновь отказался войти в соглашение и повел самостоятельно отступление на север...

— Ну и чорт с ними, пускай катятся!

— Нам, кричат, на вашу Железную плевать. К таким словам нельзя относиться хладнокровно, я просил позволения разоружить пластунский полк. И теперь...

— К чорту пластунский!.. Кроме того, что?

— Кроме того, догонявшая нас группа красноармейцев, проходя мимо одной деревни, была оскорблена, избита, обобрана. Да... Двое от полученных ран умерли. Мужики все... С другой стороны... — Гавро вынул ногу из стремени и отодвинул фонарь. Голос у него посерчал. Если я делаю доклад, то мне необходимо освещать лицо, а не ноги, товарищ пулеметчик. С другой стороны, мною выиграно в карты триста пудов картошки.

— Причем же здесь избитые мужиками красноармейцы?

— В бытность свою военнопленным мне много пришлось играть в «очко», в двадцать одно, иначе. Теперь я применил свой навык и выиграл у мужика поле картошки. Мужик мне говорит: «Ваша дивизия мужицкая, она всем мужикам счастье несет и освобождение. Ее одну поэтому вся земля прозвала Железной». Я не возражал. Мужик мне говорит: «Ты мне проигранное поле картофеля возврати, потому что ты теперь имеешь право даже его перепахать и таким образом загубить весь картофель». я ему возразил, что хотя я и имею это право, но поступать так не могу: мне на родине будет стыдно. Мужик мне говорит: «Хорошо, что у тебя есть родина, а у нас и родины нету и насмеяться над глупостью некому. Но ведь и ты ради идеи можешь отказаться от родины». Я ему говорю, что ради идеи я могу отказаться. Мужик мне говорит: «Значит и перепахать поле сможешь ради идеи». Я ему отвечаю: «Если понадобится — перепашу». Мужик мне говорит: «Бери у меня зарытую в яме картошку, вместо поля, триста пудов». И открыл яму.

— Много говорят о Железной?

— Тот же мужик просил меня выдать охранную грамоту от имени Железной на поле. Но я, как не уполномоченный, отказался.

— Говорить везде, что Железная дивизия воюет за пролетарскую революцию, за пролетариат, за освобождение... Да, они правы. И за мужиков! — Плешко легонько потрепал себя по щеке, соскочил с тачанки. Легкий озноб, похожий на то, что тело его наполнялось теплым колеблющимся паром, охватил его. Он пожал руку Гавро и спросил: — Но ведь, несомненно, вы тоже хочете спросить меня об Железной? Она в порядке, в исправности и совершенно боеспособна! Сообщайте при первом же случае всем, что у нас сплошь Железные дивизии, мы... Передайте, возвратясь, что на завтра я предлагаю созвать общепартийное собрание коммунистов бригады. Теперь я желаю покончить с пластунским полком. В каком направлении он ушел? Так вот я еду туда с товарищем... Матаниным. А вы поезжайте и подготовьте... к общему собранию.

Рыхлый топот удалялся в лес. Плешко, свесив ноги с тачанки, долго прислушивался. Восторженный голос Савки, вопящего о том, что с Даль-

него востока пришли пополнения в Железную, — донесся до него. Плешко подумал: «Этот сотню нумеров газеты заменит» и потянул возжи.

— А нам же сюды свертывать, Ипполит Егорыч,— сказал Матанин.— Вы ж к станции поворачиваете. А сюды, налево-то, мы выйдем на киевское шассе, а по шассе-то и к пластунам. Направо-то вы как раз попадете к линии.

— Пластунский полк, — сказал Плешко, хватая по коням бичем: — при его дезорганизованности свободно появится и на линии. Какая станция следующая за Бровками, которая могла бы быть свободна от петлюровских банд, товарищ?

— По-моему, Магалево. Сказывали...

— Ну, так вот и понесли на Магалево.

Глава десятая.

Станция Магалево имела три улицы — опрятных, засаженных тополями. При въезде на станцию у кузницы с трубой, похожей на крендель, Плешко увидал пять ободранных конских туш. Свежий и яркий песок могильных холмов сверкал позади туш. Стоптанная полынь окружала могилы. В могилах вместо креста — колья. Стояла полная луна.

И в Магалеве, как и на Бровках, представители общесоветской власти давно исчезли. Начальник станции, молодой, щеголеватый, даже как будто щеголяющий своим бесстрашием, не удивился появлению Плешко. Должно быть, за время своего пребывания на станции, начальник видал много властей, потому что он спросил деловито и вдумчиво:

— Вы от какого правительства?

— От советского, — так же деловито и вдумчиво ответил ему Плешко. Ему стало смешно. Начальник станции смотрел на него серьезно, не понимая его смеха. — Много правительств имели?

— Правительств с двадцать насчитается, — все так же деловито отвечал начальник.

— Как ваша фамилия?

— Урголин. Только фамилия моя при чем же? Сегодня вы вот — третий. От Половецкой республики приезжали, спирту спрашивали. А какой у меня спирт? Будто бы я не пьющий.

— Половецкая республика? Не слышал!

— Волость у нас такая есть. Вот если вас подальше в леса погонят, — узнаете. Так и называется: Половецкая республика. Лес да банды, и никакой власти. Вам до какого города надобность?

— О Железной дивизии слышали?..

Начальник станции, положив правую руку в карман, с удовольствием простер левую к чистенькому и пустому перрону.

— Железная дивизия через меня не проходила, иначе слышал бы. Вам какой город и какой вы части сами?

— Город Киев, а часть... — Плешко с удовольствием смотрел на важность и медлительность начальника станции. Усы у него так подстрижены, словно он знает, что ни при каких правительствах его не убьют и надолго еще ему понадобятся такие опрятные усы.— Часть наша сводная бригада...

— Город Киев я вам дать не могу, потому что на город Киев провод перерезан, но представителей бригады как раз разыскивал бронепоезд.

— Из Киева?

— Раз бронепоезд, — думаю, из Киева. Сказал: приеду еще, а возможно и не приедет. Вы меня извините: разрешите вам посоветовать поставить караулы, чтобы вас, случайно, не убили, а сами отдохните у аппарата: звонить-то наверняка бронепоезд будет. Там диванчик...

Все — и начальник станции, и сама опрятная станция с пустующими и светлыми рельсами, даже фонари — три больших фонаря — горели на перроне, — все сильно нравилось и умиляло Плешко. Начальник станции делает свое дело, он помогает справедливости. Что такое справедливость? — Совершенно неясное понятие. Справедливость всегда побеждает, а начальник станции помогает победителям, — вот и получилось, что он помогает справедливости! Плешко прилег на диванчик. Острые пружины впились ему в бок, вскоре и клопы поползли на него. Ему не спалось, и он чувствовал, что не заснет всю ночь. Часто из-за работы ему приходилось не спать ночи, но никогда он не чувствовал такого умиления, что не спит, и даже умиления от желания не спать. Он может заснуть. Звонок разбудит его! Мрачно-трусливый Матанин караулил бы исправно всю ночь, пытаясь спрятать в себя и трусливость свою и мрачность. Вот клопы ползут по крыльцам, в те именно места, где их не достанешь. В комнате пахнет сухой бумагой и шубным клеем. А он, Плешко, лежит и думает, что Железная дивизия не пропала и не пропадет, хотя она сейчас и без политотдела, без коммунистов. И даже не важно, если Плешко и его друзья не вернутся к дивизии, а сгинут вот тут в лесах, в какой-нибудь Половецкой республике. Железная дивизия есть справедливость, та хорошая мужицкая справедливость, которая лучше всякой грамоты охранит картофельное поле, пашню, покос. Все превосходно! — Бронепоезд прибежит. Кавалерист Саша Матанин караулит исправно. Ночь — теплая и веселая — идет быстро, и ожидание нисколько не утомительно! И как нехорошо, что он в начале организации бригады раздражался, обижал кого-то, ворчал... Теплый озноб неотступно владел им, голова его горела.

Матанин входил несколько раз, все повторяя, что вокруг станции будто люди какие ходят. Плешко вышел на крыльцо. Село было темное, пласты улиц лежали как гроба. Далеко где-то скрипели ворота. Их, наверное, забыли закрыть, они скрипят, хозяева трепещут, а выйти закрыть страшно. А пройдет десять-пятнадцать лет, и село будет освещено электричеством, и девки в шипящих новых ситцевых платьях, — грудастые и широкозадые, — в обнимку с парнями, горланя и смеясь, пойдут по

улицам, и никто не вспомнит ни Плешко, ни трепещущего Матанина. «И отлично, очень хорошо, что не вспомнят»,— с удовольствием подумал Плешко.

— От войны и собаки отучились лаять, — сказал кавалерист протяжно. — Стою, а мне все чудятся люди. Пластуны?

Они стояли долго. Вдруг тявкнула собака, — одна, другая. Издалека донесся чуть слышный пулеметный огонь. Кавалерист принес почему-то фонарь. И этот дрожащий и бледно-желтый свет на прямой траве у крыльца умилил еще более Плешко. «В Ухаве бой... — тихо сказал кавалерист. — Я им советовал один фланг, а они небось к речке...» — Но Плешко уже верил, что произошло так, как он советовал — они, укрепив единственный свой фланг, держались с честью, и поляки отступили! Затем он услыхал несколько заглушенных орудийных выстрелов, похожих на то, как если хлопнуть ладошами в мешке. Ласточка пронеслась над головами. Лиловое облако склонялось к земле. Стало свежо. Светало. Кони заржали. У кавалериста были припухшие красные глаза. Он принес в большом деревянном ведре воды поить коней. Ведро, холодным бисером окаймляла крупная роса. Кони, сверкая влажными ресницами, тянулись к ведру.

— Дуй к Пузыревскому, — сказал Плешко: — не то заснешь у ведра. Передай: на бронепоезде из Киева от Железной посланы снаряды. Могут приехать, получить!

— Вс-о, браток, в Железной-то как в ружье: и масло, и смерть. Письменно бы, а то скажут — наврал.

— Только на словах. Дуй!

И Плешко вновь вернулся к аппарату. Ему думалось, что если бронепоезд со снарядами не придет (Плешко был в непоколебимой уверенности, что бронепоезд именно везет снаряды), бригаде будет передано — бронепоезд задержан поляками. Да, если даже и не везет снаряды, а письменные директивы — разве нельзя попросить взаймы снарядов у бронепоезда, и сказать бригаде — из Киева, от Железной?

И вскоре ординарец, подслеповатый, прикрытый дерюгой и в рваных галошах поверх лаптей, передал записку от Пузыревского: «Ночью подошла польская разведка и пыталась случайным нападением занять переправу через озерко и речку. Вначале наши часовые, стоявшие там, растерялись и было-побежали, но через некоторое время начали отвечать и подняли на ноги всю бригаду. Польская разведка все-таки получила отпор и ушла. По последним сведениям, поляки заняли Бровки и ведут оттуда наступление на Магалево».

Глава одиннадцатая.

Начальник станции, все такой же опрятный, бритый и хорошо выспавшийся, аккуратно выходил на перрон в те минуты, когда по расписанию должны были проходить через Магалево пассажирские поезда. Наступил полдень: жаркий, пахнущий созревшими листьями, травой.

Плешко все еще сидел у аппарата. Радость не оставляла его. Рельсы вдали, среди леса, походили на зимние былинки: покрытые льдистой коркой, хрупкие — веселые рельсы. Начальник станции подошел к окну. «Дымок, — сказал он снисходительно: — вам, думаю». Голубой дымок, похожий на жучка, скользил над лесом. Наконец, квадраты бронепоезда, окрашенные в защитный цвет, шипением и гулким грохотом заполнили станцию. Бабы притащили продавать молоко.

Так и произошло, как предполагал Плешко: бронепоезд, согласно распоряжения Киева, привез снаряды. Начбронепоезда, румяный и длинноногий юноша, очень любивший свою машину, торопил с выгрузкой. К тому же опять от Ухавы послышались орудийные выстрелы. Опять поляки перешли в наступление! Плешко сказал начбронепоезду:

— Я предлагаю вам (Плешко понимал, что начбронепоезда откажется категорически, но сказать это необходимо хотя бы потому, чтобы укрепить в душе сознание: из этого катастрофического положения бригада обязана выбираться своими собственными силами и даже гибнуть, не надеясь, что о гибели ее будет известно кому-либо и что дневник Гавро дойдет до его сына), — Плешко отчеканил пронзительно: — Я предлагаю двинуться и обстрелять Бровки, дабы бригада находилась под защитой орудий бронепоезда.

Румяный начбронепоезда завизжал, вскинул руки и топнул ногой:

— Я не пойду! Мне приказано передать вам снаряды, а в темные операции партизанского свойства я вмешиваться не намерен.

— Ну и valись к чорту!

Румяный начбронепоезда, ругаясь и совсем по-детски взвизгивая, побежал в свой вагон. Начальник станции сделал под козырек. Груда снарядов осталась на перроне. Голубой жучок опять появился над лесом. Прискакал Матанин. Его глаза еще больше покраснели, рыжие космы волос крутились на тощей и мокрой его шее. «Бригада в полном порядке отступает от поляков», — сообщал Пузыревский. И Матанин добавил: «Да, действительно, никого не покинули». И у Матанина необычайно многозначительно и мило получилось это «не покинули», по которому можно понять: и Пыхачев, и Болдырев, и Феоктиста Степановна, и Анна Осиповна, учительша, прикрепленная к клубу, вскоре будут на станции живы и здоровы, готовые на хорошие разговоры и на хорошие поступки. Плешко с удовольствием разостлал свою шинель подле снарядов, прилег, но ему не спалось. Он прикрыл глаза и подумал: Матанин стоит подле и зло смотрит на командира, который ничего не боится и может спать. Плешко открыл глаза — Матанин смотрел на него зло. Плешко стало еще веселей, и даже мысль, — что ни ему, ни начбронепоезда не пришло в голову спросить друг у друга бумаги, расписку в получении снарядов, наконец и Рейх неужели на словах не мог передать каких-либо директив, — не огорчила его.

Бригада заняла Магалево.

А в сумерки, с песнями и воем, ворвался на станцию пластунский полк. Пластунский полк расставил свои караулы. Пластуны, рваные, длинноволосые, обвешанные оружием, в обнимку длинными рядами ходили по улицам станции и орали песни. Плешко пришел посмотреть, как красноармейцы грузят снаряды на подводы. Красноармейцы тоже были оборванные, большинство в лаптях. В баньку бы их... А Пузыревский предлагает отступать глубже, и едва-едва Плешко уговорил сделать сегодня собрание бригадного партактива. Несмотря на бессонную ночь, Плешко чувствовал себя превосходно и знал, что и сегодняшнюю ночь он не заснет. Руки у него горели и в локтях, выше к плечу, томительно и в то же время сладко ныли какие-то жилки. Ему понравилось, как красноармейцы бодро и весело погружают снаряды (а на самом деле у красноармейцев были восково-глиняные лица, и тот снаряд, который раньше несли бы двое, подымали теперь пятеро), и подводы ему понравились. Затем он направился на собрание партактива. Пластунский патруль остановил его. Пластуны не только план обороны, но и пароль забыли сообщить! Разговаривая с патрулем, он увидал в соседней ограде фургон клуба. Рыхлый свет сальной свечи падал на узенькую ступеньку. На ступеньке валялся розовый ситцевый лоскуток. Плешко поднял этот лоскуток и, разглаживая его в руке, спросил: многие ли пристают к Феоктисте Степановне и сильно ли надоедают? На Феоктисте была стеженая солдатская куртка и волосы, стянутые венком из березы. Она ответила, что сдерживать не трудно, тем более, что можно говорить о деле или о починках, люди так обтрепались. Вот разве пластуны. «С пластунами я договорюсь», — сказал Плешко, весело глядя ей в лицо. Ей тоже стало весело, потому что она положила свою руку к нему на плечо и тягуче выговорила: «Какая у вас маленькая и, видимо, теплая рука». Выступила луна, тень от фургона была густая, и Феоктиста сказала про эту тень, что она походит на плащ, и Плешко согласился с ней. Голова ее пахла березой, и она сказала: «Анна Осиповна услышит, засмеет. Подумает: я гулящая. А между тем, мы дали друг другу слово, что пока не будет найдена Железная дивизия, до тех пор мы никого не поцелуем. Нашли, Ипполит Егорыч, Железную?».

— Почти нашел, — ответил торопливо Плешко. Она вырвалась и, вскакивая на ступеньку, сказала шопотом: «меня еще никто не целовал так, как вы... милый», — то есть произошло почти так, как он думал однажды: фургон, луна, старые слова, от которых бывает удивительно приятно. И старинный-старинный шопот. И деревья с таким запахом, прелесть которого никогда, за всю жизнь, не понимал раньше этого поцелуя и шопота!..

На перекрестке ругались два патруля: пластунский и бригадный. Плешко узнал пронзительный голос Савки Ларионова:

— Вы, суки, растыки каторжные, почему так пароля не сообщаете?

Пластун в длинной барашковой папахе и ружьем, украшенным зубчатым немецким штыком и цветочком в дуле, бурчал:

— Без пароля прожить можно, а ты вот без сапог проживи. Нашли у вас в бригаде одиннадцать пар сапог, али не нашли?

— Ну, нашли, а тебе какое дело до бригадных сапог?

— И не крякай тогда, пока в морду не дал!

— Мне в морду, ку-урва ты, ерник старый, мне в морду? Да я, да ты знаешь, с кем говоришь? Ты про Железную слышал?..

И Савка, подпрыгнув, ударил пластуна в зубы.

Глава двенадцатая.

В узкой и длинной комнате пахло керосином и селедкой, с потолка свисали обрывки веревок, посредине торчали остатки перегородки, три широкие полки занимали угол. Раньше здесь была мелочная торговля, а теперь штабной писарь Петрых в коротенькой коричневой куртке и стоптанных охотничьих сапогах выстукивал обращение штаба бригады к пластунскому полку. Машинка поломанная, треск от нее был неимоверный, Петрых высоко взмахивал локтями, свеча в синей бутылке тряслась в такт стуку, освещая пятнами лицо писаря, и тогда казалось, что огромные непонятные буквы сверкают у него по рту.

Пузыревский стоял, положив руку на плечо Кабардо, коротконогого безбрового паренька из Интернациональной роты. Кабардо был, кажется, из немцев-колонистов, служил раньше механиком на паровой мельнице, рано женился, имел уже троих детей и все жаловался, как стало тяжело жить с семьей. «По сообщению артиллерийской разведки, — говорил Пузыревский, — шоссе испорчено поляками, а если пробираться проселочными дорогами, то необходимо переходить линию, в четырех верстах от Магалево, ближе к Бровкам, подле села Картинное, которое, тоже по сведению разведки, занято сегодня на закате поляками». Пузыревский достал кисет и присел на корточки. Вдоль стен, куря и сипло сплевывая, сидели тоже на корточках люди ячейки. Пыхачев длинношеий, с еще более за последние дни потончавшим носом, заговорил хмуро, часто кашляя и пристально глядя на Плешко:

— К сожалению, я предлагаю пробиваться через линию, мимо поляков, так как из-за бабничанья и разгильдяйства мы имеем на ногах такую гирю, как пластунский полк.

— Почему бабничанья? — торопливо спросил Кабардо.

Плешко понимал, отчего говорит так Пыхачев, и было приятно знать, что Пыхачев сердится и негодует и думает, что Плешко может из-за баб уклоняться от важных операций. Плешко пристально и немного весело посмотрел на Пыхачева и сказал:

— Мое предложение абсолютно противоречит предложению товарища Пыхачева. Я считаю, что бабничать возмутительно и предлагаю ударить на поляков, расположившихся в селе Картинном...

— А пластунский полк? А вторая рота?.

— Причем тут вторая рота, товарищ Пыхачев?

— А притом, — закричал Пыхачев, но тут вошел Матанин и сказал, что представитель пластунского полка товарищ Белов явился на заседание. Кабардо шепнул Плешко: «Вот с бабами-то беда. Чисто солнце незаметны: само на дворе, а рукава в избе. У меня у самого мука и тоска...». У него были, действительно, бесцветные и наполненные непередаваемым мучением глаза.

Пиджак у Белова попрежнему крест-на-крест пересекали ремни, фуражка у него была на затылке. Он стукал сапогом о порог и желтая пыль плясала у его подошв.

— Тож у вас порядки, товарищи из бригады, ваш парень нашего патруля в кровь избил. При таком избиении, товарищи, война может междоусобная заняться. Тоже — Железная и Железная, а при таких словах...

Плешко близко подошел к Белову:

— Я предлагаю перейти в наступление на поляков и, разбив их, прорваться в Киев, по шоссе, а?

— На Киев? Да вы, товарищи, смеетесь над пластунами! А где ваша славная вторая рота? Полагаете, нам неизвестно? Где?

Пыхачев тягуче и зло отозвался из угла:

— Я уже сообщал товарищу Плешко, что вторая рота рассыпалась и комиссар бригады, товарищ Болдырев, исчез вместе с остатками второй роты.

И Плешко вспомнил, что, верно, до сих пор он не встретил Болдырева. Но как же сообщили, что бригада отступила в полном порядке, когда нет целой роты? Собрание уже все вскочило на ноги. Кабардо дико кричал что-то Белову. Пыхачев, кашляя и плюясь, крутил в углу папиросу. Савка Ларионов вопил, что он не только патрулю, но и самому командиру может набить морду. Но и исчезновение Болдырева и явная растерянность ячейки не уничтожили того радостного и умилительного чувства, которое владело Плешко уже второй день. У него попрежнему пылали руки, и надо было водить ладонями по одежде, чтобы как-нибудь уменьшить жар. Он знал, что собрание откажется наступать на поляков, эти пепельные истомленные лица хотят сна и немного пищи. Они получают в день фунт хлеба и немного каши. Они оборваны, покрыты вшами, во всей бригаде нет ни одного куска мыла. От женщины, которая сегодня обнимала его, пахло салом. Она должно быть вытирала грязь с лица куском сала. Вот командир Белов орет Савке: — «бригада имеет одиннадцать пар сапог, а что видят от этих одиннадцати пар пластуны?».

— Какие сапоги, товарищ Ларионов?

— А ну их к чорту, с сапогами вместе. Вы, товарищ Плешко, не думайте о второй роте. Всего в роте сорок человек и половина — местные коммунисты, приставшие по дороге к бригаде. В район Половецкой республики они опасались попасть (банды тут... ух!..), а Болдырев не мог сбежать, убит скорей всего!

— Наплевать, другого Болдырева соорудим. Какие сапоги?

— Ящик тут раскупоривали, со снарядами думали али с консервами, а там сапоги. У нас и на повестке дня стоял вопрос о сапогах, а тут пластун этот приперся... Зачем приходить, ремней твоих не видали?

Красноармейцы внесли длинный ящик с надписью охрой: «Осторожно». И они, действительно, осторожно опустили ящик на пол. Писарь со свечей и с листом бумаги медленно, при общем молчании, приоткрыл крышку. Одиннадцать новых пар сапог, тесно прижавшись друг к другу, лежали там. Прекрасный свежий запах кожи дохнул на собрание. Деревянные и железные гвозди сверкали на чистых палевых подметках. Каблуки были мощны и великолепны. Всю землю округ, три раза округ земли можно пройти на таких каблуках. Сладострастие изображали те лица, что при свете толстой и противно пахнущей свечи, наклонились над ящиком. Шумный вздох как бы колебнул комнату. «Харошие сапоги», — медленно пролепетал Кабардо.

— Вроде, на ять, — вздохнул Белов.

Затем писарь отстукал на машинке билетики, представители от рот и представитель от пластунского полка командир Белов тянули билетики. И при общем хохоте три пустых билета вытянул пластунский полк! Роты будут тянуть особо. Они уже строются на улицах. Гул возбужденных голосов наполнил станцию. «Смирно!» — вопит помкомроты. Сапоги, сапоги идут по рядам и ноги вытягиваются, чтобы попасть точно в мерку, потому что, если сапог окажется мал, тогда что... Но сапоги все на один размер — поларшина почти подошва, революционный размер у сапога!

Ячейка продолжала заседать, когда босой и прихрамывающий красноармеец тронул легонько Кабардо за плечо. «За тебя тянули, ну тебе по интернациональной роте и вышло»,— сказал он обрадованно и выкинул из-за спины перед Кабардо пару сапог с громадными и толстыми голенищами, с синими ушками. Опять запах великолепной кожи заполнил лавочку! Собрание прервалось, и председатель собрания товарищ Паешко поздравил Кабардо с сапогами. Кабардо примерил — сапоги были как раз. «Тем не менее, — сказал Кабардо, весь искривись и злясь видимо на то, что слова у него не те, которые бы он хотел сказать,—тем не менее, я сапоги!..» Он посмотрел на ноги красноармейца и поднес широкую свою ладонь к глазам. «Ты ноги стер и босиком. И вот бери, не надо мне сапог.. Все бери, довольно бабничать!» Слезы показались у него на глазах. «Бери и благодари республику. Во-о!..» Красноармеец с сапогами убежал. Собрание смотрело в пол, молчало.

— Теперь перейдем к вопросу о продовольствии, — сказал ГТ.ешко.

Глава тринадцатая.

Накрапывал дождь. Животные, утромленные дневным переходом, еле шли. Несмотря на то, что в полутора Беретах от дороги в селе стояли поляки, красноармейцы дремали. Ряды штыков зыбились. Савка с пятью пулеметчиками стоял в стороне дороги. Пулеметы его смотрели на поля-

ков. Далеко где-то по небу скользнула ракета, другая. Плешко, дабы ободрить красноармейцев, шел на левом фланге перед реденькой фланговой ротой. Какой-то красноармеец сказал, глядя на ракету: «а коли над нами пустят, и кишек не соберешь, а мне бы только выспаться, ей богу». И Плешко вспомнил, что вот он не спал всю ночь. Прилег-было на прилавок—розовое и теплое покатилось ему на глаза, и он тотчас же вскочил и стал думать. Мысли у него в эти дни — резкие, очень однообразные и, возможно, однообразием своим-то и умилительные. Он думал, что бригада поступила правильно, когда отказалась итти на поляков, в лоб. Может быть, и Киев-то давно сдан, и, выбравшись на шоссе, они попали бы под орудия поляков и под сабли кавалеристов. А надо бродить, вилять, ускальзывать...

Он вспомнил, как полчаса тому назад встретился фургон и заспанная Феоктиста спросила его: «что фургон на правильном пути?». Глупый этот вопрос рассмешил его, да и она вскоре рассмеялась уныло как-то. Потом она говорила, что как красива и великолепна бригада, пробирающаяся под носом противника к своей родной Железной дивизии. И Плешко ответил, что ничего красивого и великолепного, а только одна бестолковая суматоха. Вот фургон влез в середину, когда ему нужно итти в хвосте вместе с обозом. Если вы имеете возможность спать, а не итти пешком, то и спите! Феоктиста выпрыгнула из фургона и пошла с ним рядом. Она гордо, крепкой ногой ступала по грязи, и Плешко, понимая, что не надо так думать, все же смотрел и думал о ней с радостью. Она начала говорить о Бессонове, бандите, главе Половецкой республики. Анна Осиповна много знает о нем, мужики его очень любят. Он немедленно же после переворота,' еще в феврале, отдал и поместье, и деньги, и хлеб мужикам и сам ушел в мужики и стал пахать. Теперь он оброс бородой, величественный, высокий, красивый. Мужики его любят, называют своим мужицким царем. А он анархист.

— Какая чепуха, Феоктиста Степановна.

Но ведь роты бригады, действительно, редеют? Мужики из рот бегут! А куда им бежать, как не в Половецкую республику? Бригада ведь через нее пойдет, через республику, не правда ли? И Анна Осиповна полагает так, что наверное пришло в бригаду назначение уничтожить Бессонова и Половецкую республику, как бандитов. Я согласна с этим, их надо уничтожить!

Плешко сделал ей под козырек. Ему показалось, что она его хотела обнять, взмахнула руками... И он был доволен, что отошел от нее (не бабничать!) и злился в то же время на свою трусость. Когда Пузыревский догнал его, он вписывал на третьей странице желтенькой книжки «Ф. С. Мицура».

— Интернациональная рота неохотно выставляет своих в заставы. Вот, товарищ Тавро, объяснитесь. Надо держаться крепче, если начали.

Тавро, запыхавшийся, чуть-чуть прихрамывающий, вытянулся пред Плешко подле. Тихо щелкали бичи, чавкали копыта. На пригорке висело над белой дорогой Картинное.

— У вас даже Болдырев сбежал.

— Болдырев убит. Если начали, держитесь.

— А нашей роте, товарищ Плешко, бежать некуда. Мы не мужики, а интернационалисты, нас, о, да, на осину. Наша рота устала!

— Запишите об этой подлости в свой дневник, когда в самую тяжкую минуту... Это вам не первые дни! Поговорили!..

— Слушаюсь, товарищ Плешко. Я иду сам в заставу. И об этом тоже запишу, о, да.

Он уже отошел прямо, не хромая, и Пузыревский подтолкнул Плешко в бок, указывая на походку. «Их так и надо, за самые внутренности брать. И хромать забыл!» — и Пузыревский пошел в ариергард, так как опасались, что поляки могут напасть на бригаду сзади. Плешко догнал Гавро и спросил: «Кабардо выпить любит?».

— О, это вы о сапогах, — увеличивая шаги, ответил Гавро: — несомненно, он был пьян. Он любит выпить. Он молод, но алкоголик, о, да! Если начали, вы правы, надо...

Картинное не проснулось. Бригада проскользнула. Показались тусклые рельсы железной дороги. Пластунский полк гикнул и помчался. Взвился шлагбаум. Стрелочник, древний старичок в дрянном полушубке, накинутом на острые плечи, спросил с крыльца:

— В Полоеецкую республику направляетесь, что ли? Туды все бегут. Нонче утром еще Бессонов проезжал, на тройке, сукин сын, в фаетоне...

Глава четырнадцатая.

Шли всю ночь и весь день. Было пыльно и жарко. В сумерки бригада увидала Днепр. Левый берег пологий, далекий, на горизонте сверкала коса, похожая на стрекозу. Мужики вспомнили, что скоро покосы, и вздохнули.

Паренек в лаптях и свитке, с кнутом на плече и с чахоточным, злым лицом смотрел с пня, как бригада распрягалась, разбивала палатки, кипятила чай. От фургона к реке шли женщины, усталые с запухшими глазами. Анна сняла ботинки, и косые и влажные следы ее ног играли на глине. Пластуны собрались подле парома с пробитым дном. Паренек в свитке прокричал с пня: «Республиканцы попортили паром! У нас Бессонов есть и своя власть, нам никакой другой власти не надобно».

Плешко направился к парому. Обходя одну из телег, он увидал налитое кровью лицо Гавро, откинувшееся на колесо. Слезы ползли у него на пышные прокуренные усы. Обеими руками он держался за обод. Кабардо, с испуганным и в то же время торжественным лицом, тянул с его ноги сапог. Грязная онуча густой кровью пачкала ему руки. Кабардо сказал, протягивая мокрую от крови ладонь к Плешко: «Он был ранен в икру, но направился в засаду, так как по задачам...».

— И глупо, — сказал Плешко, отходя: — мог сдохнуть. Засада...

Паренек в лаптях взмахнул бичем:

— И по ту сторону тоже Половецкая республика. И там Бессонов. осподь бог вас спасет и помилует. Нету у нас ни паромов, ни лодок...

Пузыревский погрозил пареньку пальцем:

— Я с тобой могу поговорить. Поди, паси коров лучше.

Пузыревский постепенно день ото дня проникался к себе все больим уважением. Он предлагал и сам отвечал на свои вопросы. Несколько итат уже мелькало в его фразах. Он стал вспоминать, как ничтожно мелко жил он раньше и как революция открыла ему глаза. Он с удоольствием, делая соответствующий речи жест, сказал Плешко:

— Обоз придется караулить, как бы мужички не удрали.

— К Бессонову?

— Но куда они могут удрать? Безусловно, к Бессонову. Сумасшедий какой-то: жрет черный хлеб и воду. Говорит, настоящая крестьянкая пища и в ней правда. А вся правда в исторической жизни. Коечно, в ней.

У Пузыревского было лицо багровое от попыток высказать далекие ему еще самому не ясные мысли. А Плешко спросил себя: не потому ли лу как-то знакомо и весело слышать эту фамилию Бессонов, что она напоинает ему его бессонницу, а он чувствует себя отлично? Он хотел-было ройти мимо фургона, но ему подумалось: от кого ему прятать свои встречи женщиной и вообще он не Стенька Разин и бригада не понизовая вольица. Подле фургона выпряженные кони сонно жевали овес. Погонщик, аскрыв рот и раскинув руки, спал на земле. Да и весь лагерь спал. асовые ходили через силу и зевали. Как странно, ведь только десять инут назад скрипели воза, ржали кони и мычали быки, а теперь такая ишина. Он стоял и думал, ухмыляясь своим мыслям: «ведь не будить же не ее!». Открылась дверка, и сонное лицо Феоктисты вяло улыбнулось лешко. Он появлению ее нисколько не удивился. «Я сейчас», — сказала ла в фургон. Плешко взял ее за руку; она, продолжая вяло улыбаться, ошла с ним в тополя. Плешко положил ей руки на плечо. Она прислоилась щекой к его руке, и веки ее стали влажными и серыми. Затем, поглаивая глаза, она приподнялась на локтях и медленно проговорила: мне еще надобно спать», и Плешко показалось, что необходимо какое-то ъяснение всему происшедшему, если даже оно и не повторится, и он казал рукой к реке, к оврагу, похожему на гребенку. Об овраге он подумл, потому что было слышно, как там позвякивал ручей:

— Вечером, часов в девять.

Она зевнула, переспросила:

— В девять? Хорошо, приду.

Он ходил долго по лагерю, и чем он больше думал, тем ему яснее яснее казались те причины, по которым он должен говорить с Феоктиой в девять часов. Ясно, она соскучилась по мужику, видела какойбудь сон, и то, что произошло, было продолжением сна. Плешко в своей изни знал мало женщин и всякое новое прикосновение наполняло его ивлением и преклонением пред женщиной, которой он нравился.

Он глубоко вздыхал, а воздух, действительно, был хорош. Лагерь медленно просыпался. С кулем овса, наполовину опорожненным, прошло мимо два красноармейца: «Скоро, сказывают, и Железная грянет». И второй ответил, что давно пора бы ей грянуть. И Плешко подумал, что вот надо бригаде спешить на соединение. «Бессонов, Бессонов», — пробормотал он, дотрагиваясь до щеки. Кабардо стоял подле телеги, под которой спал, стоная во сне, Гавро. Кабардо пил чай из стакана, сделанного из бутылки. Он налил кружку Плешко и вновь уставился смотреть на реку.

— Гавро всю ночь, Ипполит Егорыч, шел. И молча. Я ему говорю: «Запиши для дому», а он: «Личные страданья не при чем и моим страданьям мало кто поверит». Хорошо, что навылет. Если начали, говорит...

Щербаков, потягиваясь, потянулся с кружкой к чайнику.

— Хороший человек, — сказал Плешко.

Щербаков взболтнул чай и отозвался:

— Хороший-то, может, и хороший, но о себе много думает. Полагаешь, не записал про ногу? Ей богу, записал! Ты его спроси.

Глава пятнадцатая.

Сверху показался голубой пароход с черной широкой баржой. Мокрый канат дрожал бесконечными искрами. И баржа и пароход были густо нагружены красноармейцами и конями. Белов скомандовал пластунам взять ружья, Пузыревский согласился, чтобы пароходу было предложено остановиться и перевезти бригаду на левый берег. Если пароход не остановится, — пластуны откроют огонь в воздух.

С пароходных колес трепетно и легко скользила вода. Капитан, чистенький и легонький, бегая по мостику, с матерками выкрикнул отказ. Красноармейцы вывалили на палубу парохода. «Огонь по пароходу!» — скомандовал Пузыревский. И вдруг Белов замахал пароходу папахой:

— Ээй, земляки, здорово!

Пластуны захохотали, замотались по берегу:

— Счастливой дороги, черти.

— Нас чего не берете!

— Где Митька?...

И с парохода отвечали таким же топаньем и хохотом:

— Подох Митька!..

— Грязи на вас много, не увезешь!..

Пароход скрылся. Больше всех озлился Савка. Стружки волос заскакали у него на лбу. Рот его ощерился. Виден был второй пароход. Савка подскочил к Белову.

— Тоже наши, — сказал Белов торжествующе. Он еще раз вскинул бинокль. — Наши и впрямь! Наши вперед и назад идут первые!..

— Практика, курвы! — сказал Савка, влезая на тачанку с пулеметом.

Баржа была гружена стульями, столами, кипы бумаг ползли из-под неимоверно-широких брезентов. На одном из брезентов, прикрыв голову

буркой, спал, далеко раскинув ноги, пластун. Далеко было видно его мерно дышащий громадный живот. Пузыревский со злостью посмотрел на Белова:

— Товарищ командир, прошу открыть огонь.

— По своим-то? Не открою.

— Придется нам открыть!

Пластуны взмахнули рукавами, заорали:

— Попробуй!..

— Поглядим на твой огонь!!.

Пулеметная лента замелькала в Савкиных руках.

— Опять та башка, которая у нас пластуна избила!

— Слезай!!.

И красноармеец какой-то соболезнующе крикнул:

— А ты бы слез, Савка, верна!

— Не слезу!..

Белов оглянулся на пластунов:

— Слезай, пропадь!..

Савка сдвинул шапку на глаза и крикнул пароходу:

— Стой, иначе, по распоряжению уполномоченного, огонь.

— Огонь, — сказал Плешко.

В руках у красноармейцев показались винтовки. Пластуны стояли неподвижные. Белов глядел на Плешко. Пулемет затрясся. Пули зарябили у колес. Пули крутились колесом около колес; затейливые цифры скользили подле парохода. Солдаты на пароходе заметались, несколько человек подняли руки и белое знамя поплыло над капитанским мостиком. Хохот понесся среди пластунов. Савка тоже хохотал. Пароход повернул к берегу.

Капитан, свисая с мостика, угощал Савку папиросами и, глядя, как пластуны скидывают на берег тюки бумаги и стулья, меланхолически рассказывал:

— Я хотя, видите ли, семью успел захватить, но Киев спешно, видите ли, эвакуируется и хотя еще не сдан, но каждую минуту можно ожидать его падения.

Савка носился среди подвод, хлестал бичом, подбадривал возчиков, которые не хотели ехать на левый берег: боялись, что их оттуда не отпустят. Плешко спросил:

— А ты кем был раньше, Савка?

— А я тарской, теперь маляр, а одно время, вишь, на пароходе буфетным мальчиком ходил. Сильно мне потешно стало пароход задержать.

— А тебя пластуны могли...

— Я и на то рассчитывал. Мне вот батя говорит: «Ты, Савка, ни на кляпа не способен». А я вот рассчитывал — треснут меня, а вы тут их разоружите. А теперь попробуй дотронься до них. Мы, скажут, плюем на вашу трудовую дисциплину, вы вон, мол, по своим позволяете стрелять. И к Бессонову могут свободно уйти!..

Пароход неустанно пересекал Днепр. Подводы ж не редели. А к вечеру — капитан схватился за голову. Новый длинный обоз показался на дороге. Впереди, на каурой лошаденке скакал рыжий мужик, широко размахивающий руками. Это был Болдырев.

— Еле догнал вас, парень, — сказал он Плешко. — А вы, поди, думали — Болдырев утек?

— Так ты ж и утек, стерва, — сказал Пузыревский мрачно. — Нонче у села солдата убили нашего. Ты нам доклади, а мы тебя, может, под суд отдадим.

Болдырев докладывал. Ему было жалко покидать Ухаву, не захватив продовольствия. Вторая рота, целиком из местных крестьянских работников, осталась с ним. Конечно, поляки наступают, Плешко в стороне — кто ж разрешит хлеб выкачивать? Он рискнул. И вот теперь сорок четыре воза! А было всего удивительней, что, окончив доклад, Болдырев вдруг замотался, затряс руками и боязливо сказал на ухо Плешко:

— Надо, парень, из этого села немедленно драть. Я вот въехал, а у меня сердце сразу заныло.

Темнело. Телеги вкатывали на баржу. От беспокойства Болдырева, что ли, красноармейцы говорили тише. Все они с тревогой смотрели на крутой, темный, пахнущий гнилой соломой берег.

Глава шестнадцатая.

После того как Пузыревский отошел от него и опять вернулся, Плешко долго хотелось вслух повторить его слова: «при малейшей измене стрелять». Икры дрожали и как бы липкая дрожь проходила по ребрам. Какая неохватная бессмыслица округ! Почему измена? Кому?

Заплатанное галифе тесно охватывало толстые ноги Пузыревского; карманы его маслянистого и плохо пахнущего френча оттопыривались от набитых бумаг. Хотя бы влюблен он в нее был, а то ведь...

— Я наблюдаю, товарищ Плешко, чтой-то она на баржу не садится, а все меж подвод шнырит и шнырит. А немного погодя — шварг в кусты, и к речке, к оврагу. Слухает и ждет. Я подхожу: дай, думаю, разузнаю: с кем она, а шаги у меня, сами знаете, неосторожные, крупные. Она меня услыхала и дале дерет к селу, по пригорочку. Песок так у ней из-под ног сыпется. А в селе сидят возможно половецкие и вообще народ кругом бандит. «Не, — думаю, — голубушка, тебе про нас не сообщить? Стой!» А она еще крупче. Ну, я ей и вслед ухнул. На рассвете у села нашего солдата убили, за молоком пошел, что ли! Молотком в затылок и на языке— рана. Та-ак?.. А зачем ей в овраг? Мы ее, вместе с Матаниным, в реку и спустили.

— Так точно, — отозвался Матанин, — я перепугался даже: она перед смертью-то так, знаешь, тявкнула, чисто собака, сколько-то раз.

Плешко сильно сжал пальцами щеку:

— Глупо. Кому об нас сообщать? Состав бригады постоянно текучий, мужики бегут все время. Разве они не могут сообщить о нас врагам?

— Мужику могут и не поверить, и у мужика глаз темный,— чорта ли он им увидит?

— Когда убили?

— В девять, в десятом, кажись. Надо было б допросить...

На одно мгновение Плешко казалось, что он засыпает. Костер бежал за спиной Пузыревского. Зазвенело ведро и донесся веселый голос Савки:

— Последняя подвода! Вот я на последнюю подводку-то с пулеметом и сяду, а то еще мужички вслед нам, потому половецкие они... Ипполит Егорыч, где ты? Капитан, гуди отвальную!..

— Подайте мне рапорт об убийстве Феоктисты Мицура, — сказал Плешко и, обернувшись к барже, громко и твердо добавил: — Мы идем, готовы.

Глава семнадцатая.

Подле мешков из грубой крестьянской дерюги, на чемодане, когда-то обтянутом кожей, от которой остались жалкие черные клочки, сидел Кабардо и писал протокол собрания. Костер горел рядом с ним. Пыхачев, сморкаясь и в то же время отмахиваясь от дыма, говорил политрукам:

— Первым приступает к своим обязанностям клуб, который, развернув свою библиотечку...

Голос у него был глухой и как бы смятый, Плешко жалко было его прерывать, но он боялся, что с правого берега поляки откроют огонь по дыму костров и сваленному имуществу, — он, потирая щеку, сказал:

— Извините, что я вас прерву, но, по-моему, необходимо послать в ближайшие деревни кавалеристов для мобилизации подвод. И, кроме того, необходимо обсудить кандидатуру в комиссары по продовольствию товарища Болдырева. Эго совершенно необходимо.

Затем он, размахивая ладонью перед ребрами Болдырева, долго объяснял ему, что когда революция будет подсчитывать своих героев, то продовольственникам будут ставит огромные памятники. Болдырев улыбался, любовно поглядывал на него. Пузыревский подошел и стал прислушиваться. Вот и Пузыревский — монтер, самоучка, а уже командует бригадой и вообще парень молодец. И ему пришло на мысль — «молодец, исполнительный, как запомнил приказание: при малейшей измене стрелять». И Плешко не мог понять — что наполняет его: радость или злость.

— Никаких при ней документов, Ипполит Егорыч.

— Потеряла.

— Крови вы не терпите, мне известно. Мне кровь тоже противна.

— Редкий человек похвастается любовью к крови. Чаще всего дурак.

— Анна Осиповна сказывала будто она часто про Железную расспрашивала. Вот Щербаков говорит: «брат». Брат братом, но для чего ей расспрашивать подробно? Для сведения расспрашивала!

Щербаков, плотный и кругленький, чувствовал какую-то неловкость. Всегда вежливый, осторожный и сдержанный, он на этот раз даже осмелился потрогать Плешко за рукав френча.

— Я привык слушать разговоры, Ипполит Егорыч, и доложу вам — чересчур много говорят про Железную. Возможен совершенно неожиданный конец этим разговорам. И от мужиков, которые к нам бегут и у нас остаются (эти, так сказать, сочувствующие коммунизму), или даже от своих. Я, изволите ли видеть, по здешним местам проходил месяца два тому назад с продовольственным отрядом. Мужики меня здешние поймают, гвоздями к дому какому-нибудь прибьют, — мы были жестоки. Ничего не попишешь, город было необходимо выручать. Вот все мы плохие люди, и я плохой человек. Прах их знает, по каким гнусным девкам я шлялся, жену надувал, нехорошей болезнью ее однажды заразил... это про семейную жизнь, но все же...

Щербаков разгорячился, лоб его покраснел, Плешко смотрел на него с удивлением. Увидав подходившую Анну Осиповну, Плешко сказал торопливо, что вопрос о Железной надо ставить ребром. Но что значит — ставить ребром, он и сам не понимал. Анна Осиповна, вытирая какой-то серой и вонючей тряпкой опухшие глаза, долго возмущалась непонятливостью Пузыревского, который неправильно истолковал ее разговоры. Она и не думала говорить, что Феоктиста шпионка и что если и был разговор о Бессонове... все время она продолжала смотреть на Плешко и у нее было такое лицо, по которому можно было понять, что вот он-то, простой и ласковый человек, сможет ее понять. Плешко достал платок и вытер щеку. Он чувствовал жар в горле. Он много пил в эти дни воды. Щербаков подъехал на тачанке, Савка сидел рядом с ним, пулемет, покрытый рогожей, лежал у его ног.

— Согласно распоряжения, — сказал Щербаков, — я могу указать дорогу.

Плешко не помнил, отдавал ли он распоряжение, чтоб в разведке его сопровождал Щербаков, но даже и не давал если, то самовольство Щербакова было приятно видеть. Савка выкрикнул:

— С мужиками чудеса: три уйдет, десять придет. Десять уйдет, три придет. Сейчас трое явились, от Бессонова, говорят, вырвались. А пластуны опять бузят.

Плешко тронул возжи:

— Поверни-ка к пластунам, Савка.

За селом они увидали пластунский полк в полном составе. Впереди, верхом, в рваной бурке и рыжей папахе гарцовал Белов. Его длинноногий с толстыми коленями конь устало носился вдоль фронта, и по морде коня можно было понять, что ему невероятно скучно и гарцующий всадник ему немилосердно надоел. Белов вопил, что страна и так переполнена бандитами, что поведение пластунов (особенно в деревне) должно быть безукоризненным, и дальше он указывал, как на пример нарушения порядка: вчера двое пластунов учинили грабеж в крестьянской

избе. Ночью подлые грабители, угрожая избиением, заставили хозяйку сознаться, куда она спрятала деньги. Отобрали пятнадцать тысяч. «Митрофанов, Смольчук, долой с коней! Встать впереди полка!» Митрофанов с молодыми бессмысленными глазами, косо и лихо улыбаясь, все старался выйти подальше, а Смольчук, седоусый, хмурый и с серьгой в ухе, одергивал его. Митрофанов торопливо сознался, а Смольчук отнекивался, и вдруг он взглянул на Плешко и постепенно начал бледнеть и заикаться. И Плешко почувствовал, что тоже бледнеет. Лица полка были пучеглазые, озорные. Щербаков пробормотал позади: «Не нация, а бандиты». Поглядывая на Плешко и подчеркивая жестами внушительность своей речи, Белов продолжал — боевая обстановка не дает возможности задерживаться над выяснением формальных улик. Хозяйка опрошена. Хозяйка в длинной шали со злобным, скуластым лицом, визгливо выкрикнула: «Они ограбили, они!». Белов, все так же внушительно взглядывая на Плешко, через плечо скомандовал небрежно ближайшему эскадрону:

— По преступникам, эскадрон, пли!

Эскадрон не двигался. Белов подскочил в седле. Чей-то хриплый голос отозвался из рядов эскадрона:

— Хватит, поискали Железную!

Дальние ряды откликнулись:

— Нам бы хоть соломенную.

Пронесся хохот и тот же хриплый голос продолжал:

— Долой Плешко... к чорту комиссаров!

Белов подскочил к тачанке. Бурка скользнула у него с плеч и упала на колесо. Чувствуя, как его наполняет мутящая и кислая тошнота и как губы его дрожат от страха и презрения к тому, что он сейчас совершит, Плешко сказал в лицо Белову:

— Выяснилось... выяснилась полная небоеспособность пластунов, товарищ... Полк не повинуется командиру!

— Я скачу в дивизию!.. разоружить!!.

Томящее и омерзительное чувство гадливости продолжало расти. Плешко взял у Щербакова карабин. Ряды пластунов волнисто мелькнули перед глазами. Пар как бы пронесся над их головами. Он ясно и твердо разглядел их лица и особенно лбы, украшенные чубами. Белов не расслышал его слов, и Щербаков громко, на весь фронт, прокричал:

— По приказу Плешко: преступники бегом, вперед!

Старший пластун, Смольчук, попрежнему не отводя взгляда от Плешко, стоял с мертвенным и неподвижным лицом. Митрофанов, лихо пища, кинулся. Через несколько шагов он упал. И тогда старик, широкими и дряблыми шагами, тоже попытался бежать. Плешко выстрелил второй раз. Кисти рук его покрылись потом, и он, стараясь сожмурить нежмурящиеся глаза, остановился подле катающегося по земле старика. Выхватил револьвер, выстрелил. Старик неподвижно вытянулся. Плешко оперся на карабин. Вязкий медовый запах пороха шел из дула. Полк замер. Плешко, комкая слова, проговорил:

— Командиром полка назначен Савва Ларионов. Белов, в обоз! Справа, по эскадрону... шагом марш!..

И когда, через минуту, полк затянул песню, Плешко, зажимая ладонью рот, наклонился с тачанки к Белову. Зеленая слизь капала через пальцы. Плешко долго не мог освободить рта и, наконец, сказал:

— Пластунский полк приведен в повиновение. Да здравствует революция, — тебе говорят, курва!..

И Белов тощими губами подтвердил: «Так точно».

Плешко добавил:

— Придется вернуться, пулеметчика нового взять. Это вы, кажись, товарищ Щербаков, выдумали, что я не переношу крови?

Щербаков смолчал.

Глава восемнадцатая.

Но им так в этот день и не удалось поехать на разведку. Во-первых, выяснилось, что вечером красноармейцы устраивают в школе спектакль и что Анна Осиповна играет буржуазную обольстительницу, и, во-вторых, Болдырев желал показать Плешко мужичков, которые так уважают славу Железной, так уважают, что желают и хлебом и советами помогать... Болдырев даже бороду подстриг для такого случая! В школе было тесно, горели сальные светцы и сильно пахло тлеющими тряпками. Пьесу писали, вместе с Пыхачевым, бригадные красноармейцы. И автор, и Пыхачев сидели потные и сильно довольные. Анна Осиповна играла плохо, неискренне и даже неприятно. Очень уже много в ней растерянности. А после спектакля все же как-то получилось, что Плешко вышел с ней вместе. Она, напуганная смертью Феоктисты, говорила о простоте и о том, что к жизни надо относиться тоже просто, но вот именно простоты-то у ней и не было. И Плешко, понимая, что невозможно требовать простоты в этой страшной жизни, которой они сейчас все живут, и что надо ее жалеть, все же не чувствовал к ней жалости. Она шла плечо в плечо с ним, привизгивала довольно неприятно, и вышло очень нелепо и быстро, что за сараем, в каких-нибудь пятидесяти шагах от школы, она отдалась ему, а после этого сразу же попросила у него папироску и не закурила.

Красноармейцы расходились с песнями. Анна Осиповна жалким и грубым голосом сказала:

— Мне вот страшно спать одной, а я буду спать одна. И я никого не боюсь. Всю жизнь буду спать одна.

И она, делая руками круги, побежала. Все это — и нелепый разговор, и бегство, и это размахивание руками в иное время огорчило бы Плешко. Но тут он хотел-было ей крикнуть вслед, остановить и чем-нибудь утешить, но затем подумалось, что нет при нем таких слов, которые б могли ее утешить, да и есть ли при ком, сомнительно? Ему стало легко, и в это время он увидал, как тачанка, окруженная несколькими всадниками, проскакала по улице к штабу. Люди показались у ворот. Повторяли

несколько раз слово «Бессонов». Плешко побежал. Ему стало еще легче, он вспомнил бегущую Анну Осиповну, засмеялся и замахал руками, как она.

У стола, заслоняя широкой спиной лицо Болдыреза, стоял одетый в крестьянскую свитку волосатый и горбоносый человек. У него была как-то необыкновенно гордо вскинута голова, он сверкал глазами и изо рта у него плохо пахло. Кабардо, должно быть, пьяный в лоск, вздергивая плечи, подскочил к Плешко:

— Матанин мне предложил такую мысль! Мужичка мы давеча одного подозрительного в поле поймали. Мужичок Матанина струсил, а тот его... Да. У мужичка лапы — корову задавит! Поговорили, а впоследствии выяснилось, что Бессонов подле нас, на правой стороне Днепра, сидел всю ночь. Мы в село... Он, знаете, во двор вышел, у него, у Бессонова-то, прах его бери, несдержание мочи, не иначе... На двор вышел, а я ему пояс на шею.

— Глупо влип, — сказал Плешко.

Бессонов раскрыл рот и торжественно проговорил, не поворачивая головы:

— Можете меня убивать. За меня бог и народ!

И пластуны и бригадные, видимо, уже освоились с Бессоновым. Они расселись на лавки, вдоль стены, закурили. Пузыревский попробовал допросить, Бессонов затрясся, забрызгал слюной и отказался отвечать. Матанин, весь дрожащий, напуганный, оглядывал Бессонова совершенно счастливыми глазами. Плешко смотрел на Матанина и думал, что бригада стоит на совершенно неправильном, партизанском пути. Бандитов ловят без распоряжения; начались грабежи; на двадцать процентов состав бригады текучий, — он сказал:

— Послушайте, Бессонов, я предлагаю вам немедленно разоружить так называемую Половецкую республику.

Пузыревский, видимо, мучаясь все еще смертью Феоктисты, отозвался:

— Баба-то, может быть, его любовница была. Сведенья посылал искать... бабу! Посылал, ясно!

Широко разевая пухлый и красный рот, Бессонов ответил:

— У меня нет любовниц. Моя любовь — бог, народ и справедливость.

Он опять затрясся. И Плешко подумал: сколько страданий нужно было вынести этому человеку, чтобы столь убежденно обрасти бородой, с такой алчностью к смыслу восклицать эти высокопарные слова! Сколько он голодал, скитался, наверное, по монастырям, искал правды и вот теперь, полусумасшедший, едва ли уже помнящий друзей и знакомых, попал к людям, тоже ищущим смысл или, вернее, нашедшим. Плешко сказал:

— Вчера ночью у нас на правом берегу убили красноармейца. Дабы показать, как расправляется советская власть с бандитами, предлагаю немедленно расстрелять Бессонова. Труп выставить напоказ.

— Все равно хлеба нет и не дам, — вскидывая руки, крикнул Бессонов. — Хоть десять Железных!

Затем Плешко попросил позвать к нему немедленно Щербакова. Тот пришел заспанный, его остренькая голова, покрытая реденькими волосами, вся была осыпана соломой. Выдергивая соломенки, он объяснял, что выехать сейчас и опасно и дорогу найти невозможно. Завтра чем свет. Ему хотелось в баньку, попариться, покряхтеть!.. Он вспомнил про Пермь, там он бывал в молодости, «и какие там жаркие бани, господи ты боже мой, через полчаса чувствуешь и окорок ты и ангел!» Изба опустела. Бессонова увели. Плешко остался один. Под окном на бревне сидел пьяный Кабардо и выкрикивал, что напрасно поручили исполнение приговора Матанину. Он задушит бандита, потому что ему все время будет казаться, что и револьвер-то не выстрелит и что бандит у него револьвер вырвет. Плешко долго прислушивался, но выстрела не было. Где-то капала вода; кони дышали под навесом; пахло сосновой корой от бревен под окнами.

Сила, заставившая Матанина сделаться таким, — и страшна и прекрасна, — думал Плешко. Сон на мгновение овладел им, но он вдруг почувствовал столь необычный прилив радости и нетерпения ехать или разговаривать (великолепные планы чудились его голове, слезы восторга уже почти выступили у него на глаза), — он проснулся. Светец сильно чадил. Протокол приговора над Бессоновым, забытый, лежал подле светца, несколько капель жира сползло на бумагу. Плешко долго ходил по избе.

Светец давно потух, рассвет был уже у окон. Плешко накинул шинель и вышел. У палатки, подле трупа, покрытого рогожей, стоял часовой — курносый и белокурый мужичок. Он сладко зевнул и почтительно взглянул на Плешко. Плешко откинул рогожу. У Бессонова было такое же надменное и высоко вскинутое лицо, только губы были втянуты в рот. Случайно убили. Значит, случайно и царствовал царь Половецкой республики... А говорил: хлеба не дам.

— Но из всего мне ясно одно, что, повидимому, Железная не имеет хлеба...

— Как? — спросил часовой.

Глава девятнадцатая.

Дорога шла по глубокому песку. Тачанка шла шагом. Щербаков и Матанин сопровождали Плешко. И попрежнему хмельное настроение не покидало Плешко. Он с радостью слушал, как Матанин всю дорогу восхищался то храбростью Кабардо, то успехами его среди женщин. Он, Матанин, рассказывал, что у Кабардо даже здесь, в этих гнилых местах, где ни одной бабы не встретишь, у Кабардо есть любовь. Голос у Матанина был благоговейный и песенный. Немного погодя, он затянул песню. Щербаков, тоненьким тенорком не без приятности, подпевал ему.

У большой киево-переяславской дороги, шагах в двухстах от себя, Плешко заметил отряд. В отряде было человек семьдесят-восемьдесят, несколько тачанок, окрашенных в густо-зеленую краску. В тачанки были впряжены тучные и высоконогие кони, сбруя на них сияла, да и день был веселый и солнечный. Впереди отряда скакала разведка с большим черным знаменем. Тотчас же вспомнились разговоры об анархисте Бессонове. «Анархисты, — подумал недоуменно Плешко, — но откуда попадет сюда отряд анархистов?». Он выхватил револьвер. Их заметили.

Отряд мгновенно раскатился в лаву и поскакал на них в обход — вправо и влево. Было противно смотреть, как Матанин вытаскивал гранату бледной и мокрой рукой. «Назад!» — крикнул Плешко. Но уже поблизости мелькнули странные папахи с «жовто-блакитными» лентами, какие обычно бывали у петлюровских частей. Кони с лентами в гривах. У одного всадника подле седла ведро с остатками зеленой краски и курджумы, наполненные какими-то книжками.

Командир отряда, в черкеске, востроглазый и чем-то похожий на крота, с саблей наголо замер в седле. Плешко, стараясь улыбнуться, чувствовал холодок и дрожание в руке, держащей наган на взводе.

— Кто вы таки есть? — спросил командир.

Матанин порывисто, со свистом, вздохнул. Щербаков сидел неподвижно. Плешко, вглядываясь с недоумением, как человек с ведром у седла развернул черное знамя и как мелькнула странная надпись: «Долой пионеров», — в то же время подумал, что на шапках звезды, в карманах френча красные билеты...

— Начальник политического отдела 28 Железной дивизии!

— Документы есть?

— Конечно.

Плешко через Матанина передал документ. Командир, поводя носом, усыпанным мелкими волосиками, долго мял удостоверение.

— А вы кто такой?

И командир, глядя в удостоверение, ответил сквозь зубы:

— А мы петлюровцы.

Щербаков уперся спиной в бок Плешко. Спина ерзала. Плешко приподнял наган, но чувство омерзения, которое охватило его, когда он стрелял в пластунов, опять овладело его телом. Тусклая пелена на мгновение упала перед лицом и ему стало сразу же стыдно и еще более стало нехорошо, когда он пригляделся и увидел, что Щербаков держит его за руку, а сам орет, тыча пальцем в черное знамя:

— Вы на другой стороне читайте — «Долой контрреволюционеров!». Так ведь если б я его за руку не дернул, он бы в упор и на два шага, сволочь ты такая, пулю бы в тебя впустил, командир ты или нет?

Командир протянул удостоверение.

— У нас система борьбы такая, браток. Мы бандитов на петлюровские лозунги, чтобы язык раскупорить скорей, ловим.

— Благодари за вежливость, стукнули бы тебя, иначе.

Командир сделал под козырек.

— Начальник отряда полтавской губчека Смирнов.

— Про Железную слышали?

— Говорят, будто у Борисполя Железная ходит. А у Борисполя бандит Бессонов сидит, ездить туда одним не советую. И, кроме того, во всякой дыре — поляки. И банды, и поляки.

— А почему вы от Бессонова не очищаете?

— Другие важные задачки, браток, — сказал он как бы с сожалением и сдвинул папаху на ухо. Он подтянул стремя, и отряд с гиком, красуясь перед Плешко, поскакал на Переяславль. Щербаков плюнул и долго смотрел на свой плевок.

— Предпочитают легкие успехи над безоружной жертвой да простачков на лозунги ловят, вот и все их важные задачи. Куда направляемся?

— На Борисполь, — сказал Плешко, пряча наган.

В сумерки показалось волостное село Рогозово. Волостное правление наполнило им корыто — было скользко, сыро и пахло водой. Матанина они оставили в тачанке, подле пулемета, в десяти шагах от правления, а сами с револьверами в руках вошли в правление.

Распоряжение было Матанину такое — никого ближе десяти шагов не подпускать, а если раздастся крик из правления: немедленно огонь — по улицам. Матанин устал, плохо выспался и плохо поел. И благодаря этому, наверное, ему трудно было считать шаги: десять ли шагов, пятнадцать ли шагов сделали подходившие мужики. Он их тихо окрикнул. Они подошли еще ближе. И тогда Матанин, крепко прижавшись к пулемету, вспомнил удалого чекиста с черным знаменем и спросил:

— Вы за кого? Мы-то есть от Бессонова.

— И мы есть за Бессонова, — ответил ему из синего сумерка, почтительный и в то же время строгий голос. И по этому голосу Матанин понял, что необходимо действовать дальше, и он, гремя пулеметными лентами, прокричал:

— Во-о, бандитская власть! Выбирай немедля комиссара по продовольствию и по пяти пудов со двора, а то сейчас же огонь по всему поселку... Я вам покажу Бессонова...

И тот же почтительный и строгий голос ответил ему спокойно:

— Чего кричать! Вот и будет комиссаром кузнец Петро. Петро, иди!..

Высокая лохматая фигура вышла на дорогу. Папаха на нем шире плеч. И, увидав эту папаху, Матанин заорал:

— Отходи дале, открываю огонь!

Плешко встретил представитель исполкома, закутанный до самого носа в шарф. Он, обеими руками придерживая шарф и жалуясь на хворобу, ответил уклончиво, что в Борисполе совершенно неизвестно кто стоит.

— Телефонная связь есть?

— А кто ее знает.

— Овса надо, подкормить коней.

— Это никак невозможно! Ехали б вы по своим делам.

Плешко прошел к телефону. Собрались еще мужики. Какой-то маленький с длинными волосами принес бумажный фонарик со вставленной в него церковной свечей. В телефоне задмыхал, заворчал уклончиво Борисполь. Наконец Плешко спросил:

— А Железная есть? А красноармейцы есть?

— Да нету красноармейцев. Были да выгнаны все.

— Кем?

— Нами, петлюровцами.

К фонарю пробрался кто-то в очках, с длинным носом. Долго и пристально разглядывая разговаривавших, он, наконец, сказал меланхолически:

— Вот это и есть Щербаков?

Щербаков выпрямился.

Второй голос отозвался еще спокойней:

— Вот он какой есть Щербаков? А как он думает...

Здесь они услышали крики Матанина. Они выбежали на крыльцо. Кто-то завопил во тьму: «А ну держи Щербакова!». Матанин кинул гранату. Тачанка рванулась и, через минуту, на большой дороге, Матанин хотел похвастаться, как он смастерил комиссара продовольствия, но ему стало стыдно и он сказал:

— Богатое село, а овса не дали.

— Поворачивай к бригаде, — сказал Щербаков.

Глава двадцатая.

Поляки шли правым берегом на Киев. Видны были зарева, сверкали ракеты, доносился далекий гул. Сведений о точном местонахождении Железной все еще не было. Прибежал какой-то раненый, заикающийся коммунист и сказал, что Железная защищает переправы у Дарницы. Ему мало кто поверил, да и коммунист через два дня свалился, охваченный тифом. Красноармейцы перестали исчезать, и хотя в бригаде было не более трехсот человек, но уже стало ясно, что остались только те люди, которые умрут, но не разбегутся и не предадут. И это, как ни странно, было неприятно сознавать Плешко, потому что голову его теперь больше занимали мысли о Железной и ее состоянии, чем о положении бригады. Все последние дни накрапывали дожди, бригада шла «Половецкой республикой», проселочными скучными дорогами, среди полей. Изредка попадали болотца, серые какие-то топи, и небо над унылыми и тощими полями было серое и скучное.

Кабардо для устрашения бандитов и для доказательства удали бригады предложил не закапывать труп Бессонова, а везти его с собой и показывать во всех селах, мимо которых пройдет бригада. Как это предложение ни было странно, но на него быстро согласились, и вот

впереди бригады шла бричка с громадной черной колодой, внутри которой лежал труп Бессонова. Вокруг колоду обложили боченками со льдом и, перевертывая боченки, Кабардо сверкал глазами и исступленно восклицал, что он эту мужицкую породу превосходно знает! И боченки со льдом и длинная колода и лошади с такими умными мордами, везущие свою странную поклажу, — все это было страшно нелепо и походило на дикий сон, и в то же время вот эта-то нелепость и делала реальным все то, что происходило вокруг Плешко и в нем самом. А в нем происходило то, что все окружающее и самого себя он принимал все проще и проще, и то многое, что в начале раздражало его или вызывало улыбку, теперь умиляло до слез, до отсутствия сна. Вот зажигали ночью костры, красноармейцы подходили и отрясали в огонь вшей, слышна непередаваемо похабная брань. Запах отсушившихся онучей; слякоть и грязь и все отвратительное зловоние полей и грязные тесные хаты, и грязный крестьянский царь в колоде, Иванушка Бессонов; — какая, казалось бы, чушь и чепуха! Но сколько, если вдуматься, во всем этом превосходного и сколько крепких и настоящих людей окружает теперь Плешко!

Вот первым полком идет и командует Пыхачев. Он харкает кровью, ходит сильно сутулясь, желтый, раздражительный, ворчит на солдат. От смерти он, кажется, ускальзывает как-то боком и словно бы этого стыдится. Он говорит длинные скрипучие речи, и он всех неприятнее. Но если бы он умер — какая огромная пустота осталась после него и в бригаде и в жизни Плешко! За ним идет Матанин с пулеметной ротой; затем Савка Ларионов с полком пластунов; мятущийся и бешеный Кабардо с двумя эскадронами. Второй полк ведет Бессонов, рыжий и спервоначалу казавшийся очень бестолковым мужик. Гавро, разговаривающий со своими китайцами на портовом жаргоне и неизменно записывающий каждый свой и день своей роты в дневник. Кабардо наклоняется, смотрит на дорогу, на унылые поля и ведет бригаду все увереннней и увереннней на Борисполь. Есть ли там Железная, нет ли там Железной, но бригада должна выйти к Борисполю!

— Откуда тебе так дорога известна? — спросил Плешко, и Кабардо ответил, стукнув себя в грудь:

— Сердце знает, а не я!

Изредка из соседних деревень подъезжали мужики, просили показать труп Бессонова, крестились и говорили: «Вечная память». Присоединилось еще несколько коммунистов; учитель в высокой шляпе и длинными волосами, уверявший, что его вешали петлюровцы и что он полчаса висел в петле. На шее у него, короткой и грязной, был большой кровавый круг. Присоединившиеся коммунисты отъезжали в сторону, на день-другой, и к обозу бригады тогда еще присоединялись воза с хлебом. «Для Железной подарок везем», — говорил Болдырев, и лица у всех делались удивительно трогательными и в то же время сухими. И вот однажды Кабардо, бледный и вытянувшийся, указал на синее болото и далекий лес за ним:

— Там, в восьми верстах Бессоновка, Ипполит Егорыч. До нее труп довезем, там у него церковь и вся основа его власти. Они на труп придут смотреть, прощаться.

От болота несло гнилью, осокой. Птица, удивительно громко хлопая крыльями, пронеслась над обозом. И Плешко подумал, что в эти дни он даже не посмотрел на клубный фургон, не узнал, как живет Анна Осиповна, он заметил только мельком ее взгляд — испуганный и тяжелый. А ей, наверное, очень тяжело и ведь места-то, казалось бы, округ самые тихие и мирные: изгороди, коровки кое-где пасутся, седенький пастушок и белые церковки, — а вот триста человек, оглядываясь по сторонам, большей частью ночью идут тихо, стараясь не шуметь и не стрелять.

Бессоновка стояла над рекой. Маленькая церковка с остренькой колокольней, кресты и железные ограды. Но все облезло, грязно, скучно и трава-то какая-то гнилая. Вот семейство Бессоновых, давно привыкнув ко всей этой грязи и мерзости окружающего, тихо отдыхает, а последнего потомка их привезли в колоде, из которой поят коней, где по краям остатки конской слюны, сапная слизь, а вокруг рыхлый и желтый от глины погребов противный лед. Тело Бессонова уже сильно пахло, и возница вел коней под уздцы.

Глава двадцать первая.

Труп стоял перед палаткой комполков. Плешко подошел к колоде. Прямо перед ним на облезшем холме, обсыпанном мелкими тропинками, стоял бессоновский дом. Крестьяне, в длинных платьях, спускались с холма. В палатке три комполка: Савка, Пыхачев и Бессонов рассказывали друг другу свою жизнь. Рассказы были пустяковые: у кого работа, да сколько получал в день, но все трое почему-то сильно смеялись в конце каждого рассказа. Затем Савка рассказал с удовольствием, как умер Белов, бывший командир пластунского полка. Савка, видите ли, все время сомневался: стоило ли ему быть командиром пластунов. Показались тут в сторонке, вроде как бы, три бандита. Белов сидит на телеге и поглядывает на Савку презрительно. Савка спрыгнул с коня и сказал: «Качай с пластунами, героем придешь, полк получишь обратно!». А Белова привезли убитого бандитами, — и в спину. «Собаке и собачья смерть», — отозвался спокойно Бессонов и опять заговорил о своем барнаульском хозяйстве. Затем они поговорили о покосах, о дождях.

Бессоновские мужики, вяло опустив руки, стояли перед трупом и уныло смотрели в надменное лицо Бессонова. Было жалко на них видеть и ненужным казалось здесь и тело и эта церемония с выставлением трупа. Подошел Кабардо и, указывая на мужиков пальцем, свирепо сверкнул глазами и заявил, что вот наверное среди них один или два «члена правительства» имеются! Мужики, крестясь и стоная, шарахнулись. Кабардо быстро заговорил:

— У меня в селе единственная на свете любовь. Вот меня интересует вопрос: почувствует она меня или нет? Если почует, то придет к бессоновскому трупу, потому что она знает: с трупом только один я мог такую придумать!..

Анна Осиповна, в брезентовой накидке, шла за Пузыревским и просила у него для клуба свечей. «Читать же книги не с чем», — говорила она и тут же рассказала, как один пластун читал книгу при лучине старательно всю ночь, но почему-то с конца. Она прикрыла глаза ладонью, стараясь не глядеть на труп. Мелкий и серый дождь делал ее руку старческой. Она сказала о Феоктисте:

— Мицура охраняла свою любовь. Она любила Бессонова, она ему была верна, это доказано.

«Что доказано, — подумал Плешко: — доказано ли, что любовь есть доброта, а за доброту, в окаянную нашу жизнь, можно полюбить самого неинтересного и некрасивого человека? А Бессонов был дико зол, его трудно было выносить и нельзя было любить».

Павла Черкасова, та любовь, про которую говорил Кабардо, пришла к трупу уже совсем к вечеру. У нее была ровная походка, словно она знала, сколько ей остается пройти и что спешить некуда; полное, лунообразное и даже, пожалуй, некрасивое лицо и пристальный взгляд серых и как бы убедительных глаз. Она сказала Плешко, что необходимо уважать человека, то есть она сказала не так, но в начале ее всегда понимали иначе, чем позже, когда вдумывались в ее слова. Она сказала, что Бессонов безумец, который называл себя и верил себе, что он крестьянский царь, способный учинить религиозную республику. Он кончил жизнь свою как безумец, и его везут теперь для устрашения люди, похожие на безумцев. Безумцы и несчастные люди мчатся с трупом вперед...

— А где Железная, не слышали? — спросил Плешко.

— У нас ее давно ждали, а все нету.

— Так у Бессонова было известно о Железной?

— Да, говорили, она должна усмирить Бессонова.

Пузыревский наклонился к Павле:

— А любовница у него была? Феоктиста, скажем.

Павла посмотрела на него с жалостью. Пузыревский был волосат, широк, с четырехугольным подбородком, покрытым желваками мускулов. Его круглые и громадные кулаки с казанками величиной в пятак и рыхлый толстый нос — угнетали, видимо, ее. И эти руки! Обтянутые твердыми и синими жилами; пальцы искривленные; все облепленные мозолями, — громадные руки бездарности и тупоумца!..

— Опросите население.

Павла взглянула на Плешко, словно спрашивая, что разве у вас есть женщина, несчастная и глупая, которую подозревают, что она была шпионкой Бессонова? Плешко понял ее вопрос и так же мысленно ответил, что такой женщины нет, умерла похожая на нее... Павла продолжала говорить, что Бессонов погубил дом ее родных, убил брата, но она не

злится на него. Он был несчастный и пустой человек. Ему иногда казалось, что к нему придет какая-то женщина, которая подробно расскажет ему, сколько в Железной дивизии (состоящей сплошь из жадных и крепких мужиков) награблено и бережется золота, серебра и бриллиантов. Они берегут, чтобы увезти его с собой в Сибирь, а Железную надо заманить к «половецким», разбить...

— Бред! Романтический бред, — сказал Плешко. — Я, видите ли, парикмахер и мне иногда стыдно командовать, когда вокруг меня почетные пролетарии: столяры, литейщики... Но, как все парикмахеры, я, во-первых, лыс (он улыбнулся плоской своей шутке), во-вторых, я страшно боюсь причесанного человека, а романтизм — это причесанность. Бриллианты и деньги! Кому они нужны, когда пылает весь мир? Феоктисте нужна была любовь! Она любила и, наверное, хотела чем-то доказать свою любовь, хотя бы тем, что перед мужиками надеть бриллианты Железной дивизии...

— Первый бриллиант: звезда на шапке, — высокопарно отозвался Кабардо. Он, увидав Павлу, кинулся к ней с объятиями, а она протянула ему руку. Три комполка в палатке хохотали над ним. Кабардо сказал, что это всегда так — «встречает холодно, а затем разгорается».

— И сейчас мне пришло в голову, что ни одной женщине я не говорил — парикмахер я, дескать. Вам первой, а?

— С ней легко, — сказал Кабардо, хлопая ее по плечу.

Она, отталкивая его руку, ответила Плешко:

— И напрасно сказали. Я б может быть, с вами по первому слову ушла, а теперь как же с парикмахером по первому слову уйти? Смешно! А глаза у вас добрые. Однако добрые глаза только на дорогу выведут, а дальше с ними итти не стоит: заблудишься.

— Я бы предложил вам с нами поехать, но впереди самые крупные опасности.

Она посмотрела на колоду и медленно ответила:

— Я наверное откажусь: нельзя жить на войне.

Тон ее речи и ее глаза смутили его. Он хотел-было (чтоб не думать много) предложить дать отпуск Кабардо на неделю, но тотчас же стала ясна нелепость такой мысли. Он улыбнулся, и ему опять стало легко. Он, видимо, привыкал к радостному чувству, которое жгло его все последние дни и которое началось со станции Магалево. К тому же не прошло и минуты, как Павла опять заговорила о Бессонове, лицо ее выражало боль, и Плешко, пожимая ее руку, обещал ей, что труп будет немедленно похоронен, как только бригада выйдет из бандитского очага: Бессоновки.

Глава двадцать вторая.

Когда бригада двинулась, мужики (надо думать, напуганные безмолвием и вежливостью солдат и тем, что село не разгромлено) вышли за околицу и там, подле болота, у камышей выдали главарей «Половец-

кой республики». Главари оказались очень благообразными, тощими мужиками, неустанно бормотавшими молитвы. Болдырев настаивал на продовольственной контрибуции, мужики соглашались, но Плешко, опасаясь озлобления, отговаривал. Вода, цвета ржавчины, пахнущая тиной и смолой, колыхалась среди камышей. Небо было низкое и пустое. Связанные мужики, садясь на подводы, крестились на небо и на камыши. И затем один из главарей сказал длинную речь пред собравшимися мужиками о бесполезности бандитизма и о том, как хороша советская власть. Труп Бессонова ухнул в болото. Бригада пошла дальше.

Плешко шел ошеломленный тем чувством радости и счастья, которое не покидало его. Он думал о Павле и был убежден, что перед ним только теперь разверзлось чувство настоящей любви к настоящему человеку. Это чувство и служит теперь оправданием всей его прежней и теперешней радости. И хорошо, что она не пошла за ним, что она не боится мести мужиков (хотя бы из-за Кабардо), и осталась в селе проверить себя и свой приход. Она придет сама! Анне Осиповне он тоже нравился за простоту, но не за ту простоту, настоящую простоту, которую поняла только Павла и которая заставила его признаться, что он парикмахер, цирульник, а в то же время человек, помогающий другим людям устраивать свое счастье.

Давно уже рядом с ним шел Болдырев, у него было веселое лицо, такое, каким его давно Плешко не видал. И Плешко вспомнил, откуда началось веселое лицо Болдырева. Мужик говорил над трупом Бессонова о бандитизме, а позади его стоял Болдырев с листом бумаги и с такими глазами, по которым можно было понять, что он прикидывает в уме: сколько же можно взять с Половецкой республики контрибуции. Как только мужик начинал говорить с волнением, — он прибавлял сотню или полторы к своим расчетам, а когда мужик крикнул: «Да здравствует советская власть», у Болдырева стало такое доброе и снисходительное лицо, что Плешко сразу понял — Болдырев будет настаивать на пересмотре решения о контрибуции. И теперь, глядя на него, Плешко подумал что, пожалуй, вернее будет пересмотреть этот вопрос.

Пыхачев догнал их и, кашляя и указывая на тусклое небо, сказал:

— Ну, разве это страна? Ну, разве могут в Европе, при ее уважении к личности, хоронить человека в болоте и от похорон еще зарабатывать продовольствие? А вот ведь пишут: окрестности, красота... гадость.

Приглядываясь к Плешко, он всплеснул руками:

— Вы тогда помните, в Житомире, к мосту бежали? Я умею быстро ориентироваться и, кроме того, у меня семья. Я понимал, что если мне кинуться вброд, а плаваю я хорошо, то через полчаса буду я у своих, в полной безопасности. Но у вас был такой глупый вид и командовали вы так смешно, что я остановился. И смешней всего, что и прочие командования этого слушались. Сильно у вас желающий добра всем вид был... я-было и покаялся, тогда на полянке, что за вами кинулся...

Он, прижимая руку к хрипящей и тощей груди, с трудом влез на коня. Пузыревский поравнялся с ним. Они ехали рядом и молчали. И на Пузыревского Плешко смотрел с удовольствием и даже кулаки его, казалось ему, имели какой-то беспомощный и смешной вид. Вот парень тянется; скоро эти руки, эти кулаки возьмутся за карандаш — и будут смешны.

Голова горела — надо бы выспаться, и у Плешко мелькнула мысль, что все, окружающие его, смотрят на него с такой любовью и радостью, может быть из жалости, из-за того, что он болен, ведь, видят же они его бессонницу, болезненное беспокойство, сменившееся вдруг медлительной уверенностью в мыслях и движениях? В зеркало б посмотреть, что ли?

Казалось, что говорит о Железной, — но это слово повторялось все чаще и чаще. Люди уже не чувствовали себя заброшенными под чужим и в то же время по-родному серым небом. Они словно с трупом Бессонова сбросили в болото усталость и уныние. Да, ведь, и поговорка, кажется, есть: «а ну, в болото». И еще ему казалось, что вот он едет, а сейчас его окрикнет какой-то необыкновенно родной и близкий голос и выкрикнет ему такие слова, такие слова... он уже чувствовал дрожь в горле от этих слов; виски кололо от восторга. Ему было приятно видеть вокруг себя человеческие лица, рваную и грязную одежду солдат, измученных коней и связанную бечевками сбрую. Нищета, голь, ветер... Понятно, что переход, который обычно делали в два дня, сделали в один. Глаза у всех устремлены на дорогу, пробовали запеть, — песня от волнения не вышла. Пластуны горели в седлах. Матанин, с огненной метлой вместо головы и с растрепанным голосом, бегал среди своих пулеметов. Гавро шел прямо, высоко подымая квадратную, честную и добротную грудь, у которой прекрасный безукоризненный дневник и верное сердце.

И чем ближе к городу, тем среди крестьян больше разговоров о Железной.

— Как же, стоит!..

— Еще бы да про Железную не знать!..

И об командире Железной и обо всех других бойцах самые отличные сведения. Еще бы!..

Вот подскакали и сообщили командирам полков разведчики: да, сведения самые превосходные. Веселая трава в колеях дороги! Пепельное, веселое и близкое небо. Песен побольше бы и шагать покрепче бы! Шагай, коммунисты, шагай, чорт возьми, побыстрее! Во-о, Железная дивизия! Во-о, в полном составе ее политотдел мчится к ней по шоссе, а впереди всех низкорослый человечек в коротеньком френчике с красными пятнами на скулах (нет-нет да похлопывающий себя ладонью по щеке) — Плешко. Ипполит Егорыч!..

Глава двадцать третья.

Ближе к городу на шоссе, желтом, попорченном артиллерией, они увидали пятерых конных. Одного из них, Спенных, инструктора по гимнастике, Плешко знал давно. Кабардо кинулся его целовать. Он к поце-

луям и к появлению бригады отнесся спокойно, пожал руку Плешко, сказал, что про него думали и говорили, будто он поляками в плен взят,— и тронул поводья. Плешко мотнул головой, расстегнул кобуру и позвал-было к себе Кабардо, но тотчас же понял, почему он позвал, ему стало стыдно, и он пустил коня галопом. Он подумал, что Павла (если взбешенная бригада убьет Плешко) достанется Кабардо. И еще стыд был в нем силен от того, что он подумал тогда же, что Кабардо женат и не надо бы Павле разрушать его семейную жизнь и что лучше, если погибать, то погибать обоим!

День был к концу. Вокзал, красный и приземистый от солнца, казался еще багровее и угловатее. Было тепло, днем выпадал дождь, и широкие лужи через края брызгались солнцем. Еще один знакомый, начальник канцелярии, Еремин, встретился у вокзала. Он тоже хмуро поздоровался и сказал·

— Втикать надо. Киев наши, кажись, сдали.

Переулки и пути были забиты колоссальным обозом Железной. Эти обозы были еще более растрепаны и ненужны, чем даже в Житомире. На возах Плешко увидал клетки с птицами; сундуки с громадными замками в виде гирь; несколько жаток мелькнуло среди каких-то бетонных труб и пятерых возов, груженых плетеными из камыша циновками. Красноармейцы ходили с шинелями в руках; в расстегнутых рубахах, без фуражек и на лицах у них было то самое выражение, какое бывает у очень старых людей, которым надоело спать, есть, разговаривать. Какой-то красноармеец шел пьяный и слабеньким голоском хныкал: «А вот и Киев сдали, а дале што-о?». Он упал у забора, возле телеги, у которой трое красноармейцев варили кашу на костре, разведенном из сломанного платяного шкафа.

По обеим сторонам дороги, от вокзала до города, на всех пустырях горели костры. Беспорядочные палатки были наполнены обозной тревогой и ненужной суетой. Несколько красноармейцев спросили бригадных: «с чем обозы?», и когда услышали, что с продовольствием, в лагере произошло движение, напоминавшее то, когда на улице в большом городе происходит убийство и со всех концов улицы к убийце бежит толпа: багроволицая, бледная, встревоженная, но не знающая, что ей делать. Плешко увидел, как двое часовых подле какого-то склада отложили винтовки и бросились к обозам бригады.

Бригада, хмурая, молчаливая, медленно заняла площадь, обнесенную двухэтажными домиками с аккуратными балкончиками. Площадь украшал пыльный садик, в котором пытался оторваться от пыли и хоть сколько-нибудь перерасти тополя деревянный обелиск «Памяти жертв белогвардейского террора». На одном из углов, как раз против фонаря, похожего на пишущую машинку, вывеска политотдела Железной дивизии. Над вывеской балкон был украшен сушившимися синими подштанниками, и большой кусок сиреневого стеганого одеяла качался из окна, рядом с балконом. Внутри помещения можно было рассмотреть, как трое солдат,

полулежа на матрацах, играли в карты. Сотрудник отдела, в нижнем белье с трубкой в зубах, видимо только что проснувшийся, неимоверно зевая, читал газету. Часовой спал в передней, несколько пакетов лежало у его локтя.

Бригада, несмотря на усталость, стояла неподвижно. Эта ее неподвижность смутила обывателей, которые приняли ее, видимо, за бандитов, потому что вскоре захлопали ставни, зазвенели крюки дверей, опустели балконы, и только в приближающихся сумерках синие подштанники на балконе политотдела превратились бесстрашно в черные.

Плешко огляделся.

В одном из окон показалось лицо мальчонки. Он пропищал что-то неразборчиво и тотчас же скрылся. Но вся бригада долго смотрела в это окно, и всей бригаде, как и Плешко, показалось, что мальчонко высунул им язык. Холод, начавшийся с колен, медленно подступал к груди Плешко. Он почувствовал слезы в горле. Гавро, опираясь на винтовку, рыдал. Вот его, Плешко, окружают все, записанные в книжку: тут и Пыхачев, Савка Ларионов, Кабардо, Болдырев, Пузыревский, Матанин, Щербаков; тут и старики-сибиряки, великие партизаны; тут и мужички, приставшие в полях и лесах «Половецкой республики»; кавалеристы на измученных конях; пулеметчики на пыльных тачанках и в мужицких свитках, — в засаленных и замызганных папахах; все те, кто, проделав много верст и телом своим защищая обозы с хлебом, только и думал о Железной. Обозы бригады заполнили площадь. Бригада стояла неподвижно. Солнце, ушедшее во-время, скрыло мокрые глаза бригады.

Когда к площади на автомобиле приехал Мицура, он вынужден был пройти через площадь пешком, потому что бригада не расступилась перед ним. Мицура остановился пред Плешко. Попрежнему Мицура крутил папиросочки, попрежнему самодоволен.

— Все, что ни говори, а приехали вы и отлично, — сказал он. — Тут все коммунистов мне в политотдел хотели прислать, да так и не собрались видно. А нас и Бессонов замучил, и... вообще...

Плешко кивнул головой, и ему было приятно видеть, что никто не шевельнулся сказать Мицуре, что Бессонов уничтожен и что Половецкой республики не существует.

— Необходимо, товарищ Мицура, немедленно напечатать в газете...

— Закрыли мы газету пока...

— Тогда разрешите предложить...

— Мы завтра, товарищи, отступаем до Барышевки, а там думаем укрепиться. Переправу через Дарницу мы охранять не в состоянии и, кроме того, бандиты и Бессонов... Ты помнишь, Плешко, старичок у нас в штабе в Житомире существовал, — здесь я его встретил! Стоит в церковной оградке, курва; я ночью иду мимо, а он стоит и слушает

— Слушает? — переспросил Плешко и вдруг, обернувшись к Савке, выкрикнул. — Ссадить сотрудников политотдела с телег! Выкидывать все жилое из политотдела к чортовой матери!

И Савка заорал:

— Политотдел!.. сотрудников!.. с телег!..

Глава двадцать четвертая.

Через несколько недель, возвратившись из объезда частей дивизии, Плешко делал доклад новому командиру Железной Тимофею Болдыреву. Болдырев сидел на низенькой скамеечке, плотно соединив ноги. Он ел черешни и косточки аккуратно сплевывал в кулек из сахарной синей бумаги. На нем была все та же рваная гимнастерка, в которой он ездил по землям Половецкой республики, и только сапоги у него были новые. Болдырев с жалостью смотрел на сильно исхудавшее лицо Плешко, на его ввалившиеся глаза и думал: «помрет», и ему хотелось сказать что-нибудь хорошее, и оказывалось, что все хорошие слова сказаны им Плешко по нескольку раз. И Болдырев, тихо улыбаясь в рыжую свою бороденку, слушал, стараясь сделать самое внимательное лицо, хотя все что, что докладывал Плешко, было давно известно, и об этом много и писалось и говорилось.

Плешко сообщал, что штаб армии прислал Железной семьдесят человек мобилизованных коммунистов, но что они едва ли нужны, так как воспитанный кадр политических работников сводной бригады (несмотря на некоторые усвоенные партизанские навыки) дал возможность развернуть школу политруков, выделить представителей сводной бригады в местный партком и ревком, которые быстро подняли доверчивое отношение к Железной. Товарищеский дух в этом сближении укрепили субботники! В типографии, где раньше печатались афиши любительских спектаклей, напечатаны воззвания к населению... население начинает нам верить... Крестьянские работники, двинутые по созданию окружного комитета по продовольствию, говорили... Революционный энтузиазм...

Плешко чувствовал сильную слабость. Он плохо понимал то, что говорит за ним ему Болдырев. Последние дни Плешко сильно клонило ко сну, но все ж он спал плохо, но боли в теле не чувствовал и врача звать ему было стыдно. Он присел рядом с Болдыревым. Красноармеец, с кипой газет, напечатанных на обойной бумаге, шел по площади. Болдырев остановил его и спросил:

— Куда несешь?

— В третью пулеметну роту.

— Кто командир?

— Матанин.

— Деловой командир, славный мужик. — И Болдырев хотел похвалить Плешко за хорошего командира Матанина, но и эта похвальба и хвала за газету была высказана много раз. Ветер толкал красноармейца

и его кипу газет. Болдырев вздохнул: — Давеча мужики двизионные жалуються: к уборке не попасть. К уборке, верно, не попасть, а что я могу сделать? Самое почетное, что я тебе скажу, это, парень, — здешной мужик нашей двизии закрома открыл. Вот это забрало! А почему открыл: потому, что мы, сводные, привезли обозы с хлебом, подкормили Жалезную, вот и стало легче. Мужик, хоть здешний, хоть другой, хлеб к хлебу любит давать... Я вот увеличиваю продовольственный паек от полуторых фунтов до двух в день, да и до двух с половиной могу, а бах — седни представители из опродкомарма прикатили и давай ругаться!.. Уж они меня и садили, уж и садили, а я говорю — имеете намерение на Киев итти?..

— А где Филипп... Мицура?..

— Он-то? В штаб армии укатил. И дамачка с ним. Эта, учительша, Анна Осиповна. Я тебе как-то говорил, что она на нашу деревенскую учительшу походит, так я наврал.

— Знаю.

— Может, и не с Мицурой уехала. Одна могла уехать. Пустая бабочка и словами пустыми нагружена. А Мицура ее подберет, он добрый.

Болдырев скоса посмотрел на Плешко и ухмыльнулся. Плешко пошел к показавшемуся на площади Кабардо.

— Нет, — ответил Кабардо: — писем для товарища Плешко нету. Живу хорошо, прекрасно живу, полной грудью, да...

— К тебе не приезжали?

— Оттуда? Нет. Надо думать и не приедут. А люблю, люблю... — Кабардо взмахнул руками с таким видом, будто он может показать, как он ее любит. Улыбка у него была торжественная.

Глава двадцать пятая.

Взрыв! Плешко плохо помнил этот взрыв, надолго прервавший жизнь Цепного моста. Кабардо исступленно крикнул ему в окно — «поляки мост, кажись, цепной взорвали», — голос его был писклив. Орудия крепости мешали голосу Кабардо. Плешко стоял у окна, совсем в тени маленького кирпичного и давно пустого домика с выбитыми окнами. «Луна дает тени удивительно черные», — подумал Плешко и подумал он оттого, что ему не хотелось думать ни о зареве над городом, ни об ракетах, пляшущих над Днепром и левым берегом. От реки несло волнистой свежестью и об этой свежести тоже не надо думать. Ему надо стоять и ждать, пока полевой телефон не прошипит и пока Кабардо не передаст трубку, и пока его не пошлют к крепости. В ограде пустуют палатки политотдела. Эскадрон, которым командует Кабардо, спешился. Кони шумно дышат. По шоссе мимо домика медленно прошла рота. Начальник низенький и сутулый, это может быть и Гавро, и Щербаков. Нет, и Гавро и Щербаков еще в сумерки пошли к крепости...

С вечера орудия поляков бьют по людям, ползущим к крутым скатам правого берега Днепра. Река грязная и противная. Над нею реденькое, как плохой ситчик, небо. И умирать под этим небом и тонуть в этой скучной реке — противно и тяжело.

Из Киево-Печерской цитадели врывается вой польских орудий. Вой подкрепляют, увеличивают работу укрепления Госпитального и Васильковского. Казармы укреплений плотно набиты польскими солдатами. Солдаты все в хорошей и красивой форме, они долго репетировали под руководством седых, влюбленных в славянство, генералов, оборону крепости. Солдаты необычайно довольны гулом фортов.

С левого берега на правый всю ночь, мимо Плешко, направо и налево, отовсюду к крепости шли резервы. Многие политработники ушли на передовые линии. Сам Плешко ждет у телефона, и ему немного стыдно было думать и в то же время приятно, что он вскочит на коня и, сопровождаемый Кабардо и эскадроном, поскачет к крепости и будет ободрять красноармейцев. У него ныла шея, он себя плохо чувствовал и ему вспомнился болезненный Пыхачев. «Тоже, полез...»—подумал он с усмешкой.

А Пыхачев, командир батареи легкой артиллерии, долго и прилежно изучавший в последние недели артиллерийское дело, ученик, а сам некогда учитель Волчихинской церковно-приходской школы, вел (два часа перед тем, как о нем вспомнил Плешко) в брод батарею. Его теснила польская кавалерия. Обоз артиллерии образовал в броде выбоины. Пыхачев, сморкаясь и кашляя, полез спасать застрявшее в выбоине орудие, которое за неповоротливость две недели назад он окрестил «Мицурой». Он хлестал лошадей, свистел, — а поляк, с пригорка, на полном скаку лихо прицелился в него из карабина. Длинная фигура Пыхачева сделала последнее недовольное движение. Темная вода зевнула перед его ртом. Он погрузился в Днепр.

Левый берег открыл усиленный огонь по фортам, по укреплениям, по батареям крепости. Скоро, часа через два, помянут хорошим словом Пыхачева, доставившего на правый берег легкую артиллерию. Она будет метаться среди казарм, крыть по внутренностям, по внутренним сообщениям крепости.

Части армии приближаются. Крепость шипит, скачет в небо. Днепр не успевает отражать ее ярость.

— Ускоренная атака? — стелется над телефоном исступленный Кабардо. — Как идет ускоренная атака? Ээ-эх, нас не пора?..

Офицеры, забыв щегольство, щипящим своим говором, почти порусски выкрикивая команду, ведут колонны между линией фортов и оградой. Левый берег командует: «По фортам ослабленный огонь». Артиллерия фортов смолкает.

— Резерва у поляков нету, — кричит Кабардо: — служба плохо организована и распределение гарнизона никуда!..

Вызывая чувство скуки и беспричинной тревоги, начал сыпать мелкий дождик. Плешко думал о том, о чем давно уже говорилось перед атакой Киева, что переносные железные дороги внутри крепости (по обычной русской растяпости) достанутся полякам испорченными, и они не потрудятся их проверить, и великие стратеги из Варшавы, борцы за славянство, плохо срепетируют выход солдат на банкеты и в момент наступления красноармейских штурмовых колонн солдаты растеряются. Главный резерв поляков не сосредоточен и широколобые полководцы, вот теперь (когда легкая артиллерия товарища Пыхачева и других, похожих на него, недалеко от проволочных заграждений) — теперь полководцы сидят, злятся друг на друга, на мелкий дождик и никак не могут выявить решительный пункт атаки.

— Прорвали. Боевая линия переходит на вторые позиции!..

Польский солдат, белокурый и тонкоплечий, воткнул штык в спину русскому и побежал, кинув со страху ружье прочь. Безусый казак, высоко подпрыгивая, догнал солдатика и ударил его вскользь по шее. Вот оба и поляк и русский лежат недалеко друг от друга, у них обоих остатки испуга на лице, они давно мертвы, но руки их вздрагивают, потому что через них бегут; их топчут. Поляки тащат с орудий замки, прицелы. Они умирают, прижимая к груди замки, которые не успели передать. Они, мертвые, в рай, понесут части своих орудий? Кто-то из полководцев скомандовал: «Шрапнельный огонь, через головы солдат, по наступающим частям».

У Васильковских казарм решительный пункт атаки, — решили, наконец, полководцы. И артиллерия, и резервы, и танк пополз к Васильковским казармам.

— К Васильковским казармам демонстративная атака! Атака поручена Железной! Демонстративная атака Железной!..

— Ого-го, братаны, качай!..

— Савка, а где Савка!?.

— А я-то здесь!

— Дуй!..

«Они совершенно замотались, — думает Плешко: — разве бесконечны у Железной резервы?». Вот сейчас прошли мимо его, тяжело ступая старыми мужицкими ногами, партизаны с Алтая. Они поднялись для борьбы с генералами давно. Они шли по снегам Сибири в белых балахонах, на лыжах; а затем сели в теплушки и поехали встречать весну к Польше, на Украину... Плешко многих из них знал в лицо и по имени-отчеству. Тут есть и из Бийского уезда, и из Бухтарминской долины. У них великолепные хозяйства и раскрашенные, как пряники, дровни.

Вот прошли охотники из-под Иркутска. Он увидал одного торговца пушниной — этого-то зачем потянуло на смерть?

Вот роту ведет отец Савки, Илья Степаныч Ларионов. Затем Плешко видел рыбаков с Байкала; пароходных ребят с Иртыша и Оби приисковых рабочих... Крепостная печь пышет все сильней и сильней! Они идут спокойные, покрытые сединой, как идут спокойные хлеба в печь. Снаряды рвут мужицкие тела и удивляются: как же мало нательных крестиков на этих телах, седых, старых.

Мужицкие роты приближаются к Васильковским казармам, и Болдырев сопровождает свои роты. Четыре ряда проволок рвут мужицкие тела, мужицкое полотно рубах и не могут изорвать.

Мать поднесла парню новую рубаху, на счастье. И, вместе со своим сердцем и с синими пуговками по воротнику, повис парень на проволоке. Маленькая синяя пуговочка трясется. Ее трясет грохот орудий. Огни взрывом целиком сияют на ней. Погиб паренек, и рубаха погибла, — да что паренек, Болдырева снял с его недолгого командного поста польский офицер. Болдырев тряхнул последний раз бороденкой, кровь хлынула у него изо рта, ветер — теплый, пахнущий хлебом — наполнил его голову. Сильно ему хотелось открыть глаза, но не смог открыть глаз Тимофей Болдырев.

Дорога к крепости разворочена взрывами, ее надо обходить, Илья Ларионов идет выручать Савку, бестолкового своего сына. А Савка умер так: он примчался с остатками полка под окна Васильковских казарм. Поляков почти всех перебили, надо б отступить на время от казарм и выпустить пулеметную роту, которая б обстреляла казармы. Но третьей пулеметной ротой командует Саша Матанин, дружок, у которого и по сие время неизвестно, когда находит трусость. Савка думал взять казармы. И Савку Ларионова убили. Он лежал пробитой шеей на луке седла, а с другой стороны казарм умирала рота его отца под перекрестным огнем трех пулеметных отрядов. На площадь, перед казармой, выбежал с остатками третьей роты Матанин и, увидав мертвого Савку, зарыдал.

Давно к крепости прошел Щербаков. Давно нет Интернациональной роты, она шла первой к проволокам. Сам Гавро, вместе со своим дневником и раздробленной головой, висел на стальных колючках крепостных проволок. Пузыревский погиб среди сводной своей бригады. Докуда же ожидать будет Плешко. Нельзя ждать!..

— На коней! — закричал Плешко, и Кабардо отвечал из домика:

— Готово.

— Что готова?

— Сообщают: демонстративная атака перешла в сквозную. Крепость взята. Поляки отступают...

И еще позже разом прискакали два ординарца и в голос прокричали, что полячишки, действительно, дерут и что товарищ Болдырев убит, и что товарищ Пузыревский убит, и убит также Гавро, и Матанин, и Савка Ларионов... Железная дивизия погибла целиком... Ординарец плакал и обязательно желал огласить список убитых. Плешко неподвижно смотрел на пустые палатки политотдела, на полевой телефон, так и не прошипевший ему приказания итти к крепости.

Тишина опустилась на город.

Глава двадцать шестая.

Плешко умывался из жестяного чайника над ведром. Вошел Мицура. Рука у него была на перевязи. Окно было завешано розовой скатертью, и оттого, что на дворе были сумерки, лицо Мицуры казалось молодым, одухотворенным. И одухотворенное лицо, как и все в этот день, болезненно раздражало Плешко. В палатках, на дворе, суетился народ: шло формирование Железной. Подле окон, на улице смеялся Кабардо: утром к нему приехала Павла, и Плешко было противно подумать, что эта неповоротливая, пучеглазая и глупая женщина могла нравиться ему... Э, пускай смеются! Вода в чайнике теплая, липкая и противная.

Мицура желал проститься: он ранен, получил отпуск, он едет в Сибирь. Он как всегда самодоволен и велеречив. Плешко хотел-было спросить его: есть ли у него сестра Феоктиста, но тяжело (да и надо ли?) вести разговор. Френч упал с табуретки на пол, и из кармана показался угол желтенькой книжки, некогда подаренной ему Мицурой.

— Вот, о многом догадываюсь, — сказал Плешко: — многое, говорят, могу предвидеть, а в своей личной жизни... чепуха!

Он развернул книжку и смыл водой все записанные на двух страничках фамилии. Затем он подал книжку Мицуре:

— Спасибо. В Сибири вы не найдете такой удобной книжки, а мы в Польшу идем.

Плохая скрипучая машина остановилась у крыльца. Плешко устало взял маленький чемоданчик, и пошел сгорбленный, сильно постаревший, Уже из машины он сказал, что его назначили руководителем политработы 12-й армии. Он снял фуражку. Волосы у него на висках серые, редкие, а руки дрожали. Ветер был теплый и пах травой. Должно быть, будет хорошая осень! Мицура, играя листочками книжки, на третьей странице, внизу, увидал мелким почерком было выведено: «Ф. С. Мицура» и еще ниже «А. О. Блотова». Он хотел спросить: почему Ф. С. Мицура, но Плешко уже дотронулся до козырька. Страницы были еще влажны от воды. Мицура поймал каплю, оставшуюся на первой странице и уголком френча стер слова. Книжка стала совсем чиста.

— Доброй ночи, товарищи!

— Доброй ночи, товарищ Плешко!

Отец.

(Повесть).

Валентин Катаев.

«Батько! где ты? Слышишь ли ты все это?»
«Слышу!» раздалось среди всеобщей тишины...
Н. В. Гоголь.

В тюремной ночной духоте и тьме, в спиртовом запахе дынных корок, по стенам возились клопы. Два окна, переплетенные грубым железом, запирали ночь, всю осыпанную свежими звездами. Ветер и сполохи бежали по ним.

Клопы ссыпáли с потолка и стен известковую пыль, ссыпáлись сами в солому, и эта чуть слышная возня покалывала во тьме как бы игольчатым газом над мнимым стаканом сельтерской воды.

В окне, озаренный дуговым жуком, стоял дóбела розовый косяк соседнего корпуса. Под виселицей фонаря, среди черноты, на полотняной яркой земле качалась многоугольная тень часового.

Ночь была черна. Люди в переполненных камерах спали. По железным галлереям и лестничкам похаживали сонные надзиратели с ключами. Из клетчатых дверей слышался хрип, храп, кашель, стон и чесанье.

Тюрьма стояла посреди огородов и выходила крестом на все четыре стороны света.

В начале апреля в один из тех прекрасных и теплых дней, когда море особенно синё, а молодые листья особенно зелены, в тюрьму привели громадную партию арестованных. Сперва их вели по широким, опустевшим улицам города, где еще месяц тому назад расхаживали офицерские патрули и дефилировали отряды британской морской пехоты, затем, окруженные пулеметами и чубатыми всадниками на деревенских лошадях со вплетенными в гривы красными лентами, они миновали Чумку и кладбище, и, наконец, их покуда разместили на опрятном зеленом тюремном дворике. Среди приведенных в тюрьму людей был некто Петр Иванович Синайский, молодой человек в офицерской тужурке с артиллерийскими петлицами и в студенческой фуражке.

И пошла тюремная жизнь.

Ежедневно, опускаясь, как в трюм, на прогулку, Петр Иванович видел восток. Там, поверх красных крыш женского отделения, поверх

лужаек и черешен, поверх высокой небритой стены и огородов — была степь. Воздух заносил оттуда в зной зонтики одуванчиков и запах бурьяна — в дождь. Иногда, если надзиратель был добр, из высокого окошечка одиночки, где сумасшедший живописец с утра до вечера рисовал углем на стене революционный плакат, Синайский видел клочок юга. Там были беговые дорожки, поросшие молочаем трибуны и заколоченные конюшни. В солнечные дни за ними тек голубой кисельный воздух, полный бабочек-капустниц и отражавший невидимое море. На север выходила его камера, и север он видел всегда. Там было шоссе и кладбище, где в тени пыльных акаций, черемухи и шелковицы, где-то, был белый крест над могилой его матери.

Но запада не видел никто. Запад был за той самой крайней вертикальной чертой кирпича, которую можно было увидеть, просунув голову между прутьями решетки и скосив глаза. Там были тюремные ворота. Там, в степную пыль, садилось красное солнце.

Возле кухни часто били в кусок рельсы. Громыхая по перилам мисками, дежурные сбегали вниз за ужином. Через двор проходило попарно несколько арестованных. Они очень медленно несли на гнущихся палках луженые чаны с пищей, и были похожи на качающихся иудеев, несущих из земли Ханаанской чудовищные грозди винограда.

В камере начинали ужинать. Спекулянты - мыловары в чистых нижних сорочках «Гейша» с воротами, обшитыми вышитой тесьмой, и соломенными картузами на плешивых затылках, снимали со стен плетенные корзинки и занимали край потного прожженного деревянного стола. Им присылали все. У них был прекрасный белый хлеб и крупная соль, в которую они макали крутые яйца. У них было коровье масло, сахарный песок и настоящий китайский чай. У них были серебряные ложки, стаканы и полотенца. Они жили коммуной. Старший из них, тучный еврей с багрово выбритыми щеками и английскими усиками, засучивал до локтей рукава и короткими волосатыми пальцами неторопливо и чистоплотно делил между своими хлеб и курицу.

Другие подсаживались к миске с розовой свекловичной похлебкой и вынимали из карманов деревянные ложки и остатки утреннего пайка — ржаного колючего хлеба.

Староста камеры бросал в ведро потного кипятку щепотку морковного чая.

Некоторые, укрывшись с головой английскими шинелями и сильно зажмурившись, лежали на тюфяках, незаметно засунув руку под липкую бязевую рубаху. Им не хотелось есть.

И вечер, зажженный огарком в горлышке черной бутылки, оплывал лазурью и золотом стеарина на вялые корки на желтый понос дынных внутренностей, распластанных на столе. Нерешительная звездочка обозначалась на своем обычном месте в правой верхней клетке окна. Негромко разговаривая, евреи ложились спать в своем чисто обметенном углу на дерюжные соломенные тюфяки. Они густо посыпали вокруг

себя под себя, и на себя нафталином, отодвигали подушки в белоснежных наволочках от стен, натирались под мышками керосином и прыскали из пульверизатора во тьму на соседей.

В дальней камере слабо пели хором.

На потолке сияли два светлейших решетчатых косяка. Мимо двери, звеня ключами, плыл красный огонек папиросы. Сверху, как с минарета, заунывно пел кавказский голос:

— Таварыш надзыратэл, я балной! Таварыш надзыратэл, я балной!

Но в ответ была тишина. Огарок гас. В камере становилось черно и бело пополам. Люди, укрывшись с головой, как солдаты, кашляли и спали. Хрипели и спали. Чесались и спали. В спиртовом запахе дынных корок по стенам возились клопы.

Тогда к тюфяку Синайского осторожно подползал полковник, начальник карательного отряда. Петр Иванович узнавал его по белому свитру, делавшему его похожим на сморщенного лысого бэби. Он останавливался возле Синайского на четверенках и всматривался в его лицо. Убедившись, что он не спит, полковник садился на корточки и шамкающим шопотом, таким самым, каким шамкают водевильные старички, говорил:

— В пятнадцатом году под Краснополем, винтили, когда я командовал батальоном, в мой блиндаж попал восьмидюймовый фугас. У меня просто, без разговоров, потемнело в глазах, и я очнулся только через два часа в дивизионном лазарете. Оказалось — бедро. Но если бы не бедро, а представьте себе... вообще... то я бы ничего, значит, более бы не почувствовал, винтили... Как вы полагаете, Петр Иванович, э?

Сдержанно кряхтя, он шарил по оттопырившимся карманам своих штанов и вдруг, виновато улыбаясь, просил табачку и бумажки. Он экономно и аккуратно скручивал папиросу, сладко зализывал ее, как конверт, и зажигал ужасную серную спичку. Она вспыхивала шипящей голубой капелькой и, разгораясь все синей и синей, освещала беззубый рот полковника и его, слегка дрожащие, словно сделанные из синего аптекарского стекла, полупрозрачные руки. Не вынеся острого серного запаха, полковник чихал, как новорожденный. Наконец загоралось дерево, и он жадно затягивался. Тогда, продолжая стоять на коленях и держа в одной руке догорающую спичку, полковник доставал из кармана жестяный портсигар, любовно постукивал по нем пальцем и значительно подмигивал.

— Там есть у меня, — говорил он, — одна заветная папироска, но я ее берегу... месяц... Когда меня будут выводить... винтили... Как вы полагаете, Петр Иванович, э?

Но в ответ была тишина, и он отползал в свой угол.

— Таварыш надзыратэл, я балной! — с безнадежной тоской повторял сверху кавказский голос. — Я балной, я балной, я бал-ной!

Голос утихал. Огонек папиросы проплывал мимо двери снаружи. Синайский подходил к раскрытому окну, брался привычными руками

за свежие прутья решотки и клал подросшую бороду на каменный подоконник, где сушились хлебные корки и косо стояли стаканы, сделанные из бутылок.

Было так тихо, что с далекого вокзала слышались вспышки пара и слабые кондукторские свистки. Над городом стояла полная тьма. Электрическая станция не работала. В домах не было света. Только один громадный бессонный дом посредине пустого и черного города, — вероятно, — насквозь светился всеми своими частыми окнами. Там, в подвалах, трудно, туго и высоко гудела динамо, — единственный работающий в городе электромотор. И сколько Петр Иванович ни всматривался в черноту ночи, усиленную светом дугового фонаря, ничего не мог различить, кроме смутной белизны кладбища.

А полночь уже заводила свои звездные часы граненым ключиком частого сентябрьского сверчка. В окне стоял холод. И в эту ночь, с субботы на воскресенье, незадолго до рассвета, Петр Иванович опять (в который раз!) думал о своей удивительной, горькой и прекрасной, обыкновенной человеческой жизни.

Жизнь его, начавшаяся (в воспоминаньях так чудесно) громадной церковной папертью, выбеленной гробовым газом фонарей за черным страшным окном и голосом мамы, в котором тысячу раз знакомый блестел кремнистый путь и звезда говорила с звездою, эта жизнь с каждым своим часом наполнялась новым, все новым значением.

Сначала в ней был темнобородый высокий отец в парусиновой, ладно выглаженной блузе, подпоясанной узким ремешком, в пенснэ со шнурком и шариком, и мать с дорогим, как японская чашка, раскосым лицом.

Некогда, очень давно, через эту жизнь перетекла дачная каменистая река — быстрый Днестр — с колесным пароходиком, пылающим аккуратно в десять часов вечера посередине реки, за крокетной площадкой ракетным дымом.

«Кука прелесть пуруход»,— сказал маленький Петя, по-своему повторяя материнские слова.

А потом переплыл белый гроб матери — пышный торт с зубчатой бумагой, весь заваленный фарфоровым бормотаньем венков, генеральскими лентами, газетными буквами и курчавыми стружками разноцветных (розовых) гиацинтов.

Мамина зализанная мертвая голова продавила нарочную подушку. Она была коричневая, худая, обтянутая барабанной кожей. Она чуть улыбалась оскалом зубов. На ореховом лбу бинтом лежала бумажка. Губы, перепачканные черникой лекарств, были полуоткрыты; из улыбающегося уголка рта текла кремовая пенка гною: разложение. Отец, Иван Петрович, безучастно качался в качалке.

Петя влез к нему на колени и очень близко увидел его заплаканные, малиновые, удивительные без пенснэ, собачьи глаза. Отец был в длинном сюртуке. Он положил большую узловатую руку на Петину голову и поерошил шевелюру.

Похоронные ризы священников коробились горбами. Черная старушка раздавала свечи. Лаковые полы и закапанные воском комнатные растения пахли ладаном. Высокий лепной лоб отца был холоднее склепа.

В пролете лестницы гроб едва не уронили, косо поворачивая над головами друзей и знакомых. На улице его вдвинули в колесницу, как пластинку в кассету фотографического аппарата.

Отец в пальто с лиловой бархаткой на воротнике, но без шляпы держал Петю за руку, не зная что делать: помогать ли вдвигать гроб или креститься; и не с кем было посоветоваться.

Дуняша, сбежавшая вниз в чем была, натягивала на ноги мальчика, забытые дома, гамаши. Она плакала. Ветер шевелил вокруг железного гребешка ее простые волосы. Слепая лошадь кивнула кивером. Колесница покачнулась пышным верхом и скрипнула; за нею скрипнули колеса карет и певчие ладно запели.

— Надень шапку, Петруша, — сказал отец, грея и гладя на ходу руку сына. — Ты маленький, тебе можно.

Но Пете нравилось держать свою синюю, матросскую шапку за искусанную скрученную резинку, растянутую и завязанную многими узлами.

За городом, за Чумной горой, по железнодорожному мосту над колесницей свистнул паровик. Колесница въехала в открытые ворота кладбища. Широкая аллея вела к церкви. Три колокола: тонкий, потолще и совсем тоненький звонили не в тон и не торопясь, один после другого, и этот звон был так уныл, что ни могильный полевой ветер, ни свежесть марта, ни жесткий мирт вербного воскресенья, ничто не могло рассеять страшной скуки, охватившей мальчика.

Но когда гроб на канатах опустили в свеже вырезанную узкую могилу, где почва переходила сверху вниз диаграммой, от сухой травы чернозема до рыжей глянцевой глины, и когда отец сказал Пете бросить на гроб ком, и когда глина обильно, как из кувшина, посыпалась на крышку, он понял, что закапывают не гроб, а маму. С отвращением и ужасом он отвернулся от могилы и, прижавшись лицом к пальто отца, хлынул обильными теплыми слезами. Матросская шапка болталась на резинке, которую он сжимал в мокром кулачке. А резинку эту в последней раз пришивала мама за месяц до этого дня.

Эта его жизнь, где перебывало еще столько людей, вещей и событий к зрелым годам совершенно переполнилась. Но кладбище уже никогда не выходило из нее. Дважды в год, в сочельник в день маминого ангела и на страстной неделе в день ее смерти, отец служил на могиле панихиду. Полевой кладбищенский ветер шевелил длинные семинарские волосы над его высоким лепным лбом. В склепе, слева, горела вишневая лампадка. Справа, на пустом участке в рыжей траве валялась консервная жестянка и стоял любопытный мальчик без картуза. Священник в белой и черной ризе, как фокусник, кидал во все стороны на цепочке кадило. И кадило, сквозь серебряные зубы, тлело и дышало малиновым ладаном угольков. Прямой, как солдат, дьячок в летнем пальто, благолепно

олузакрыв глаза, заострив нос и опустив русые усы, быстро пел и итал и снова пел. Руки его были сцеплены на животе и большие пальцы ыстро крутились один вокруг другого.

Отец становился на колени, кланялся до самой могилы, и глаза его, лкие от слез, были красны и удивительны без пенснэ. Два серебряых рубля переходили в сердечном, потрясающем рукопожатии из отцовой застенчивой руки в размашистую руку священника, снимавшего рез голову епитрахиль.

Отец и сын возвращались в город на извозчике по той дороге, где ояла тюрьма с высокими стенами, флюгерами, крылатой трубой центральго отопления и маленькими окошками.

По шоссе конвоиры с голубыми револьверными шнурами и шашми наголо вели арестантов.

Тюрьма была видна с кладбища. Кладбище было видно из тюрьмы. ік в жизни сходились концы с концами, в этой удивительной, горькой прекрасной, обыкновенной человеческой жизни.

Чудесная, ничем не заменимая жизнь!

Каждое воскресенье и каждую среду, в солнце и в дождь по оссе мимо кладбищенской стены тащился к тюрьме по щиколотку в іли или грязи старик Синайский. За шесть месяцев он не пропустил ни зу. Сын ждал его с раннего утра, высоко держась за переплет решотки.

Он появлялся вдруг, слегка волоча ноги, из-за стены богадельни еди прочих людей, несущих передачу. Пожилой, в старомодной солонной шляпе, с вылинявшей лентой и парусиновой двубортной куртке іерламутровыми пуговицами, он останавливался на валу возле пыльной ации и задирал вверх реденькую седоватую бородку. В руках у него лталась веревочная кошевка. Вся его фигура выражала тревогу. На ком расстоянии Петр Иванович не мог разобрать лица отца, но он слишм хорошо знал его, чтобы не чувствовать его во всех подробностях.

Конечно, рот отца был полуоткрыт и нижняя челюсть немного отсала, показывая несколько гнилых корешков. Тупой язык лежал жду ними коротко и неподвижно, как у немого. Просительно улыбаясь, смотрел через пенснэ на окно сына.

Что он мог рассмотреть на таком расстоянии? Окон было слишком мнои слишком много платков и рук махало из них на волю. Но едва Петр Ивавич успевал вскочить на узенький косой подоконник, похожий на каменй аналой, и взмахнуть своей студенческой фуражкой, как отец суетливо иподымал шляпу, раскланивался, расшаркивался, кивал головой, помал и спускал кошевку и затем торопливо, но уже бодро шел дальше юремным воротам, не отрывая от сына глаз и спотыкаясь о камни.

Он видел, что его сын жив, и больше ему ничего не нужно было в зни. А сын выставлял лицо между прутьями и следил за отцом до самого о крайнего места дороги, которое можно было поймать углом скошенх глаз.

Успокоенный видом отца, Синайский нетерпеливо ожидал передачи. Наконец, ее приносили. Среди множества баулов, горшков, саквояжей и корзин, он сразу, как верного друга, узнавал свою веревочную кошевку. Она была такой тощей, что он без труда протаскивал ее прямо из рук передатчика сквозь решотку, не дожидаясь, пока надзиратель откроет дверь. Синайский быстро отрывал пришпиленную к ней записочку, написанную изумительным бисерным почерком отца и читал: «1 пара белья, хлеб, табак, 10 огурцов, молюсь за тебя, 5 помидор, был ли у следователя? 4 куска сахару. Папа».

Это была его наивная хитрость, так как ничего, кроме списка посылаемого, сообщать в записке не разрешалось.

Однажды на обороте бумажки страшно маленькими, но разборчивыми буковками отец отважился приписать: «Если тебя освободят, а меня не будет дома — ключ лежит под ковриком».

Сын вытряхивал содержимое кошевки на тюфяк и разворачивал сверток с бельем. Оно было сырое и серое, очевидно, стиранное плохим мылом в холодной воде. Кое-где в швах невыглаженной рубахи оставалась шелуха вшей. Вероятно, накануне отец сам, сопя, стирал его в белой эмалированной миске с оббитым дном, поминутно роняя пенснэ и тяжело полуоткрыв рот.

На рассвете мимо тюрьмы прошел легкий недолгий дождь. Утро стояло прохладным, туманным. Тюремный день начался обычно: кипятком и хлебом. Уже кое-кто появился на шоссе с передачей, и дама, стоя перед тюрьмой посреди мокрого огорода, кричала кому-то вверх и махала зонтиком. Старосты назначали передатчиков, когда из города по шоссе промчался мотоцикл, подпрыгивая по колеям и стреляя, как пулемет.

— Остановился возле тюрьмы! — закричал голос сверху.

Тюрьма готовилась к передаче — голоса никто не услышал. Звенели цепи открываемых камер. Передатчики сбегали вниз и лестницы гудели под их босыми ногами.

Но полковник сосредоточенно пощупал свой карман и пересел с тюфяка к столу.

Вдруг Синайского вызвали вниз с вещами Окруженный отсутствующими глазами он взял под мышку башмаки, засунутые под тюфяк, надел фуражку, вышел босиком из камеры и стал плавно, как в лифте, опускаться по лестничке вниз. Опускаясь, Синайский еще сверху увидел коменданта. Он сидел верхом на перилах нижней лестнички, одной рукой натаскивая на колено длинное голенище скрипучего хромового сапога, а в другой держа бумагу с голубой треугольной печатью. На нем были алые галифе с серебряным гусарским басоном. Черная легкая рубашка, перетянутая в талии кавказским ремешком с простым набором, топорщилась на спине пузырем. Из-под лопнувшего козырька малиновой фуражки, сдвинутой на затылок, висела темнорусая чолка. Смуглое ореховое лицо с подкожной зеленью было прекрасно, и открытые глаза большой синевы с легким нетерпением смотрели на толстую

ильную морщину, сделавшуюся на носке сапога от постоянного упора стремя. Он проплы уманно, как ангел. Внизу Синайский поспешно улся. Вместе с прочими его вывели в каменный дворик перед коваными громадными нюренбергскими воротами.

Почему-то на крыльце был венский стул и бетон вокруг него был плеван виноградной кожицей. Из решетчатого окна выглянуло испунное женское лицо. Вероятно, машинистка. Но это было не важно.

Самое важное, самое главное было впереди за кованными воротами. лстая калитка отворилась. В будке стоял бородатый дворник с клюми и начальник тюрьмы. Синайский почувствовал близость огромной крой земли. Он увидел вблизи деревья, камни и трамвайную станцию.

Люди стояли кучками на высоком придорожном валу, заросшем крым бурьяном и лозой. Стараясь разглядеть кого ведут, они поднились на носки и бежали в отдалении, вытянув шеи. Женщины путались юбках и спотыкались. Но Синайский не заметил среди них отца. Он ычно приходил позже.

Уже тюрьма стояла позади опрятным кирпичным домом. За удаляцейся стеной часто и звонко били в рельсу. Окна камер казались зсем маленькими квадратиками, полными мелких, почти невидимых, к и лиц.

У Синайского вспотели ноги. Они скользили и хлюпали в слишком льших солдатских башмаках. Жажда жгла горло. Икры, отвыкшие ходьбы, ныли, как у тифозного: вяло и судорожно. Приторная тошнота эдила челюсти.

Вокруг была чудесная плодородная земля, полная недавнего дождя. пы мокрой зелени, уже тронутые осенней желтизной, переполняли адбище и свешивались из-за его очень длинного и серого забора.

Малиновая фуражка коменданта высоко и медленно плыла в тунном, синеватом, как бы мыльном воздухе.

Они почти поровнялись с кладбищенскими воротами. Ворота были крыты. Петр Иванович увидел, как во сне, широкую аллею, косо ведущую к церкви. По аллее, спотыкаясь, бежал старик Синайский в чери пальто. Одной рукой он придерживал пенснэ, в другой болталась шевка. Реденькая борода была задрана вперед. Он во-время добежал ворот и остановился. Еще не видя сына, он поднялся на цыпочки и ревогой вглядывался вперед. Лицо его было бумажным.

«Папа», хотел крикнуть Синайский, «папа», но вдруг почувствовал сильный ужасный стыд перед отцом и равнодушие и отвращение к іу и жалость к себе и страх, что он его заметит, и страх, что не заметит ойдет к тюрьме, и ужас, что не увидит его в окне тюрьмы. Голос изменил . Клапан закрыл горло. Он продолжал шагать, глядя прямо перед ой, уже ничего не видя, кроме белизны своих окоченевших щек, и нио не чувствуя, кроме постыдно распластанной студенческой фуражки голове. Вдруг Петр Иванович почувствовал, что отец увидел его эажку. Он посмотрел вбок. Старик Синайский торопливой рысью

бежал по обочине шоссе, вдоль конвоя, просительно улыбаясь, глядя сыну в глаза и раскланиваясь.

— Петруша... Петруша... — приговаривал он, почти крича, и улыбался, не понимая, что происходит, и задыхался, понимая. Петруша,— лепетал он, — тут вот табачок, табачок вот...

Спотыкаясь набегу, он совал конвойному кошевку и с отчаянной лаской шепеляво приговаривал:

— Табачок нельзя ли сыну?.. Ведь сыну... Ведь табачок...

— Не подступай, — закричал конвойный, — не подступай, старик!

Отец растерянно остановился. На его мелких плохих глазах стояли слезы недоумения и не с кем было посоветоваться.

«Не надо», с отвращением прошептал Петр Иванович про себя, стараясь не смотреть на отца. Тогда отец с отчаянием бросился за лошадью конвойного, забежал спереди и припал к стремени. Лошадь шарахнулась. Отец отлетел в сторону. Соломенная шляпа покатилась в лужу. Кошевка упала. Старик поскользнулся в луже и шлепнулся на четвереньки, а потом набок, широко расставив руки и роняя пенснэ. Люди набежали на него.

Над головой по железнодорожному мосту свистнул паровик, обдавая варом и грохотом.

И ничего не стало вокруг Петра Ивановича: ни отца, ни соседей, ни конвоя, ни ледяного небывалого ветра, хлынувшего по рукам с северо-востока, ни обморочной черноты горизонта, севшего на обращенные вверх приклады, ни Чумки, проплывшей, наоборот, в отрубях водопоя, ни тарахтения неожиданной мостовой у сенных весов — только белизна окоченевших щек, только гипсовый слепок лица, только невесомая легкость тела, с невероятным трудом преодолевающая громадный вес башмаков. Потерявши время и пространство, он шел впереди себя, вне себя, подле себя, залетая вперед и возвращаясь — сначала мимо опрокинутых ларьков рынка, среди катящихся помидоров и гирь, а потом по улице, пустой как на рассвете.

Улица надвигалась улиткой, надвигалась всем своим каменным гулом, всей новизной своих красных вывесок и запертых ворот.

Но одни ворота открылись. Часовые отошли. Красный флаг трепало над стеклянной дверью комендатуры.

— Заводи во двор!

Вместе с другими, но впереди себя, Синайский вошел во двор. Входя, он не обернулся. Ему не надо было оборачиваться. Он знал, что отец не мог не стоять на другой стороне улицы против ворот. Он знал, что колени и руки отца были испачканы и на щеках присохли кляксы грязи. Он знал, что отец не нашел пенснэ и шляпы и с непокрытой головой, как нищий, бежал, спотыкаясь и кланяясь до самых этих ворот. Он чувствовал за спиной его заплаканные малиновые, удивительные без пенснэ, собачьи глаза. Он чувствовал его дрожь и отчаяние, но это уже было неважно и не нужно.

Ветер раздувал на клумбе пионы и бушевал в лимонной листве кацийи.

Его ввели в комнату с безумно исписанными обоями. Стекла сорогались от грохота выезжающего со двора грузовика. По стеклам этали вялые ветви. Жажда выжгла горло, как глину, и в сумрачной ухне Синайский пил воду губами из крана, обливая грудь и захлебыясь. В медном кране, отражаясь, горела лампочка слабого накала, утолимая как жажда. Мимо окон, весь в румянце от невидимой зари, ошел часовой.

Комиссар вошел в комнату и велел итти. Синайский прошел коридором и стал подыматься по мраморной лестнице с клеткой лифта, оцепеневшей между двумя этажами, не смея оборачиваться и чувствуя спиной у себя повелевающий взгляд. Они проходили сквозь корирры пустых квартир, поворачивали вправо и влево, опускались громыхающим железным лестничкам черных ходов, снова подымаясь, и бой шагов башмачным гулом стоял в раковинах кухонь и ссуарах.

Кружа в лабиринте коридоров и лестниц, они подымались все выше выше. Встречные окна мелькали, как барограф, показывая высоту. треное небо страстно вырастало над слуховыми люками и голубятнями. ыши города опускались вниз и, опускаясь, рябили в глазах черепичной лошью, пунцовым стыдом зари.

В пятом этаже комиссар пропустил Синайского в кабинет следователя остановился за дверью. Посредине огромной комнаты стоял письменный ол. На столе горела зеленая лампа. Следователь сидел в кресле. Полона его сонного лица была освещена лампой, половина зарей. Он посмотл на Петра Ивановича привычно и придвинул початую четвертку табаку.

Петр Иванович зашатался от шума, хлынувшего в голову, и от ови, переполнившей сердце. В глазах посинело, затем все ослепительно жглось и страшно захотелось курить. Он сел на стул и дрожащими льцами стал сворачивать папиросу, просыпая табак и рвя бумагу. едователь щелкнул зажигалкой и подал ему багровое пламя. Синайский дно затянулся.

— Если есть, — сказал он, задыхаясь, — если есть...

Но следователь вяло вышел из комнаты. Его глаза были сонными. долго не возвращался. Недосказанные слова спирали Петру Ивановичу оло. Он выкурил папиросу и скрутил другую. В полной тишине где-то изу, в подвалах трудно, туго и высоко, как совесть, гудела динамо, инственный работающий в городе электромотор, и весь дом прислувался, содрогаясь, к его непрерывной работе.

Синайский встал и во весь рост увидел окно. Темный ветер катил стеклами по крышам крымские яблоки облаков. Розовая чернота смерти двигалась в глаза.

«Так вот оно как», — подумал Петр Иванович, стоя по середине комы, среди оцепеневших вдруг окон, запертый коварно остановившимися

облаками. «Так вот оно как», — думал он, не в силах сдвинуться с места и уже ничего не видя, кроме гипсовой маски своего лица, и ничего не слыша, кроме шагов и движения за дверью. Шаги и шум приближались, вырастали до неизмеримых пределов, и снова удалялись и снова приближались, а он продолжал стоять в третьей позиции, не смея сдвинуть носков и зная, что пока он их не сдвинул, ручка двери не повернется. Но на голом, ярко освещенном полу валялись клочки бумаги и окурки. Он знал, что пока они валяются, ручка может повернуться и надо их поскорее убрать. Но убрать их, не сдвинув носков, было невозможно. И оставить их на полу было невозможно. И Петр Иванович, выжидая, когда шум удалялся, быстро хватал бумажку, кидал в плевательницу и с бьющимся сердцем, как ни в чем не бывало, ставил ноги в безопасную позицию. Но шум накатывал снова. Неубранные бумажки белели на голом полу, как улики. Ручка готова была повернуться. Но грохот удалялся, и Петр Иванович, как вор, торопясь и задыхаясь убирал с полу бумажку. Вот осталась всего одна. Маленький треугольный клочочек. Он лежал в самом дальнем углу, на самом видном месте. Надо было успеть, надо было перебежать комнату. От этого зависело все. Петр Иванович бросился за бумажкой. Но грохот настиг его с поличным. Ручка дрогнула. Он зажал бумажку в кулаке и, обливаясь потом, как ни в чем не бывало, замер на бегу в безопасной позиции, но не удержался и носки разъехались. Ручка поворачивалась. Отчаянная жажда жизни охватила его в это мгновение между поворотом ручки и движением двери. «Ах, если бы можно было сжаться до точки, исчезнуть, испариться! Закрыть глаза и растаять! Сгинуть! Превратиться в бумажку! Превратиться в отца,— подумал Петр Иванович в это мгновение,— в самом деле, отчего бы не превратиться в отца! Та же фамилия! Та же кровь. Та же самая жизнь. Только моя — начало, а его — конец. А, небось, не согласился бы поменяться участью с сыном! Проклятая стариковская жадность — цепляться за жизнь. Оплакивать сына и жить и дышать, и ходить по урокам. Слышишь, отец! Так где же твоя хваленая отцовская любовь! Где же твое хваленое, отцовское горе!?»

Открылась дверь.

Следователь вошел с жестяным чайником и налил себе кружку чаю.

— Если есть... — хрипло сказал Петр Иванович, но следователь внимательно смотрел на него снизу вверх рогатыми глазами и, не торопясь, выдвинул ящик стола. Он опустил в него руку с голубым якорем и взял какой-то предмет. С вялой тщательностью он долго переводил взгляд с этого предмета на Синайского, задумчиво сличая и удивляясь, опять сличая, и вдруг лицо его стало железным, скулы натужились желваками, и он стукнул по столу кулаком так, что подпрыгнул чайник.

— В камэу! — крикнул он косноязычно, обнаружив прилипшую к языку стеклянную конфетку, и потянулся к кружке.

«Если есть...» — хотел вымолвить Петр Иванович, но горло стало глиняным. Он, шатаясь, вышел из комнаты.

И все.

Так просто и так понятно. «Да и быть этого иначе не могло. Разве могла произойти такая ужасная непоправимая ошибка? — подумал Синайский.— Нет, не бывает в таких делах ошибок».

Успокоившийся, освобожденный и ослабевший, он вернулся в камеру и лег в свой угол на тужурку. И, засыпая, сквозь счастливый приступ неодолимого сна, он слышал некоторое время за ставнями холостую работу мотора и слабые, еле уловимые, выстрелы, через десять секунд каждый. Он насчитал их, что-то, восемь и заснул.

Поздним вечером следующего дня Синайского освободили. За спиной горел, насквозь высверленный электричеством, бессонный, как совесть, дом.

Только теперь он увидел, какова была погода. Неожиданный резкий ветер жег уши. Обледенелая улица, начисто выметенная и отполированная норд-остом, была черна и безлюдна. Углы переулков свистали за спиной в два пальца. Железное небо, простреленное звездами, ехало по крышам, как броневик. Никогда еще Петр Иванович не видел таким свой родной город. Он был нов и страшен. Как жили и что делали люди в этих замерзших слепых домах без воды и хлеба? В этих домах с плотно закрытыми ставнями квартир и опущенными шторами магазинов?

Скользя по льду, преодолевая ветер, Петр Иванович миновал улицу, где жил в детстве. Тут некогда была на углу аптека. В ее непомерных окнах некогда стояли стеклянные шары, полные малинового и синего пламени, полные яда, полные ламп и рефлекторов, ломивших детские глаза. Некогда в этой аптеке покупали для мамы лекарство, и отсюда сестра из общины приносила кислородные подушки, которые храпели, как умирающие у маминых почерневших губ. И сейчас эта аптека стояла на старом месте. Но темно было в ее окнах и только где-то в глубине за кассой чадил невидимый ночник, крутя вокруг головы Сократа большую ненужную тень. Да старик еврей, похожий на Шейлока, продавец рассыпных папирос, мерз на ступеньках со своим лотком, слабо озаренным решетчатым средневековым фонариком.

Таков был город. Но это была свобода, это была жизнь.

Чем ближе он подходил к своему родному дому, тем учащеннее и труднее колотилось сердце, тем нетерпеливее горели щеки. Руки сами собой разлетались по сторонам, как крылья, и Петр Иванович не взбежал, а взлетел, задыхаясь, по родной темной лестнице на четвертый этаж.

Перед дверью он нащупал коврик и пошарил под ним в пыли. Ключика не было. Он толкнул дверь. Она открылась. Он вошел в темную переднюю. Вешалка направо, зеркало налево. Он протянул руку налево. Пальцы уперлись в стекло, и легкий водянистый свет закачался под пальцами. Правильно — зеркало. Но где отец, в которой комнате? Он затаил дыхание. Справа под дверью светилось. Тут. Петр Иванович осторожно и нежно открыл дверь. На подоконнике чадила плошка. Ветер дул из оконных щелей в слабое пламя. Тени вещей толпились до потолка в тяжелой стариковской вони и тесноте неузнаваемой комнаты. Отец в одном белье с открытыми глазами лежал ничком на постели, поверх одеяла,

трудно подвернув под себя руки и вытянув красную шею. Он весь дрожал мелкой, ровной, непрерывной дрожью, судорожно сопя и со свистом выдыхая воздух из полуоткрытого разинутого, забитого набухшим языком рта.

— Папа, — тихо позвал сын.

Отец вскочил, как от удара, и, дико озираясь, заметался на постели.

— Что такое? Что? — в ужасе крикнул он быстрым шопотом и взмахнул широкими рукавами рубахи, — что, что такое?

Он опустил босые ноги на пол и увидел сына.

— Что? Бог с тобой... Что такое? — пролепетал он, не понимая, и вдруг понял. Счастье, страх за это невероятное счастье, благодарность и слезы хлынули по его родному лицу.

Весь дрожа и поддерживая дрожащей рукой подштанники, он пошел к сыну, шлепая по полу и волоча тесемки.

— Господь с тобою... Господь с тобою... — бормотал он, поспешно крестясь и крестя сына и снова крестясь в забытьи и счастьи. Он схватил его обеими руками за голову, поднял ее и поцеловал мокрыми стариковскими губами в губы. Потом прижал свою голову к его груди и, обхватив сыновние плечи, замер, бормоча и всхлипывая:

— Петруша, ну, вот, сынок... христос с тобой... Ну, вот, видишь... Христос с тобой... Петруша, ведь...

А сын держал в объятиях вялое, почти невесомое старческое тело отца и видел сверху дорогую всклокоченную голову, — дорогое, седое, поредевшее; разоренное гнездо.

Как могло это случиться, что он, большой и сильный отец, который некогда нянчил сына и водил его за руку гулять, который крестил его на ночь и на цыпочках выходил из комнаты, который купал его и ласково ерошил мокрую шевелюру, — теперь, маленький и тщедушный, едва доставая ему до плеча, плачет на груди у сына, как бессильный ребенок, как сын на груди у отца? Так думал Петр Иванович, гладя отцовскую узкую спину, целуя отца в поредевшую макушку, полную перхоти, и невыносимая жалость сжимала его сердце, полное раскаяния, благодарности и любви.

Вдруг отец очнулся. Он всплеснул руками и затоптался, засуетился возле сына.

— Что же это я, — сказал он, — ведь чайку бы надо... Сбегать бы вниз... У нас, видишь ли, куб во дворе... Сейчас, сейчас... Да что это я, право?.. Ведь еще не остыл... Хлебца бы...

Он забегал по комнате, шаря по стульям, засеменил, захлопотал. Он быстро надел штаны и стал близоруко соваться по углам, приподнимая газеты и натыкаясь на вещи.

— Где это он, чайник? — бормотал он. — Сейчас сбегаю вниз за кипяточком. Без пенснэ, знаешь ли, как без рук. Буквально ничего не вижу. Сейчас, сейчас... Ты погоди! Да ты приляг... Ай-яй-яй!.. Сахарку ни кусочка, скандал! Какой скандал! Погоди, может быть, у соседей?.. У нас,

дь, Петруша, соседи. По ордерам, знаешь ли. Такие милые все люди,)едупредительные. Все советские служащие, видишь ли... И хлеба, может ıть, у них дсбуду...

Торопясь, чтобы поскорее вернуться к сыну, чтобы не потерять его :к-нибудь, он побежал к соседям. Очевидно, соседи знали все. В содней комнате засуетились. «Самовар»,— сказал кто-то басом. Потом заıопали двери, и через две минуты отец уже вносил в комнату тяжелый йник, сбжигая пальцы и приседая на ходу.

Они напились чаю с сахаром и хлебом.

В комнате стояла всего одна кровать. Другая была на чердаке. Отец ı за что не хотел спать на кровати и постлал себе на полу.

Он уложил сына в постель, подоткнул одеяло, укутал, как некогда, ги, поцеловал в лоб, неумело скрутил папиросу, подал огня и переестился. А сам, сгорбившись, сел в изголовьи и, нежно перебирая :сткие, шесть месяцев не стриженные волосы сына, шептал:

— Спи, сынок. Христос с тобой. Спи спокойно. У тебя жарок. Поспи.

И долго не мог отец отвести от сына своих покрасневших, плохих без нснэ, глаз.

А у сына, точно, начинался легкий жарок. Он наполнял глазные впаны, волок по ресницам сусально смуглую паутину ночника, сладко мил локти. Яркий червячок фитилька, потрескивая над блюдцем, аженно плавал в домашней тишине. И, засыпая под отцовской ладонью, :тр Иванович вспомнил, как в детстве в этой же квартире, но в другой мнате, он болел скарлатиной и выздоравливал.

Вечером у его постели на стуле горел стакан крепкой малины. Лампда наполняла угол сусальным жаром образов. Громадная тень пальмой ветки легко и сладко лежала на полутемном потолке. Позади (он не дел, но знал) за письменным столом сидел, исправляя тетрадки, отец. м была низкая сумрачная зелень абажура. Этот вечер был замечательм вечером в Петиной жизни. Ему принесли письмо. Большой белый, :кий конверт, заклеенный синей облаткой. И были в этом письме насаны необыкновенные слова. Из письма выпала гвоздика. Все вокруг льчика пропахло ее сильным перечным запахом. Он положил ее, вяю и почти черную, под подушку, но письма спрятать не мог. Он долн был каждую минуту смотреть на него и трогать. Во всей квартире, эме отца и сына, не было ни души. Внизу под ними, в гулких ірах этого нового, одинокого в снегах, бетонного, кооперативного ıа наигрывали на рояли. Петя попросил отца сыграть «Месяцы» Чайзского.

— Погоди, — сказал отец, — вот исправлю тетрадку.

В пустой кухне из крана в раковину капала вода, да так, будто кто)хаживался по кухне редкими шажками. Отец отодвинул стул. Он полол свою большую холодную руку на Петин теплый лоб и рассеянно и кно перебрал пальцами взмокшие его волосы.

— Ну, сынок, так что же бы тебе сыграть?

Он снял пенснэ и потянулся весь в своем стареньком, сереньком, милом люстриновом пиджачке, где по теплым карманам — Петя знал — уютно слежалось множество бумажек, карандашиков, графитиков, крошек и носовых платков.

Петя закрыл глаза и слышал, как отец прошел в столовую. Там завизжало вывинчиваемое сиденье табуретки. Он открыл крышку и медленно заиграл. С добросовестной внимательностью близорукого человека, примеряясь к нотам и клавишам, он медленно и аккуратно брал знакомые ноты. Вероятно, он играл плохо. Но тайная удивительная прелесть была в его игре. Он играл по складам «Белые ночи». Петя видел эту смутную зелень Фонтанки, никогда не виданной им, он ощущал, как предчувствие любви, свежесть этого, откуда-то из льдов вылетающего мая. Вероятно, играя, отец думал о покойной маме. Потом он измерил Пете температуру, и мальчик немного заснул.

Когда он проснулся, лампа уже была потушена, только тень от пальмовой ветки широко и сладко лежала над ним на освещенном лампадой потолке.

Отец в нижнем белье стоял на коленях на коврике перед грановитым углом и молился. С добросовестной внимательностью очень близорукого человека, он прикладывал пальцы ко лбу, плечам и груди. Он аккуратно укладывал темную, волохатую голову на коврик. Петя был уверен, что он молится за покойную маму и за него. Боясь его смутить, он закрыл глаза и притворился спящим, но долго еще не мог уснуть.

Темный запах гвоздики стоял вокруг него и в нем непреодолимым обещанием любви и счастья.

И, засыпая, Петя думал, противясь этому вялому и сильному запаху: «Нет, никого на свете я все-таки не люблю так сильно, как папу. Я буду его любить всегда. Никогда я не сделаю ему никакой неприятности, никогда не подумаю о нем дурно. Вот я выздоровлю, и мы вместе пойдем гулять. А в старости я буду ему верной опорой».

Но, засыпая тогда в детстве, Петр Иванович лгал и ему и себе. И, засыпая теперь, он вспомнил, что в марте, едва встав с постели, он, тайком от отца, надел в передней пальто, показавшееся ему слишком тяжелым. Толстая фуражка была тоже тяжела и велика. Она глубоко села на коротко остриженную голову, надвинувшись на похудевшие уши. Глаза отразились в обморочном зеркале наклонной чернотой. Петя на цыпочках вышел и захлопнул за собой торжествующую дверь. Гром американского замка зарядил мраморный пролет четырехэтажным эхо. Ослабевшие мускулы ног с трудом держали слишком тяжелое и вялое тело, и, опускаясь по лестнице, Пете трудно было в легком головокружении сохранить равновесие.

Барышня, гимназистка, ожидала его на даче над морем. Она стояла, наклонив против ветра, форменную фетровую шляпу с салатным бантом. Барышне было пятнадцать лет, и она еще носила шляпу на резинке, черневшей по нежной щеке возле уха. Деревья дико и точно стояли вокруг на

облачном перламутровом небе, проявлявшем местами непростительную голубизну.

Они долго смотрели прямо перед собой на море. Море было большое, пустое, туманное.

В голых прутьях среди крупных почек и прошлогодних листьев ссорились воробьи. Свежо и горьковато пахло сиреневой корочкой. На скамье были вырезаны, почерневшие от дождей, буквы.

Гимназистка сняла шляпу и повесила ее на столбик. Она вынула из муфты зеркальце и, ловко набрав полон рот шпилек, отколола, обкрученную вокруг головы, косу; волосы медленно раскрутились; их было очень много. Они были каштанового цвета с рыжими пушистыми кончиками. Барышня тряхнула освобожденной головой и неожиданно похорошела. Петя взял ее похолодевшую нежную руку.

А отец, обманутый сыном, в это время прошелся, вероятно, скучая, по пустой квартире, потянулся весь в своем сереньком пиджачке и, вздохнув, сел к столу исправлять тетрадки...

Так, засыпая в домашней тишине, при нищем пламени плошки, дыша безопасным воздухом родного дома, Петр Иванович вспомнил свое счастливое отрочество, свою милую юность. И, засыпая, он видел теперь, наяву, отца. Отец в одном белье стоял на коленях возле его кровати и молился.

И, засыпая, Петр Иванович думал так: «Некогда в детстве, в этой же квартире, но в другой комнате, выздоравливая и засыпая, я думал: «Нет, никого на свете я не люблю так сильно, как папу. Я буду любить его всегда, никогда я не сделаю ему зла, никогда я не подумаю о нем дурно, а в старости я буду ему верной опорой»,—так думал я, засыпая в детстве и, засыпая, забывал это, и любил других сильнее его, и обманывал его, и делал ему зло, и думал о нем дурно. Я обещался в старости быть ему верной опорой, но, засыпая, забывал это, и мучил его страхом за мою жизнь, мучил письмами с фронта, мучил ранами и лазаретами. И, мучая, я прозевал его старость, не утешил его, не помог, не успокоил, не приласкал. И вот он, седой и покорный старик, мой отец, молится за меня, благодарит за меня на коленях, и машет широким рукавом среди нищенской тьмы и складывает поредевшую свою волохатую голову на пол. «Нет, не должно этого быть, не будет этого! Теперь все пойдет по-другому, заживем мы вместе душа в душу, —думал Петр Иванович теперь, как и в детстве, засыпая в слезах, — и я буду любить его больше всех, и жалеть его, и кормить, и буду ему верной опорой».

Но случилось все по-иному, случилось так, как должно было случиться.

На другой день, переодетый во все чистое и залатанное отцом, Петр Иванович в последний раз увидел в смуглом зеркале коммунальной парикмахерской свое обросшее шерстью, шесть месяцев не бритое, лицо декабриста. Черные клочья курчавых волос валились из-под визжащей машинки в грязную простыню, и от них стежками секундной стрелки рас-

ползались насекомые. Проворно вывихнутая бритва снимала со щек кошачий мех бакенбардов и рвала рыжую бороду, оголяя из-под белой пены худой подбородок. Молодое, чистое, черноглазое лицо с голыми ушами, чуждо и радостно посмотрело на Петра Ивановича из зеркала. Он отряхнулся и вышел на улицу. Все было чуждо и радостно в его родном неузнаваемом городе. Белоснежные облака, голубые с одного боку, летели, одно за другим, над городом в синем студеном небе с севера на юг. Свежие тени их пятнали обожженные утренником цветники на дачах, где стояли красноармейские батареи; пятнали вокзальную площадь и братскую могилу с плугом вместо памятника; пятнали платки и палатки рынка; пятнали красные вывески учреждений, пятнали плакаты, пятнали лотки папиросников; пятнали портфели и порталы особняков, из-за которых ветер вдруг выносил в глаза фиолетовое море, заплатанное облаками и солнцем.

Город двигался, работал и жил непонятной жизнью, чуждой и радостной. Петр Иванович еще был одиночкой вне этого общего движения и работы, но уже чувствовал, что вне этого оставаться невозможно. Что-то нужно сделать, как-то немедленно поступить, зацепиться за что-то и быть втянутым в эту чуждую и радостную жизнь, пятнавшую город вокруг вывески «Биржа труда» над порталом приморского особняка.

Некогда, решив ехать добровольцем на фронт, Петр Синайский с бьющимся сердцем, полный счастья и мальчишеской гордости взбегал по лестнице в канцелярию воинского начальника. «Вот я войду сейчас в кабинет воинского начальника, — думал он, размахивая руками и прыгая через ступеньку, — вот я войду сейчас и скажу ему: — Полковник, в то время когда тысячи людей умирают на войне за родину — я не могу оставаться в тылу. Прошу немедленно отправить меня добровольцем на фронт! — и он, старый боевой полковник с седыми усами, встанет из-за стола и растроганно воскликнет, протягивая мне руку: — Вы храбрый юноша. Нам нужны такие солдаты. Спасибо. — И, строго обратившись к адъютанту и посетителям, хлопочущим, чтобы остаться в тылу, прибавит: — Вот достойный молодой человек. Ставлю вам его в пример, господа. Сегодня же вечером с первым эшелоном он будет отправлен на передовые позиции. А вам, молодой человек, желаю вернуться георгиевским кавалером, и да хранит вас бог!» Но громадная очередь стояла в темном коридоре у кабинета полковника. Ничего нельзя было добиться. Писаря нагло шныряли мимо хлопочущих вдов с аттестатами. Оглушительно щелкали машинки. Десятки доблестных молодых людей так же, как и Петр, желающих добровольцами отправиться на фронт, неумело ломились за какую-то решотку, прямо в штемпеля и печати, в табачные пальцы гарнизонных крыс, потея и потрясая зауряд-почерками прошений и справок о благонадежности. Тут же в путанице Петр потерял свою одиночную доблесть и впервые понял, что в жизни не бывает ни одиночек-героев, не одиночек-желаний, ни даже одиночек-фамилий: какой-то высокий, в семинарской шинели, с прошением в руках оказался по фамилии тоже Синайский, но Феодор, подобно прочим желающий ехать на фронт. Расте-

рявшийся Петр записался в очередь, получил номерок, написал на подоконнике прошение и долго потом потел и томился у липовой липкой решотки, дожидая, пока его вызовут, исказивши фамилию. С той поры он уже никогда не стоял особняком. Что бы он ни делал, ни желал и ни чувствовал, чувствовали, желали и делали все остальные: в тылу и на батарее, на наблюдательном пункте и под обстрелом, получая посылки и пиша письма химическим карандашом на зарядном ящике.

Некогда в канцелярии воинского начальника, потерявшись среди людей, во всем подобных ему, Петр Иванович впервые почувствовал себя частью чуждой, но радостной жизни, за которой не пропадешь, которая зацепит зубцом, как машина, втянет, все устроит само собой и вынесет вместе с другими, куда надо.

Так и теперь, очутившись на «Бирже труда» в толпе подобных себе людей перед сосновыми перилами канцелярии, он перестал быть одиночкой. Сложная, непонятная с первого взгляда, машина «Биржи», работающая, как видно, на полном ходу, зацепила его среди прочих, втянула, взяла в оборот, потащила к труду из комнаты в комнату, велела заполнить на подоконнике анкету, велела запомнить номер, пугнула «начканцем» и «профсоюзом», показала мельком в конце коридора «Комслуж», где за столом, как за прилавком, некто в пиджаке развешивал хлеб и керосин и, вдруг, сама собой, даже в лицо не взглянув, вынесла, вместе с другими служить по специальности: в статбюро губземотдела.

Между тем валила зима. Небывало жестокая железная зима девятьсот двадцать первого года.

Подобно кораблю, оснащенному стужей, город плыл без воды и угля в ледяном ветре, в тумане, окруженный с трех сторон одичавшим морем. По всему побережью бушевали штормы. Волны швабрами били в слепой маяк, ошарашивали гулом, шаровали песком и пемзой валуны волнолома, гейзерами взрывались у голых пристаней, обдавая градом обледенелые элеваторы и пакгаузы. Подобно кораблю, город преодолевал дни, как волны. Ночи были непреодолимы. А по утрам в тот час, когда город был еще гол и звонок, а небо серо и беспризорно, люди становились длинными хвостами у распределителей и чайных, дрожа от холода и мечтая о жестяной кружке ячменного кипятку с безвкусной стеклянной конфеткой, выданной сонной девушкой на куске хлеба, мокрого как замазка. Нищая жизнь была полна забот о пайке и печке.

Петр Иванович уже давно не жил с отцом. Ему, молодому, было скучно и холодно в маленькой отцовской комнатке на четвертом этаже под крышей, где по чердакам гуляли сквозняки, где вода замерзала в тарелке на подоконнике и затхло воняло стариком. Ему дали по ордеру комнату в центре, в буржуйской квартире, в первом этаже, где была вода и ковры. Он поставил у себя железную печку и по вечерам топил ее хозяйской мебелью. Хорошее дерево горело сухо и легко. Железная труба дрожала и гудела сильной тягой. На дамском письменном столе блистал светильник. Это не было жалкое блюдце с постным маслом, в котором кис ватный фитиль

и плавал маленький языческий огонек. Нет, это был яркий усовершенствованный бензинный светильник — стеклянная баночка из-под горчицы с высокой металлической трубкой, вставленной в пробку. Четыре ярких коготка вырывались с четырех сторон из запаянного конца трубки, и вся комната так сияла, что можно было читать. И так сиял пайковый до синя белый колотый сахар, похожий на куски разбитого варваром мрамора, что чайник подпрыгивал на печке от радости и вскипал коричневой пеной ячменного кофе. И так сиял и лучился камышевый пушек на детских руках барышни, приходившей к Петру Ивановичу иногда со службы погреться и похозяйничать, что комнатный воздух сам собой золотел теплотой первобытного рая, и девичьи пуховые пахучие варежки нежились на бандерольной бумаге газеты, возле сахара, как кролики.

Однажды вечером к Петру Ивановичу пришел отец. На нем была солдатская сломанная фуражка, вытертое зеленое пальто и худые сапоги с чужой ноги. Потирая отмороженные уши морковными опухшими руками и доброжелательно разглядывая комнату, он неловко затоптался возле сына, приговаривая:

— Вот, видишь ли, как у тебя хорошо, Петруша. Печечка горит. Вот и устроился, слава богу. А я, знаешь ли, прямо из техникума — иду мимо, — дай, думаю, зайду посмотрю, как сынок живет.

Он благожелательно посмотрел на барышню.

— Так-то, Петруша, — сказал он и вдруг сконфуженно заторопился. — Ну, вот, посмотрел и пойду. Я ведь на минуточку. Пойду себе и завалюсь на боковую.

— Да ты посиди, обогрейся, — сказал Петр Иванович, подавая ему стул, — куда тебе, раздевайся. У меня тут тепло. Кофе попьем. Давай свое пальтишко.

— Что ты, что ты! — испугался отец, — я в пальто. Привычка, знаешь ли. Всюду холодище. В техникуме все в пальто сидят. А дома вода стынет. Печки ведь, знаешь, нет. В пальто и сплю. Печку бы раздобыть, да где уж... Печка теперь не по средствам, да и дрова, знаешь ли, кусаются. Уж я в пальто.

Он испуганно хватался за пуговицы, не расстегнулись ли, и, стыдясь своей грязной рубахи и того, что под пальто уже не было пиджака, щупал крючок на горле.

— А вот кофейком, пожалуй, побалуюсь. От кофейка не откажусь. Холодище на улице, знаешь ли, ужасный. Ветер с ног валит. Буквально итти невозможно. Озяб, знаешь ли, без перчаток.

Отец, как был, в фуражке сел на стул посредине комнаты и, поджав под сиденье ноги, уже не мог оторваться от докрасна раскалившейся трубы печки. Его слабая челюсть отвисла, седая редкая бороденка сквозила старческой желтизной, под красным пористым носом висела капелька, роса блестела на бровях. Щеки обмякли, и серебряная отросшая щеточка волос терла на затылке воротник.

Сын прошелся по комнате, нетерпеливо поглядывая на закипающий кофе и подсел к отцу.

— Ну, старик, так как же ты живешь? — весело воскликнул он, чувствуя неловкость и стараясь ее побороть весельем.

Отец грустно и серьезно посмотрел на сына и утер под носом.

— То-то вот и есть, что старик, — сказал он, вздохнув, и вдруг ласково и беспомощно улыбнулся, — то-то и есть, сынок, что старик. По-стариковски и живу. Правильнее выразиться, существую. Скриплю, знаешь ли, скриплю... Поскриплю еще годик-два, а там пора и честь знать. Молодое растет, старое старится. Да и чего в самом деле небо коптить? Сына вот вырастил. Есть кому глаза закрыть.

— Ну, папа, что это ты в самом деле затеял за разговоры! — воскликнул Петр Иванович. — Давай лучше кофий пить, — и он подмигнул барышне.

— И то верно, сынок, — согласился отец и, приняв из рук барышни кружку, припал к ней лилово-розовыми мокрыми губами, обжигаясь и дуя.

Сын придвинул ему сахар.

— Ай-яй-яй! — в восторге сказал он, увидев сахар, — сахарку-то у тебя сколько! Ишь ты какой — колотый! Его и не укусишь. Зубов, знаешь ли, нету, чтобы в прикуску пить. Больше в приглядку пью кипяточек. В накладку, знаешь ли, и не по карману.

— Да ты клади, не стесняйся.

Отец близоруко выбрал кусочек поменьше и бросил в кружку.

— Гляди, разорю твое хозяйство, — сказал он, повеселев над кружкой. — На таких беззубых гостей, как я, и не напасешься.

С этими словами он принялся жадно хлебать густую горячую жижу, по которой плавала рыжая пена жженого ячменя.

— Вот так, видишь ли, и прозябаю, — говорил он, прихлебывая и поглядывая на сына счастливыми глазами, — бегаю в техникум, на уроки, обедаю в общественной столовой. Настоишься, знаешь ли, в очереди, намерзнешься, аппетиты разыграются. Спасибо ученикам. Не в очередь пропускают. Милые такие все. Предупредительные. «Вы уж, пожалуйста, Иван Петрович, товарищ Синайский, проходите вперед. Мы не возражаем. Нас много, а вы один». Такие, право, отзывчивые. До слез доводят, веришь ли. Лишний талончик, бывает, сунут. «Ешьте, — говорят, — товарищ Синайский, на здоровье». Набьешься сухой кашкой, да и домой. Итти только далеко. Ноги не несут. Сядешь на полпути где-нибудь на тумбочку и отдыхаешь. Скриплю, сынок, скриплю... Без перчаток, знаешь ли, пальцы отморозил. Да и сил прежних нет. Взберешься на четвертый этаж, еле дышишь. Завалишься спать, так до утра и пролежишь. Холодно. Окна кое-как заклеил, да все-таки дует, видишь ли. Печку бы поставить. Особенно холодно по утрам. Спасибо соседям, кипяток дают. Милые люди такие, отзывчивые. Бывает, Петруша, что и сил нет встать с постели. Никуда не гожусь. На покой пора. Ведь седьмой десяток пошел, шутка ли! Так-то оно. Чувствую я, что свалюсь в один

прекрасный день — сил не хватит. Ну, да ничего. Не станет сил работать, возьму под мышку одеяльце и пойду себе потихонечку к Дарьюшке. Она ведь не чужая, не прогонит своего дядю. Неоднократно звала к себе жить. У них на Чумке благодать. Тишина. Глушь. И к мамочке, знаешь ли, ближе.

Отец разболтался у огня и вдруг, пугливо взглянув на сына и барышню, что-то уж очень заторопился:

— Ну, сынок, до свиданья. Пойду себе полегонечку. Без перчаток, знаешь ли, пальцы зябнут. Башлыка нет. Башлык теперь не по карману. Ну, до свидания, до свидания, сынок. До свидания, барышня.

И в темной передней, уже не стесняясь постороннего, отец прижался к сыну и зашептал снизу вверх:

— Женился бы ты, Петруша! А? На внучат посмотреть хочется... перед смертью... Хорошо у тебя, — прибавил он, подымая низенький воротник и засовывая руки в рукава, — тепло и низко. Подыматься не надо. А я шел, знаешь, из техникума, и дай, думаю, зайду проведать. Без перчаток, знаешь ли, пальцы ух как зябнут. Перчатки бы мне соорудить как-нибудь. Дарьюшка связать обещала. Печку бы поставить! А? Ну, до свиданья, до свиданья, не простудись, милый. Христос с тобой.

И отец, согретый и оживший, выскочил в ледяной черный подъезд, так и не сказав сыну зачем он пришел. А пришел он затем, чтобы попроситься жить вместе с сыном в теплой и низкой комнате, попросить перчатки и немного хлеба.

Петр Иванович с нетерпением возвратился в комнату и поспешно задул светильник...

С трех сторон вокруг города бушевало ледяное одичавшее море. С четвертой надвигались уезды. Они расположились на подступах к рынкам и вокзалам, раскинулись тылом сытых и диких деревень, полных домотканных коричневых сукон, муки и масла. Банды чубатых атаманов рыскали по перелескам и шляхам. Тютюнник свистал, гукая своих удальцов по горбам Подолии. Ангел развинчивал рельсы и крыл поезда из пулеметов. Заболотный залег в камышах за Балтой, не пропуская ни конного, ни пешего. Сам батько Махно на мохнатых своих лошадях переходил у Тирасполя замерзший Днестр, и его тачанки тарахтели контрабандой по мраморным приднестровским дорогам под самым носом у особых отделов и кордонов. В селах играли свадьбы и гуляли. Бараньи шапки летели в землю, и кованные железом сапоги дезертиров вытаптывали такие забористые переборы, что белые свитки дивчат сами собой распахивались черным барашком, руки сами собою упирались в бока, и разноцветные ленты и мониста стеклярусом карусели мчались в пьяных глазах гармониста. Губернские инструктора тряслись по уездным ярам из волости в волость на селянских подводах, добытых по наряду. Красные флажки сельсоветов кренились от ветра над камышевыми крышами и журавлями колодцев. Красная звезда Марс студеным вихрем приближалась по ночам к земле, и каменные поля, не прикрытые снегом, лежали, черны и неподвижны, под небом, изглоданным холодом.

Так прошла зима, и в начале марта Петра Ивановича послали на две ıедели в уезд инструктировать Оргасев. Уже он ставил на козлы извозчика вой походный офицерский сундучок, как вдруг увидел отца. Отец торопиво бежал по улице в своем зеленом пальтишке, валясь вперед и волоча ıоги. Увидев сына, отец остановился.

— Как же это ты так, — сказал он, подходя, и обидчиво и тревожно ıогладил его рукав, — оказывается, едешь в уезд, а я ничего и не знаю. Іосторонние люди сказали. Как же это? Сообщил бы, по крайней мере, от;у. Попрощаться ведь надо. Ведь отец я тебе. Хоть и стар, а помог бы ложиться, сундучок бы понес на вокзал. Как же так?

— На две недели всего, — сказал сын и вдруг ужаснулся перемене, :оторая произошла в отце. На его руках были большие красные шерстяые варежки. Шея и уши были закутаны гарусной шалью, из которой ыглядывали дряблые, бабьи, белые, несмотря на холод, щечки, бессильно азмякший рот и слезящиеся, какие-то вывернутые, словно вырезанные опухшем лице, глаза, лишенные ресниц и оттянутые углами вниз. Весь н, закутанный и маленький, с подворачивающимися ногами и суетлиыми руками, был похож на дряхлую вятскую старуху.

Сгорбившись, отец засеменил к извозчику и, кряхтя, стал устраивать ундучок.

— Как же это так, — бормотал он умоляюще, то-и-дело бросаясь т ремешков сундучка к сыну, чтобы погладить его по плечу, — как же го ты едешь? Ведь в уездах разбой. Не ездил бы ты, Петруша! А? Право е ездил бы. Ведь убьют. Убьют ведь. Как бог свят. Да и чего тебе ездить: ого и гляди дожди начнутся, простудишься, чего доброго. Банды там оруют. Не ездил бы, право не ездил бы. Плюнул бы. Вон газеты пишут, то Заболотный разбойничает, — говорил он, подсаживая сына и забегая другой стороны, чтобы сесть самому.

Он уселся рядом и, нежно поддерживая сына за талию, как даму, рижался своей обмотанной головой к его рукаву.

— А я, знаешь ли, специально притащился, чтобы попрощаться, — епетал он по дороге на вокзал. — Ведь сын ты мне. Как же не проводить ынка-то! Притащился, с Чумки притащился. Я, знаешь ли, теперь сосем почти к Дарьюшке перебрался. К мамочкиной могилке поближе. Она не, Дарьюшка-то, посмотри, какие перчатки связала — такая добрая. Кормит меня, старика, чайком поит, даже неловко, право. А ты бы всеаки, сынок, не ездил. Плюнь, ей-богу. Ну, чего там хорошего в уезде? ›пасностям только себя подвергать. Не езди, милый, не надо. Не улетай з гнезда.

И уже на вокзале, перед выходом на платформу, таща обеими руками яжелый сундучок, приседая от тяжести, пока сын доставал билет, он все родолжал со слезами на глазах уговаривать:

— Не езди. Не надо. Остался бы... Эх, ведь какой недобрый. Не ıушаешься отца. Папка худого не посоветует, — говорил он с покорным гчаянием, — остался бы, право. Я тебе и сундучок обратно снесу лучше

всякого носильщика. Экономия знаешь ли — А? Экой ты такой недобрый, — и, увидев, что они уже подошли к двери, вдруг тяжело опустил сундучок, порывисто и поспешно бросился сыну на шею, с последней удивительной стариковской силой нагнул обеими руками его голову и прижался жадными губами к его губами, щекоча его подбородок мокрой своей бородой и ненаглядно засматривая в глаза грустными слезящимися своими глазами.

Толпа с трудом оторвала отца от сына и разъединила их. Петр Иванович подхватил сундучок и вышел на перрон. Отыскивая свой вагон, он мельком в последний раз увидел в дверях отца, который пробивался к нему, оттираемый людьми все дальше и дальше от двери, оплывал и крестил его издали красной своей варежкой.

Чинная пустота и одиночество перрона охватили Петра Ивановича, и он уже не мог отделаться от них ни в унылом сумраке вагона, вымытого карболкой, ни потом, под хмурыми мартовскими тучами, мотаясь по уездным дорогам из села в село, окруженный ядовитой зеленью озимых, широко и медленно поворачивающихся вокруг телеги до самого опасного горизонта.

Восемь суток, занятый делами и дорогой, он не думал об отце. В ночь на девятые он ему приснился. Петр Иванович ночевал на соломе под овчиной в хате на краю глухого села и, вдруг, глубокой ночью проснулся от внезапного холода, хлынувшего по ногам и по лицу из сеней. Он приподнялся с полу. Дверь в сени была раскрыта настежь. Другая дверь из сеней во двор была тоже открыта, и оттуда со двора в хату лился ключевой родниковый воздух. Был тот мертвый и смутный час между первыми и вторыми петухами, когда ни один звук не нарушает безмолвия ночи. В косяке открытых дверей виднелась крыша хлева и низко над ней, в лютом черном небе пылали, переливались и дрожали Стожары. В дверях появилась фигура входящего со двора хозяина. Весь осыпанный яркими голубиными звездами, в накинутом на плечи кожухе, босой и сонный, он нес нечто, прижимая обеими руками к груди. Щелкнула щеколда, и звезды захлопнулись. Теперь в потеплевшей тьме послышалось нежное младенческое блеяние. Хозяин осторожно переступил через Петра Ивановича, склонился и стал, бормоча, сгребать солому, укладывая *нечто* возле самой его головы. Петр Иванович выпростал из-под овчины руку и коснулся пальцами курчавого и живого. Оно заблеяло. «Це новорожденные ягнятки, — сказал хозяин, заметив, что инструктор проснулся, — нехай сплят у хати. У хлеву померзнут. Нехай соби сплят». Хозяин почесался и залез на печку. Петр Иванович еще раз потрогал ягнят и нащупал костяные копытца твердых ножек и точеные мордочки шахматных коньков, торчащие из курчавой сухой шерсти. Он взял их, маленьких и тяжеленьких, себе под овчину, укрылся с головой и, дыша нежной животной теплотой, крепко уснул. И тут ему приснился отец. Он приснился красивым, темнобородым и молодым, похожим на Чехова, каким он и был некогда, в новом сюртуке и в пенснэ со шнурком и шариком. Молчаливый и бледный, он снился

сыну, наплывая, как сквозь увеличительное стекло; наплывая и расплываясь, настойчиво присутствуя во сне, и все никак не мог наплыть и отосниться. Он снился ему долго и горько, и сын проснулся в слезах. Хозяйка топила печь. Светало.

Охваченный тревогой перед непоправимой утратой, Петр Иванович бросил работу и поскакал в уезд. Там на его имя лежала телеграмма. Ему не нужно было ее читать. Мучимый попеременно то надеждой, то отчаянием неизвестности и неточности телеграммы, он провел длиннейшую бессонную ночь на еловых ветках, перед раскаленной колонкой в теплушке, среди солдат и мешечников, и вечером следующего дня, не доезжая до главного вокзала, на разъезде у Чумки, выскочил из слишком медленного товарного состава, прямо против водопроводной станции. Домик, где жила Дарья, стоял под откосом. Окна были освещены. Петр Иванович добежал до крыльца и позвонил. Бледный, одиннадцатилетний мальчик, остриженный ежиком, открыл ему дверь. Петр Иванович узнал его. Это был Дарьин приемыш. Он серьезно и вежливо шаркнул ногой, пропуская его в прихожую.

— Дядя Петя приехал, — смущенно сказал он в приоткрытую дверь столовой.

— Что случилось? — спросил Петр Иванович.

— Ничего, ничего, — торопливо проговорил мальчик, успокоительно улыбаясь и розовея до корней волос, — идите в столовую, вам тетя Даша все расскажет.

Петр Иванович увидел на вешалке отцовскую фуражку, гарусный шарф и вошел в столовую. Все семейство сидело за чайным столом, но отца среди них не было. Дарья уже стояла, приготовившись к появлению двоюродного брата, и, едва он вошел, она быстро положила недошитый чепчик на стол и, строго взглянув на мужа-инженера, подошла, переваливаясь, к Петру Ивановичу.

— Ну, — сказала она, решительно и быстро крестясь, — ну, Петр, нет больше в живых твоего отца. Он умер и вчера его похоронили.

Сказав самое трудное, она с облегчением села на стул и еще раз перекрестилась.

— Мы тебя ждали еще вчера на похороны. Он скончался третьего дня, в семь часов двадцать минут вечера, через пять часов после нашей телеграммы, не приходя в сознание, на этом диване. — Она показала рукой на кожаный диван, опять перекрестилась. — Чаю хочешь?

Не в состоянии выговорить ни слова, Петр Иванович отрицательно мотнул головой.

— Ну, как хочешь, — сказала она, значительно взглянув на седую стриженую старуху-гостью, — может быть, устал и хочешь прилечь?

Он опять покачал головой.

— Расскажи мне, Дарьюшка, все по порядку, — наконец, выговорил он, удивляясь, что голос его звучит так, как будто бы ничего не случилось.

Она строго, с полным сознанием своего долга и ответственности перед двоюродным братом за последние дни его отца, взяла его под руку и повела в холодную гостиную.

— Садись и слушай, — сказала она, усаживаясь в кресло и усаживая его напротив, — твой отец умер легко и просто, так, как дай бог умереть каждому, третьего дня в семь часов двадцать минут вечера.

Дарья вытерла глаза платком и, собравшись с мыслями, тщательно и подробно, словно делала отчет, в котором нельзя пропустить ни одной мелочи, рассказала Петру Ивановичу все то, что знала о последних днях, о смерти и похоронах его отца.

Отец умер (это она повторила, как нечто имеющее первостепенное значение и документально важное) третьего дня в семь часов двадцать минут вечера, не приходя в сознание, от удара, который случился около часу этого же дня. За несколько дней до своей смерти старик Синайский, оказывается, стал курить. Никогда в жизни не курил и вдруг стал. В день смерти он скрутил себе козью ножку и пошел в кухню. Там он присел к печке, чтобы открыть заслонку, и вдруг упал. Ничего не подозревая, Дарья с кухаркой стали его подымать. За последнее время у него было вообще какое-то расстройство в ногах, и он часто падал, так что это падение их не удивило. Однако оказалось, что на этот раз поднять его очень трудно. Он лежал ничком возле печки на серебряных лишаях дубовой коры, неловко подвернув под себя правую руку и конвульсивно дергая левой. В бессознательном состоянии его перенесли на диван в столовую и немедленно послали за доктором и на телеграф. Весь дрожа ровной мелкой и непрерывной дрожью, он продолжал лежать, не меняя положения, ничком с подвернутой рукой лицом к спинке дивана. Глаза его, застланные голубоватой пленкой, закатились, в горле тяжело хрипело, и левая рука судорожно подергивалась, словно желая смахнуть и стереть с диванной кожи какую-то точку, назойливо мешавшую глазам. Доктор констатировал удар на почве артериосклероза и сказал, что часы его жизни сочтены. После пяти часов вечера хрип в горле сделался сильнее, конвульсии руки резче, в семь часов наступило успокоение и в семь часов двадцать минут, не приходя в сознание, он перестал дышать.

Петр Иванович сидел неподвижно и спокойно, ужасаясь своему спокойствию и в то же время понимая, что ничего нельзя предпринять, что все уже сделано, а нужно только сидеть и слушать отчет.

Дарья вытерла покрасневший нос и перекрестилась.

— Ничего не поделаешь, — сказала она, глубоко, по совести вздохнув, — если говорить правду, это к лучшему. Годом позже, годом раньше. И так дядя всех пережил. Братьев своих пережил и маму твою пережил, и сослуживцев. Думаешь, легко всех пережить?

— Как его хоронили? — спросил Петр Иванович чужим голосом, — каков он был в гробу?

Дарья оживилась с поспешностью женщины, забывшей рассказать самое главное, к чему она имела непосредственное отношение и что было делом ее рук.

— Все было так, как дядя этого желал при жизни, — сказала она торжественно. — Он лежал в простом деревянном гробу с кипарисовым крестиком в пальцах, по чину омытый, в своем сюртучке и белом белье. В гробу, представь себе, дядя выглядел на десять лет моложе, красивый такой, понимаешь, даже элегантный, такой самый, как, помнишь, когда собирался вечером на лекцию. Его отпевало шесть священников — все его семинарские ученики. Было два хора. Ведь ты знаешь, как дядя любил церковное пенье. До самой могилы гроб несли на руках. Пришло масса народу. Откуда только взялись, не знаю. Свечи. Ладан. Так торжественно все, понимаешь. И вот теперь он лежит на том самом месте, где всегда мечтал лежать — между могилками матери и жены.

Дарья задумалась, перебирая, не забыла ли она еще чего и, перебравши, возвратилась к началу.

— Ты себе не можешь представить, — зашептала она, — как дядя вдруг поддался в последнее время. Как-то сразу. Ужас прямо. Представь себе, дряхлый-предряхлый старик. Стал заговариваться. Путаться. Все про покойную мамочку вспоминал, все о тебе беспокоился. Буквально места себе не находил. «Да вы, дяденька, главное, не волнуйтесь», — я ему, а он мне: — «Да как же мне, — говорит, — Дашенька, не волноваться, когда там в уезде разбой, да и только? Ведь убьют, Дашенька, Петрушу. Не переживу я этого». И, можешь себе представить, все время он как-то стыдился, что живет на чужих хлебах. Чтоб рубаху свою дать постирать кому-нибудь, боже сохрани. И не заикайся. Сердиться начинал. Сам, понимаешь, все себе стирал. Заберется раненько утречком, чтоб никому не мешать, в ванну, засучит рукава и все постирает, выкрутит, развесит. «Ты меня, — говорит, — прости, Дарьюшка. Стесняю я тебя. На твоих хлебах живу, а у тебя своя семья. Вот ребеночек скоро будет. Двоюродный внучек...» — Сияющими от слез глазами Дарья вскользь посмотрела на свой большой живот и вытерла щеки платком, — деятельный какой был старик. Неугомонный! Все-то он сам, все сам. «Ты, — говорит, — Дашенька, не стесняйся, — если что нужно сделать, я сделаю. Хоть и совсем стал развалиной, а все-таки на рынок сходить смогу, свинок могу покормить». — Мы, знаешь ли, свиней откармливаем понемножку. Время теперь тяжелое. Знаешь, за день до дядиной смерти какой с ним случай произошел? Послала я его на рынок выменять одеяло на муку. Пошел он и по дороге потерял одеяло. Как это произошло, не знаю. Я ведь тебе говорила, что в последнее время у него были какие-то расстройства организма. Может быть, присел по дороге отдохнуть и заснул, а одеяло-то и утащили. Мало ли что. Словом, приходит дядя домой, а на нем лица нет. Но молчит, ничего не говорит. Лег на диван и весь трясется. «Что с вами, дядя?» — спрашиваю, а он отвернулся к спинке дивана и молчит. Вдруг вскочил, подбежал ко мне, в лицо заглядывает, а у самого на глазах слезы. «Дашенька, — говорит,

а сам трясется, — Христа ради, Дарьюшка, прости меня». Тут я сообразила все. «Что такое, дядя, —спрашиваю, —одеяло потеряли?» — «Потерял, Дарьюшка, ох потерял». А сам плачет: «Ох, Дарьюшка, не знаю, что и делать теперь. Не пойму, как это случилось. А одеяла теперь другого такого не купишь. Не по средствам. Прости меня, Дарьюшка, ради христа прости». И руку хватает, поцеловать хочет. «Да что вы, дядя, — кричу, — пустяки, дядя». — «Нет, — говорит, — Дашенька, нет не пустяки это, у тебя сердце золотое, одеяло — это не пустяки. Во ведь сколькс на него можно было муки наменять. Целый месяц кормиться. Ты меня напрасно уговариваешь». И трясется весь, и у самого слезы на носу. Никак его не могли успокоить. Все время дядя хватался за фуражку бежать искать это самое злополучное одеяло. И так эта история на него подействовала, что ты себе представить не можешь. Тут, понятно, не в одеяле дело. Дядя вдруг почувствовал свою дряхлость, непригодность к жизни и бессилие. Ты ведь хорошо знаешь дядин характер. Не мог он жить в бездеятельности. Не мог примириться со старостью. Всю жизнь бился, бился, с урока на урок, работал, как ломовая лошадь, и вот надорвался. Не выдержал.

Дарья сидела прямо и неподвижно, уже не стараясь вытереть мокрое лицо, и видела сквозь выпуклые слезы Петра, который, слегка приподнявшись с места, крепко ухватился пальцами за ручки кресел.

Из столовой слышался осторожный звон ложечек.

То ли прислушиваясь к этому легкому стеклянному звону, то ли прислушиваясь к нежному биению и толчкам ребенка, которого она носила в себе, Дарья медленно очнулась и вся вдруг рассиялась.

— Утром в день его смерти у нас как раз начала пороситься свинья,— сказала она, улыбаясь своей женской зрелой, несколько даже юмористической материнской улыбкой, — в доме, понятно, поднялась беготня. Еще бы, какое событие! Все волнуются, не знают, что делать. Чуть ли не за ветеринаром посылают. А дядя, можешь себе представить, ходит и всех успокаивает: «Вы, — говорит, — главное, не беспокойте роженицу. Оставьте ее в покое. Предоставьте все природе». И так, понимаешь, убежденно это говорит. «Ты,— говорит,— Дарьюшка, главное, не мешай ей. Поверь, что у нее есть инстинкт. Не препятствуй природе. Главное, не препятствуй природе». Ужасно типично для дяди! И до самого своего удара все ходил по комнатам и повторял: «Предоставьте природе делать свое дело. Предоставьте природе». Это, собственно, и были его последние слова.

Дарья опять прислушалась к чему-то и, усмехнувшись, повторила:

— Предоставьте природе... Удивительный человек...

Итти в город было поздно, и всю эту ночь Петр Иванович пролежал в кухне на расставленных для него дачных козлах с раскрытыми во тьму глазами. Неожиданная и не предполагаемая новизна сиротства всю ночь окружала его в этой теплой темной кухне запахом дубовой коры и стынущей вьюшки. За окном, среди деревьев, низко над шпалами прошел, по-

качиваясь, фонарик. Там, за насыпью, за решетчатым броневым мостом, лежало кладбище, где между старыми могилами мамы и бабушки теперь был новый рыжий рассыпчатый холмик.

Рано утром Петр Иванович ушел в город, взяв с собой немногие вещи, оставшиеся после отца и бывшие еще так недавно его составной частью — зеленое пальтишко, сапоги, сальную подушку без наволочки, веревочную кошевку, профсоюзный билет рабпроса да продовольственную карточку с талонами, срезанными по март месяц. Эти вещи были легки и ненужны.

Невысокое солнце сильно било в ресницы. Облака вздувались рубахами в пустынном и свежем небе. Отруби сыпались с лошадиных морд в жадную синьку чугунного водопоя. По склонам Чумной горы в зелени сохли мокрые желтые цветы цикория, похожие на пасхальных цыплят. Площадь пылила прессованным сеном.

Мимо всего этого Петр Иванович шел с узлом, как выписавшийся из больницы, удивляясь по дороге пустоте и свежести жизни.

Отцовская комната была беспощадно освещена солнцем. Он бросил узел на пол и пошел за старьевщиками. Пока они вполголоса совещались и деликатно раскладывали мешки, стараясь не потревожить его задумчивости, Петр Иванович в последний раз осмотрел все эти родные старенькие вещи, среди которых жил и которыми дышал отец, среди которых вырос и он сам.

Над неубранной кроватью висел мамин увеличенный портрет, тот самый, на котором мама была епархиалкой, в темном переднике и круглом крахмальном воротничке с дорогим, как японская чашка, раскосым лицом.

На письменном столе стояла деревянная длинная лакированная шкатулка, полная запонок, перышек, катушек, кнопок, пуговиц и множества тех мелких и не имеющих названия предметов, среди которых так интересно бывало в детстве вдруг найти какую-нибудь давным-давно забытую, считавшуюся потерянной, вещь — кусочек серы или синенький киевский крестик.

Тут были застекленные рыжие фотографические группы в черных узеньких рамках, сваленные в угол вместе с заношенными желтыми воротничками и эмалированной обитой миской, где на дне присох кусочек ужасного мыла и лежал частый гребень, забитый перхотью и седыми волосами.

Тут были аптечные склянки, коробочки, корки хлеба и стенные часы, те самые стенные часы, которые каждое воскресенье заводил отец, став на стул и роняя пенснэ, и которые каждый месяц тщательно купал в керосине. Но больше всего тут было книг. Они смугло золотели кожаными тиснеными корешками «Истории государства российского», источенного червями, они голубели Пушкиным и багровели Гоголем, они плотно слежались компактными томами Тургенева в издании Стасюлевича, они бурели Боборыкиным и коробились Горбуновым, они, перевязанные туго-натуго бечевками и шпагатом, наполняли комнату классическими стопками

разных пропорций и положений, и только зеленая бронза Брокгауза и Ефрона опрятно сияла за пыльным зеркальным стеклом книжного шкафа.

— Что продается? — спросил один из старьевщиков.

— Все, — сказал Петр Иванович с нетерпением и боком присел на подоконник, закусив губу.

Старьевщики переглянулись и немедленно открыли шкап. Ловко и вежливо, с небрежным, деловым любопытством они выбрасывали из него тряпье, смотрели на свет, сортировали, снова кидали на пол и увязывали в грязные отцовские простыни. Перед Петром Ивановичем мелькнула, раскинув рукава, парусиновая тужурка с перламутровыми пуговицами, потом зеленое пальто, распятое на свет перед окном. Худые сапоги полетели в мешок, уже до краев набитой барахлом. Двое старьевщиков стаскивали с кровати пружинный матрац. Откуда-то вылетел и раскрылся желтый, тщательно хранимый, исторический номер газеты с манифестом семнадцатого октября; путеводитель по Италии распахнулся лазуркой свой обложкой с чайкой и пароходом; загрохотал, кинутый в миску, шахматный ящик; корзина заскрипела, переполненная Брокгаузом; солнечный столб забил тенью оконного переплета сквозь крутящийся прах; в пустом пролете лестницы летал страшный гул выносимого гардероба; спиральная пружина часов горизонтально трепетала, звенела и ныла в стеклянном легком ящике, как сердце.

Громадные пласты прошлого откалывались и грохотали, сползая вниз по ступеням и заряжая лестницу громом четырехэтажного эхо. Ящики пустели, как жизнь. Голоса, уже ничем не спираемые, летали по комнате, воя и оглушая. Шаги стреляли, как брошенные штанги, пистолетными выстрелами. Клочья писем и карточек устилали пустой пол. На полу лежали иконы. Все было кончено. Петр Иванович спрятал деньги в карман, повесил на дверь замок, отдал ключ в домком и через неделю уехал на север.

Сначала, пересчитав по дороге стыки и стрелки, поезд по светлым рельсам неторопливо обогнул мешки и брезенты пакгаузов. Потом он пересчитал вспышками блеска стекла блокпостов и железнодорожных особнячков. Потом у шлагбаума обварил, поднятую оглоблями, лошадь. Потом побежал плоской решоткой длинных вагонных теней по крыше Дарьиного домика, лежащей почти вровень с кремнистым полотном пути, зажегся на террасе звездой самовара, замелькал во дворе по розовым поросятам.

Паровик свистнул, загремев по мосту. Петр Иванович выскочил на площадку. Кладбище неслось внизу под откосом с непомерно растущей быстротой. Взмыленные деревья в смертельной сече рубились с крестами. И не мог Петр Иванович в движении, уносившем его, в последний раз отыскать среди них, ни разу не виденную им, могилу.

А пригороды сами собой раздавались перед шибко стучащим локомотивом. Тюрьма поворачивалась и уплывала в отдалении среди вечерних огородов. Фабричные трубы и водокачки, пробитые снарядами граждан-

ской войны, как флейты, стремительно валились на сторону. Мостик между площадками ходил ходуном и ползал, пополам разъезжаясь, под подошвами.

Ночь летела из распахнувшегося чернозема, и Петр Иванович встречал ее, как новую жизнь, обнаженной грудью и похолодевшим лицом. Тучи ярких шмелей проносились в невидимом дыму паровоза над непокрытой его головой. Черная ночь, как ломоть ржаного хлеба, взятого в дорогу, на совесть посыпанная крупной солью, была тепла и полезна.

И небо, как незабываемое отцовское лицо, обливалось над сыном горючими, теплыми и радостными звездами.

Весенница.

(Рассказ).

Глеб Алексеев.

I.

На стене скотного сарая, мокрой от весенней прели, висело солнечное пятно, и на него было больно смотреть заслепшим в снежную зиму глазам. У ворот в пригретой пыли лежала, подрагивая на сквозняке, собака, с полей тянуло в село холодным еще, сыроватым ветром, а в садах уже гомонили вороны, ломая на гнезда сохлые сучья ивняка. Анисья с весенней мужицкой жадкостью к работе — в мужниных сапогах, в теплом платке — кидала навоз на двор, когда к воротам подъехал Игнат и глухо, по-весеннему простуженно сказал кому-то:

— Ну, вот и доехали... слазьте покеда...

— Ай ты? — спросила Анисья, не поднимая головы и зная: — он, а кроме и некому.

— Я, я... — отвечал Игнат, — отомкни калитку, хозяйка!

Сразмаху ткнув вилы в хлюпнувшую кучу навоза, Анисья вышла к калитке, увидела женщину в кепке, неподвижно сидевшую на Игнатовой телеге, — на коленях женщины лежал портфелик, руки были в прохудившихся серых перчатках. Игнат поджидал у лошади, ни к чему оправляя супонь.

— Это к кому-й-то? — спросила Анисья, настороживаясь.

— А к нам и будет! — с деланным оживлением воскликнул Игнат и с жаром принялся объяснять. — Вишь ты, какое дело!.. Из города в нашем селе читальную избу... на манер, сталыть, Власьевки... Прихожу нащот налогу к товарищу Титову! — Игнат, словно он в чем оправдывался, ожесточенно замахал руками, но, встретившись со спокойно-выжидаешим взглядом жены, окончательно сбился с толку. — «Ты, — говорит, — Игнат...» председатель, сталыть, товарищ Титов, понимаешь? «Ты, — говорит, — домой поедеш?» «Дык как же, — говорю, — не домой, товарищ Титов! Обязательно сейчас домой поеду...» Взял он, конечно, мою квитанцию и говорит: «Попутника я тебе приготовил», — да как закричит в соседнюю бюру: «Товарищ Нюрина, пожалуйте к нам сюды!». А этая гражданка и выходит. «Где ж, — спрашивает, — я в том селе местожитель-

ством расположусь? Факт, — говорит, — очень интересный». Известно — на чужую сторону едет... «А у меня, — говорю... тоись это я, значит, говорю... — мы читальную избу очень приветствуем». «Хорошо, — отвечает этая гражданка, — я расположусь...»

— Та-ак! — зловеще прохрипела Анисья, — выходит, с гостем вас, Игнат Кузьмич!

Игнат знал эту манеру жены: подперев руки в боки, разговаривать с ним на вы. Домашние ссоры всегда начинались столь деликатным образом. Сейчас Игнату и самому было непонятно: как это он, зная поганый характер жены, осмелился пригласить к себе избачку, если матери Игната и той пришлось о прошлом годе съезжать в соседнее село к дочери. Но при мысли, что жена может понестись при этой женщине, с которой он так сознательно разговаривал в городе, Игнату стало не по себе. И тогда тем властным тоном хозяина, который (он знал) действовал на жену неотразимо, Игнат сказал:

— Баба, помолчи! Хозяин я у себе на дворе, ай нет?

Не отпирая калитки, Анисья прошла в избу. Игнат со злым любопытством следил за тем, как топталась она на крыльце, сбивая грязь с сапогов, с раздражением хлопнула дверью; оборотясь к женщине, он развел-было руки со страдальческим недоумением, но улыбка, которая раздвинула бледные неподвижные губы женщины, ободрила его, и он с решимостью отпихнул засов.

— Известно баба! — виновато, как бы стыдясь негостеприимства жены, сказал Игнат и ухватил под уздцы лошадь.— Но только вы, товарищ, не сумлевайтесь... слазьте с телеги...

II.

Товарищу Нюриной стлали в чистой половине, на лавке, под спаленными ликами святых. Игнат был очень доволен, что настоял на своем, — его лобастое, широкое, как разъезженная телега, лицо целыми днями блестело улыбкой, и в этой улыбке была и значительность, и как бы легкая усмешка над покорившейся его воле женой, и горделивое довольство, что избачка остановилась все-таки у него, а не у учительницы. Целыми днями — в сложной по весне жизни крестьянина — Нюрину было не видать. Игнат поднимал пары, высевал яровые, Анисья возилась с капустной рассадой в огороде, стригла овец, но в жизнь обоих вошло что-то, что чувствовал Игнат в настороженных, остановившихся глазах жены, когда, проходя по двору за хомутом или за супонью, он вдруг от ощущения бодрости, какая всегда объявляется у мужчины, если живет он бок-о-бок с новой женщиной, начинал подсвистывать, отпускал молодецкую шутку, или отводил глаза, если нахохлившаяся Анисья спрашивала что-нибудь про жиличку. Нюрина с утра уходила в сельсовет, спорила с мужиками, — выходило так, что спорила она, а не мужики, которые соглашались с ней во всем, да, вишь, какое дело: по весне не до читальни!.

Иной раз на крылечке школы рассказывала она что-то долговязой учительнице, должно быть, жаловалась ей, и та, зябко кутаясь в платок, с участием кивала своим длинным, как бы расщепленным носом. Вечерами же, сквозными и синими от весенней свежести, взбадривающей человека будто вино, — когда, отпахав, Игнат усталый весенней веселой усталостью управлялся на дворе, — привык он издалека замечать жиличку: — она шла по улице, по-мужски размахивая руками, в кожаной куртке, свисавшей неловким мешком, в мужских сапогах.

— Идет! — криво усмехаясь, подзуживала Анисья.

Игнат опускал глаза, будто не слышал бабьей усмешки.

Если в Анисьиных руках был в это время подойник — подойник начинал угрожающе громыхать; на бестолковый его грохот скашивала теплые свои глаза корова. Если подвертывался под Анисьины злые ноги Шарик — доставалось Шарику: пес взвизгивал, с покорной злостью шел в пыль к воротам. Жиличка была баба хоть куда: с просторными, крепкими глазами, с лицом чуть-чуть побрызганным веснушками, но открытым и очень смелым. Игнат с досадой упирал глаза в жиличку, равнодушно сплевывал, если этот его взгляд ловили неотступные глаза Анисьи. Но с течением дней — по мужскому ее обличию, по тому, что она курила махорку (Игнат, покачивая головой, закручивал с ней из одного кисета), по кепке, по мужским сапогам, которые она и снимала по-мужски, нога об ногу — Игнату стало смешно видеть в ней юбку. А потом оказалось, что и в мужских делах она понимает не хуже мужиков, хоть и не ходила за плугом. Поговорив с ней по хозяйству, Игнат убедился, что насчет, скажем, навоза по словам товарища Нюриной получается сподручнее, и послушался: разбросал навоз в поле, не сложил в кучу, как делал всю жизнь до того. Когда Игнат как-то само собой перестал ее стесняться, как не стеснялся в войну госпитальных сиделок и сестер, — вечерами разгуливал по избе в одних подштанниках, раза два матюкнулся при ней: ничего, стерпела. А, перестав стесняться ее как женщину, Игнат с удивлением приметил, что в нем пропало и то чувство бодрости, что заставляло его то засвистать без причины, то отпустить молодецкую шутку, казаться веселым, удачливым: тот же навоз, например, если она стоит рядом, подкидывать на телегу так, чтобы вилы чортом плясали в руках. И тогда стало непонятно досадно, что привез избачку к себе, а не к учительнице. «Посадил на шею!» — ворчал Игнат, завидев ее на улице, и сердито опускал глаза. В свою очередь, угадав бабьими чутьем эту перемену в Игнатовых отношениях, Анисья перестала быть настороже к ней, подавать ей стакан чаю или миску срыву, ворчать под нос, когда та, проходя, забывала притворить дверь, — наоборот, в ее отношениях к жиличке проявилась грубоватая какая-то нежность, какая бывает иногда у старших, замужних сестер к младшим, подросткам. Она оставляла ей молока на утро; пеняла, если та забывала выпить; за ужином подкладывала лучший кусок и, если Нюрина отказывалась, прикрикивала с сердитой, но не обидной настойчивостью: «Ешь уж, ешь!». А когда однажды Нюрина попро-

сила вскипятить воды для постирушки, Анисья выхватила у нее узелок с бельем, проворчав, что к вечеру ей беспременно стирать мужнины портки, и заодно она простирнет эдакую безделицу.

Отужинав простоквашей или картошкой с салом, Игнат по-хозяйски первым клал ложку. Анисья убирала со стола, привертывала лампешку. В эти несколько минут после ужина, когда сразу встать из-за стола тяжело, Игнат спрашивал жиличку о том, о чем надумывал спросить за день. Вопросы были по большей части глупыми — Игнат и сам понимал это, — спрашивал он больше из желания поймать ее на чем-нибудь, уязвить за то, что живет третью неделю, задавить мужицкой неопровержимой логикой. Правда ли, что в городах бабы до того самостоятельны, что платят мужикам алименты? Или что будет, если все обучатся грамоте и уйдут в город — кому ж пахать землю? Голос Игната выдавал то непонятную обиду, то насмешливое раздражение, и, улавливая это, жиличка старалась ответить с ласковостью, чтобы не огорчить Игната еще больше:

— А грамотные и будут!..

Но Игнат догадывался, что ей не впервой отвечать на каверзные такие вопросы, раз отвечает так толково и не смущается, и тогда его начинал сердить спокойный ее, покровительственный тон.

— Да взять, к примеру, меня! — запальчиво восклицал он. — Да дай-кось, к примеру, мне грамоту, чтоб мог я одолеть ремесло или к торговому делу приспособиться — да разве я стану в навозе сидеть? Да ни в жисть! — с радостным изумлением восклицал он, щелчком сбивая суетившегося по столу таракана.

— Это сейчас вам так кажется! — мягко замечала жиличка.

— Почему ж, например, сейчас? — едко спрашивал Игнат. — Ай голова другая вырастет?

— Обязательно! — отвечала она тихо, но твердо.

— Разве что так! — не сдавался Игнат, непонятно робея перед убеждающей твердостью ее слов. Но признать себя побежденным в споре было неловко перед женой, и тогда, притворно зевая, словно бы давая понять, что эти разговоры ему ни к чему, баловство одно, Игнат вставал из-за стола, сурово бросал Анисье: «Стелись, что ль!» — выходил на двор: досмотреть по хозяйству, запереть сарай, послушать погудливую весеннюю ночь. Ночи стояли прозрачные, до краев налитые набухающей силой земли и цветения. Если встать у избы, прислониться головой к косяку, закрыть глаза, чтоб не мешал лунный свет, слышать жизнь сердцем,— услышишь, как неспокойно ворочаются в сараях лошади и коровы, поклохтывают в ожидании рассвета куры, с сухим треском лопаются почти на орешнике, и ветер плещет в лицо сырыми туманами полей. Деревня не спит в эти тревожные весенние ночи: вот опять мигнул огонек в дальней избе, скрипнула калитка, — вышла, должно быть, хозяйка к зареввевшей животине; кто-то пробежал по улице, стуча впервой одетыми сапогами; девичьи голоса прозвенели рассыпанным монистом а рекой.

Под ноги, не боясь, вышла очнувшаяся от зимней спячки мышь, разбудила Игната от той бодрствующей завораживающей человека апрельской полуночной тишины, в которой слышно каждое желание, каждое движение мысли, всегда новой и радостной по весне. Игната потянуло в избу, к жене. А после неторопливой хозяйской ласки слышал: в соседней комнате курила, сплевывая на пол, Нюрина, ворочалась под тулупом, вздыхала.

— Не спит! — с озорной веселостью шепнул Игнат в Анисьино ухо, будто намекал ей на что-то само собой понятное.

— Ну, будя, будя! — ответила та нарочно громко и отвернулась к простенку, на котором уже проступали в синеватой предрассветной жижице жирные клопиные мазки.

III.



На утро Нюрина выходила с лимонным лицом бессонницы, с потемневшими глазами, под которыми желтым колесом залегали круги. Одеваясь, она швырялась по избе сапогами, портфеликом, независимо насвистывала, оставляла на окошке невыпитое молоко. Игнат с рассветом уезжал в поле, Анисья отбирала картофель, сторожила корову, чтобы не пропустить время течки, как случилось это в прошлом году. Женщины встречались в избе или на дворе. — Нюрина надвигала кепку пониже на глаза, шла в сельсовет, Анисья провожала уверенную ее спину бабьим, понимающим взглядом.

С избой-читальней не ладилось: то прислали не те книги, спутали посылку с кооперативом. — Нюрина запальчиво горячилась в сельсовете, требуя лошадь, чтобы ехать в город, а мужики лошадь не давали: где ж в деревне найдешь лошадь по весне? А пришли книги — заболела учительница. Ночевать приходила Нюрина поздно, под самую ночь, перестала ужинать, молча проходила в свою половину, там долго сидела за столом с лампешкой, составляя какие-то отчеты, или, лежа и куря, шумно вздыхала в темноте, круто ворочалась под нестерпимыми ожогами злых по весне клопов, вдруг замолкала. Игнат совсем перестал считаться с жиличкой, как будто ее и не было. Дни попрежнему стояли высокие и чистые, с сильными, обещавшими тепло и удачливую весну росами, с туманами, что набирались в лощинах и по канавкам вблизи просохших, закурившихся вихорками пыли дорог.

В ночь под воскресенье в сарае с настойчивой требовательностью замычала корова. Анисья оттолкнула Игната: «Постой, постой, родимец тебе прошиби!», задрожавшими от жадного волнения руками накинула юбку через голову, босая побежала на двор. Игнат, сытый после ужина, после ласки жены, натужливо ждал, слушал, как Анисья разговаривала с коровой, с притворной суровостью прикрикивала на нее, но в крике жены была радость, и Игнат понимал, в чем дело. За окном еще стояла ночь, только что пропели первые петухи, и звезды мерцали очень ярко, и по блеску их Игнат понял, что к утру погода может испортиться, и корову

надо гнать сейчас. Он соскочил с печи и — как всегда в волнении — стал выкручивать цыгарку. От шума в чистой половине шевельнулась Нюрина.

— Игнат! — позвал из темноты запыхавшийся Анисьин голос.

— Ты, что ль, пойдешь, ай мне обернуться? — спросил Игнат, нашаривая спички.

— Я, я... ишь ты какое дело!..

Анисья зажгла лампу, бестолково заметалась по избе, ища платок, сапоги, теплую кофточку. Игнат сидел на лавке у стола, дожидаясь, пока жена соберется, и, понимая, что жена волнуется, и желая поддержать ее в этом волнении, заговорил о том, что на пункт, кажись, пригнали холмогорского быка, лучше, если покрыть корову холмогорским, да вот, говорят, на холмогорского надоть записаться в черед, а разве такое дело устережешь? Когда Анисья, наконец, собралась, оба вышли на двор — баба придерживала мигавшую под ветром лампу, Игнат обвязывал рога корове веревкой — и корова косила на него большим заслезившимся от света глазом.

— Ну, что, дуреха! — ласково говорил Игнат, похлопывая корову по мягкой вспотевшей шее. — Дождалась своего сроку...

И когда, потянув за веревку с осторожностью, словно боясь повредить, Анисья вывела корову на улицу, Игнат поглядел вслед жене с неожиданной нежностью, думая о том, что все споро и отлично идет в его хозяйстве в эту весну: лошадь жереба, будет с приплодом корова, и самое отличное бы теперь дело — понести сына бабе, альбо даже дочь. Раздумавшись, Игнат долго стоял на дворе, слушал ночь, — опять в ночи родились тысячи тревожных, но жадных и торжествующих звуков, и казалось, что ничто не спит, ничто не может спать в эти неиссякаемые сроки, когда земля зарождает новую жизнь...

IV.

Войдя в избу, Игнат поставил на стол притушенную лампу, присел возле окна, думая о том, что, пожалуй, зря отпустил в ночь бабу, вернее б итти самому,— хорошо, как догадается баба пойти по большаку, а не через плотину, — вода на реке только что прошла, и расшатанный половодьем мост еще не успели укрепить. И от того, что баба (как всегда по весне) была особенно желанной, Игнат задумался о бабьей ее судьбе, и от этой непривычной мысли ему стало чудно, жалко бабу хорошей человеческой жалостью.

— Доля тоже не легкая! — сказал Игнат вслух, забывая, что в избе не один. Он не знал, что ж ему теперь собственно делать: спать не хотелось, душная весенняя тишина наливала избу как вода в половодье, в этой тишине собственные мысли ворочались как мыши...

— Игнат Кузьмич! — позвал голос Нюриной.

— Айюшки! — обрадовавшись живому голосу, вскричал Игнат. — Ай не спите, товарищ Нюрина?

— Спичек у вас нет? Спичек давеча не купила...

— Отчего не быть спичкам? — сказал Игнат, нашаривая спички на столе.

— Дайте, пожалуйста!— мягко, как бы стелясь в темноте, заговорил опять голос Нюриной. — Да вы не бойтесь — входите! Ночью все одно не видать...

— Да мы не боимся... — усмехнулся Игнат, входя в чистую половину и наощупь подвигаясь к лавке, где под светом звезд, нависавших в окошко, чуть приметно белело лицо Нюриной. — Мы не боимся, — повторил Игнат, протягивая руку. — Извольте спички...

Нюрина взяла спички, ухватилась за пальцы Игната и как бы задержала их, иль, может быть, то Игнату показалось в темноте.

— Свернуть, товарищ Нюрина, не найдется? — спросил Игнат, сыто икнув от того, что все так хорошо складывалось в этот день.

— Как же! Как же! — заторопился женский голос, и опять Игнату показалось, что пальцы, передавая ему кисет, тронули его умышленно. — Да вы бы присели, Игнат Кузьмич, — продолжала Нюрина, подымаясь, — последнее время и не поговорите никогда, право!

— Присесть мы не отказываемся, — сказал Игнат степенно, опять же не спится по случаю коровы... давеча,— думаю,— надоть бы самому итти... корова в этое время очень буйная бывает, может даже бросаться на человека .. как бы в ослеплении своих чувств,— добавил Игнат, очень довольный тем, что в такой складный день и слова у него излетают так складно.

— Отчего же, например, в ослеплении? — спросил женский голос приглушенно, словно говорившая прикусила губы.

— Ну, как же? Что ж тебе весна-то — обыкновенное время, что ли? Весной вся природа не в своем разуме, а на животину нападает весенница, вроде лихорадка... и кажное существо от той весенницы становится как бы не в себе. Иным девкам весенница даже в лицо бросается... Может, видала, когда веснушки, вроде как дробь на лице?..

— Да что-о-о вы? — с лукавой смешливостью воскликнула Нюрина, ударяя ладонью по Игнатовой, лежавшей на столе, руке.

— Вот вам и что вы? — продолжал Игнат, виновато прибирая со стола руку. — Взять, к примеру, глухаря... уж на что осторожная птица, а весной на току руками можно брать... опять же щука, — все больше воодушевлялся Игнат, — как, например, в половодье совьется в один клубок десять штук — глуши их поленом — им все нипочем... мужики тех оглашенных щук подштанниками ловят...

— Подштанниками, — смешливо повторила Нюрина.

— Вот-вот! — обрадовался ее догадливости Игнат. — Подштанниками и ловят...

— Игнат Кузьмич! — сказала Нюрина с дрогнувшей твердостью в голосе.

— Заведут, конечно, расструбом... В воде ни черта путного не видать... полая вода-то! — продолжал в восхищении Игнат, не слышав слов

Нюриной. — И время, конечно, весеннее, чтоб щуке биться... природа вое требует...

— Природа, говорите! — опять спадая с твердого тона, сказала Нюрина голосом мягким и как бы обволакивающим.

— Природа — она свое возьмет! — воскликнул Игнат. — От природы податься некуда... а в прошлом годе по весне как запруде сходить, полой-то воде...

— Игнат Кузьмич! — сказала жиличка с той же твердостью в голосе, кладя руку на прямые пальцы Игната.

— Ожгетесь! — вскричал Игнат, отводя руку с цыгаркой. И Нюрина действительно обожгла руку.

Вскинув пальцы ко рту, она стала дуть на них, заговорила с досадой:

— Вот вы про природу говорите... а для человека природа свое берет, иль по-вашему для человека другая статья?.. Как вы про человека думаете? Ну, скажем, про мужчину или — все одно — про женщину.

— Конечно, и для человека... — неуверенно начал Игнат, не понимая, куда жиличка метит своим вопросом, и от того настораживаясь.

— Ну, вот... — перебила его Нюрина, радуясь, что он согласен ней, — мы с вами молодые люди, живем сознательно, не старики какие-нибудь...

— Это конечно...

— Вот именно... — настаивала Нюрина, и голос ее вдруг стал оседать, переходить в колеблющийся шопот.— Оба природу понимаем сознательно и остаемся ночью в одной избе... Женщина я молодая...

— Это действительно, — покорно согласился Игнат, чувствуя, что рука жилички опять налегла на его руку и тянет к себе. Сейчас в приглядевшейся темноте глаза ее горели влажно и жадно, как давеча горели глаза коровы.

— Ну! — горячим шопотом сказала Нюрина, нагибаясь к самому плечу Игната.

Тогда Игнат понял. Но от того, что с вечера он спал с Анисьей, и нем уже не было мужской силы, или от того, что за свою жизнь он привык, чтоб желание сказывалось вслух им, а баба подчинилась ему — он растерялся. И первое, что шевельнулось, было ощущение обиды, что первой в таком деле была она, баба, а он, Игнат, был вторым. И еще было то, его не понимал Игнат, но что он чувствовал в засвинцовевших своих ногах и в комке, наплывавшем из темноты к горлу: гадливость от несопряженного желания, от того, что был сыт дарами жизни до икоты, и уже не мог быть любовником.

Игнат отодвинулся от лавки, сказал с обиженным смешком:

— Вот оно что!

Лицо Нюриной стало темным, глаза потухли, как бы провалились.

— Да как же это? — неуверенно спросил Игнат, теряясь от неожиданности такого положения. — Как же это надумалось тебе такое?.. Ай меня жена нет! — и, высказав это, вдруг почувствовал, что нашел

настоящее, что и надо было сказать в первую очередь. — Ай у меня жены нет! — повторил он погромче, рассматривая темное лицо Нюриной с тем смешанным чувством любопытства, гадливости и сознания собственного достоинства, с каким рассматривал, бывало, в госпитале сиделок и сестер, про которых наверное знал, что они «балуют с кем попало»...

— Нет, ты подумай только! — радуясь, что нашел крепкую опорную точку и от того впадая в наставительный тон, продолжал Игнат. — Что ж померещилось, а?.. Да как придвиделось тебе такое! — воскликнул он в восторге.

— Уйди! — тихо попросила женщина.

— Да разве я холостой какой-нибудь человек, — не слушая ее, продолжал Игнат, все разгораясь от непонятной обиды, от ощущения своей правоты, от сознания, что сейчас он посчитается с ней и за то, что жила три недели, и за то, что в мужских делах его учила, а оказалась обыкновенная баба, — ну, будь я без стержня, холостой человек...

— Уйти! — бешено вскрикнула женщина, и когда, оступаясь под этим криком, и под нестерпимым огнем глаз, блеснувших у самого лица, Игнат подался к дверям, женщина сказала раздельным, очень печальным шопотом: — Дурак!

V.

Игнат не спал до рассвета, — все вспоминал подробности необыкновенного происшествия, посмеивался в ладонь, чтоб не слыхала жиличка. Он лежал на печи, выкручивал цыгарки одну за другой, плевал на пол, то ли от исконного мужского презрения к отвергнутой женщине, то ли от того, что набиралась во рту табачная горечь. В чистой половине было тихо, за стеной падала с крыши весенняя настойчивая капель, какие-то пролетные птицы обронили в мутное, засветившееся рассветом окно торжествующий весенний крик.

И когда под утро стала заливать веки неодолимая передрассветная дрема, Игнат услышал тоненький обиженный плач и по плачу догадался, что никак не миновать жиличке завтра съезжать к учительнице. Этой веселой пришедшей напоследок мысли Игнат улыбнулся и так и заснул с широкой, сытой улыбкой...

Подпоручик Киже.

(Рассказ).

Юрий Тынянов.

1.

Знаменитый этнограф и писатель Владимир Даль любил русский ык так, как может только любить его вконец обруселый датчанин. Он только собрал все русские слова в свой знаменитый словарь, но и вымал много новых, которые казались ему наиболее русскими. Словарь о напоминает огромную коллекцию музыкальных инструментов, секрет ры на которых нынче уже неизвестен. В «привеске» к словарю он опубковал, как известно, и многое из языка офеней и ходебщиков, который азался предтечей и основой современной блатной музыки, языка ареантов. Он записывал также выкрики уличных торговцев и разносчиков, в этих несовершенных записях есть кратковременная и поэтому подлиння жизнь.

Он относился к словам, к пословицам и выкрикам, как к любопытм анекдотам. Но анекдоты он не записывал, хотя уже в упомянутом ивеске чувствуется вкус собирателя к анекдотам.

Но все же исторические анекдоты Даль только рассказывал в кругу акомых и никогда не ручался за достоверность.

Жаль, что знаменитый коллекционер так поступал.

В записках одного ничем не интересного, чиновного современника ля сохранился рассказанный им анекдот из времени императора Павла виде двух строк. Между тем записи Карабанова, Александра Михайлоча Тургенева, сенатора Лубяновского и других враждебных свидетелей о времени дают возможность думать, что двухстрочный анекдот, расзанный Далем (или, вернее, так неумно записанный важным, чванным лупым чиновником мемуаристом), дошел до него, как слово из той охи. Это слово более не употреблялось, и потому казалось удивиьным, даже невозможным, но на самом деле было очень обыкновенным о время.

В основу его легли такие события.

2.

Император Павел дремал у открытого окна. В послеобеденный ча когда пища медленно борется с телом, были запрещены какие-либо бе покойства. Он дремал, сидя на высоком кресле, заставленный сзади с боков стеклянною ширмою. Павлу Петровичу снился обычный посл обеденный сон.

Он сидел в Гатчине, в своем стриженом садике, и округлый купид в углу смотрел на него, как он обедал с семьей. Потом издали пошел скри Он шел по ухабам, однообразно и подпрыгивая. Павел Петрович увид вдали треуголку, конский скок, оглобли одноколки, пыль. Он спрятал под стол, так как треуголка была — фельдъегерь. За ним скакали из П тербурга.

— Nous sommes perdus!.. — закричал он хрипло жене из-под стол чтобы она тоже спряталась.

Под столом не хватало воздуха, и скрип уже был там, одноколк оглоблями лезла на него.

Фельдъегерь заглянул под стол, нашел там Павла Петровича и ск зал ему:

— Ваше величество. Ее величество матушка ваша скончалась.

Но как только Павел Петрович стал вылезать из-под стола, фельд егерь щелкнул его по лбу и крикнул:

— Караул!

Павел Петрович отмахнулся и поймал муху.

Так он сидел, выкатив серые глаза в окно Павловского дворца задыхаясь от пищи и тоски, с жужжащей мухой в руке, и прислу шивался.

Кто-то кричал под окном караул.

3.

В канцелярии Измайловского полка военный писарь был сосла в Сибирь, по наказании.

Новый писарь, молодой еще мальчик, сидел за столом и писал. Ег рука дрожала, потому что он запоздал.

Нужно было кончить перепиской приказ по полку ровно к 6 часам, для того чтобы дежурный адъютант отвез его во дворец, и там адъютант его величества, присоединив приказ к другим таким же, представил императору в 9. Опоздание было преступлением. Полковой писарь встал раньше времени, но испортил приказ, и теперь делал другой список. В первом списке он сделал две ошибки: поручика Синюхаева написал умершим, так как Синюхаев шел сразу же после умершего майора Соколова, и допустил нелепое написание: вместо «Подпоручики же Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются» написал: «Подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются». Когда он писал слово: «Подпоручики», вошел офицер, и он

ытянулся перед ним, остановясь на к, а потом, сев снова за приказ, на-утал и написал: «Подпоручик Киже».

Он знал, что, если к шести часам приказ не доспеет, адъютант крик-ет: «взять», и его возьмут. Поэтому его рука не шла, он писал медленнее медленнее, и вдруг брызнул большую, красивую как фонтан, кляксу а приказ.

Оставалось всего десять минут.

Откинувшись назад, писарь посмотрел на часы, как на живого чело-эка, потом пальцами, как бы отделенными от остального тела и ходив-ими по своей воле, он стал рыться в бумагах за чистым листом, хотя десь чистых листов вовсе не было, а они лежали в шкапу, в большом скурате сложенные в стопку.

Но так, уже в отчаянии и только для последнего приличия перед амим собою, роясь, он вторично остолбенел.

Другая, и не менее важная, бумага была написана тоже непра-ильно.

Согласно императорского предложения за № 940 о неупотреблении юв в донесениях, следовало не употреблять слова «обозреть», но: «ос-отреть», не употреблять слова «выполнить», но: «исполнить», не писать тража», но: «караул» и ни в коем случае не писать «отряд», но: «дета-емент».

Для гражданских установлений было еще прибавлено, чтобы не пи-ть «степень», но: «класс», и не «общество», но: «собрание», а вместо «гра-данин» употреблять: «купец или мещанин».

Но это уже было написано мелким почерком, внизу распоряжения 940, висящего тут же на стене, перед глазами писаря, и этого он не тал, но о словах «обозреть» и прочая он выучил в первый же день и рошо помнил.

В бумаге же, приготовленной для подписания командиру полка и правляемой барону Аракчееву, было написано:

> «Обозрев, по поручению вашего превосходительства, отряды стражи, собственно для несения пригородной при Санктпетербурге и выездной служб назначенные, донесть честь имею, что все сие выполнено»...

И это еще было не все.

Первая строка им же самим давеча переписанного донесения изоб-жена была:

«Ваше Превосходительство Милостивый Государь!»

Для малого ребенка уже было небезызвестно, что обращение, в одну юку написанное, означало приказание, а в донесениях лица подчинен-го, и в особенности такому лицу, как барон Аракчеев, можно было пи-ь только в двух строках:

«Ваше Превосходительство
Милостивый Государь»,

что означало подчинение и вежливость.

И если за «обозрев» и прочая могло быть ему поставлено в вину, что он не заметил и во-время не обратил внимания, то с «Милостивым Государем» напутал при переписке именно он сам.

И, уж более не сознавая, что делает, писарь сел исправить эту бумагу. Переписывая ее, он мгновенно позабыл о приказе, хотя тот был много спешнее.

Когда же от адъютанта прибыл за приказом вестовой, писарь посмотрел на часы и на вестового и вдруг протянул ему лист с умершим поручиком Синюхаевым.

Потом сел и, все еще дрожа, писал: «превосходительства, деташементы, караула».

4.

Ровно в 9 часов прозвонил во дворце колокольчик, император дернул за шнурок. Адъютант его величества ровно в 9 часов вошел с обычным докладом к Павлу Петровичу. Павел Петрович сидел во вчерашнем положении, у окна, заставленный стеклянною ширмою.

Между тем он не спал, не дремал, и выражение его лица было также другое.

Адъютант знал, как и все во дворце, что император гневен. Но он равным образом знал, что гнев ищет причин, и чем более их находит, тем более воспламеняется. Итак, доклад ни в каком случае не мог быть пропущен.

Он вытянулся перед стеклянной ширмой и императорской спиной и отрапортовал.

Павел Петрович не повернулся к адъютанту. Он тяжело и редко дышал.

Весь вчерашний день не могли доискаться, кто кричал под его окном караул, и ночью он два раза просыпался в тоске.

«Караул!» был крик нелепый, и вначале у Павла Петровича был гнев небольшой, как у всякого, кто видит дурной сон и которому помешали досмотреть его до конца. Потому что благополучный конец сна все же означает благополучие. Потом было любопытство: кто и зачем кричал «караул!» у самого окна. Но когда во всем дворце, метавшемся в большом страхе, не могли сыскать того человека, гнев стал большой. Дело оборачивалось так: в самом дворце, в послеобеденное время, человек мог причинить беспокойство и остаться неразысканным. Притом же никто не мог знать, с какою целью было крикнуто: «караул!». Может быть, это было предостережение раскаявшегося злоумыслителя? Или, может быть, там, в кустах, уже трижды обысканных, сунули человеку глухой кляп в глотку и удушили его. Он точно провалился сквозь землю. Следовало... Но что следовало, если тот человек не разыскан?

Следовало увеличить караулы. И не только здесь.

Павел Петрович, не оборачиваясь, смотрел на четырехугольные зеэные кусты, такие же почти, как в Трианоне. Их строил Бренна. И однажже неизвестно, кто в них был.

И, не глядя на адъютанта, он закинул назад правую руку. Адъютант ıал, что это означает: во времена большого гнева император не оборачиılся. Он ловко всунул в руку приказ по Измайловскому полку, и Павел етрович стал внимательно читать. Потом рука опять откинулась назад, адъютант, изловчившись, без шума поднял перо с рабочего столика, ıмакнул в чернильницу, стряхнул и легко положил на руку, замарав бя чернилами. Все у него заняло мгновение. Вскоре подписанный лист ıлетел в адъютанта. Так адъютант стал подавать листы, и подписанные ıи просто читанные листы летели один за другим в адъютанта. Он стал ке привыкать к этому делу и надеялся, что так сойдет, когда император скочил с возвышенного кресла.

Маленькими шагами он подбежал к адъютанту. Лицо его было крас)е, и глаза темны.

Он приблизился вплотную и понюхал адъютанта. Так делал импера-р, когда бывал подозрителен.

Потом он двумя пальцами крепко ухватил адъютанта за рукав и ипнул.

Адъютант стоял прямо и держал в руке листы.

— Службы не знаешь, сударь, — сипло сказал Павел, — сзади ходишь.

Он щипнул его еще разок.

— Потемкинский дух вышибу! — пай! (ступай!)

И адъютант задом удалился в дверь.

Как только дверь неслышно затворилась, Павел Петрович быстро змотал платок вокруг шеи и стал тихонько раздирать на груди рубашку, т его перекосился и губы задрожали.

Начинался великий гнев.

5.

Приказ по Измайловскому полку, подписанный императором, был сердито исправлен. Слова: «Подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Азанэв назначаются» император исправил: после первого к вставил преогромй ер, несколько следующих букв похерил и сверху надписал: «Подручика Киже в караул». Остальное не встретило возражений.

Приказ был передан.

Когда командир его получил, он долго вспоминал, кто таков подпочик со странной фамилией Киже. Он тотчас взял список всех офицеров майловского полка, но офицер с такой фамилией не значился. Не было ı даже и в рядовых списках. Непонятно, что это было такое. Во всем ре понимал это верно один писарь, но его никто не спросил, а он никому сказал. Однакоже приказ императора должен был быть исполнен.

И все же он не мог быть исполнен, потому что нигде в полку не было подпоручика Киже.

Командир подумал, не обратиться ли к барону Аракчееву. Но тотчас махнул рукой. Барон Аракчеев проживал в Гатчине, да и исход был сомнителен.

А как всегда в беде было принято бросаться к родне, то командир быстро счелся общей родней с адъютантом его величества Саблуковым и поскакал в Павловск.

В Павловске было большое смятение, и адъютант сначала вовсе не хотел принять командира.

Потом он брезгливо выслушал его и уже хотел сказать ему чорта, и без того дел довольно, как вдруг насупился, метнул взгляд на командира, и взгляд этот внезапно изменился: он стал азартным.

Адъютант медленно сказал:

— Императору не доносить. Считать подпоручика Киже в живых. Назначить в караул.

Не глядя на обмякшего командира, он бросил его на произвол судеб, подтянулся и зашагал прочь.

6.

Поручик Синюхаев был захудалый поручик. Отец его был лекарь при бароне Аракчееве, и барон, в награждение за пилюли, восстановившие его силы, тишком сунул лекарского сына в полк. Прямолинейный и неумный вид сына понравился барону. В полку он ни с кем не был на короткой ноге, но и не бегал от товарищей. Он был неразговорчив, любил табак, не махался с женщинами и, что было не вовсе бравым офицерским делом, с удовольствием играл на «гобое любви».

Амуниция его была всегда начищена.

Когда читался приказ по полку, Синюхаев стоял и, как обычно, вытянувшись в струнку, ни о чем не думал.

Внезапно он услышал свое имя и дрогнул ушами, как то случается с задумавшимися лошадьми от неожиданного кнута.

«Поручика Синюхаева, как умершего горячкою, считать по службе выбывшим».

Тут случилось, что командир, читавший приказ, невольно посмотрел на то место, где всегда стоял Синюхаев, и рука его с бумажным листом опустилась.

Синюхаев стоял, как всегда, на своем месте. Однако вскоре командир снова стал читать приказ, — правда, уже не столь отчетливо, — прочел о Стивене, Азанчееве, Киже и дочитал до конца. Начался развод, и Синюхаеву должно было вместе со всеми двигаться в фигурных упражнениях. Но вместо того он остался стоять.

Он привык внимать словам приказов, как особым словам, не похожим на человеческую речь. Они имели не смысл, не значение, а собственную

кизнь и власть. Дело было не в том, исполнен приказ или не исполнен. Іриказ как-то изменял полки, улицы и людей, если даже его и не ис-:олняли.

Когда он услышал слова приказа, — он сначала остался стоять на ıесте, как недослышавший человек. Он тянулся за словами. Потом он ерестал сомневаться. Это о нем читали. И когда двинулась его колонна, н начал сомневаться, жив ли он.

Ощущая руку, лежащую на эфесе, некоторое стеснение от туго стяутых портупейных ремней, тяжесть сегодня утром насаленной косы, н как будто и был жив, но вместе с тем он знал, что здесь что-то неладно, то-то неисправимо испорчено. Он ни разу не подумал, что в приказе ошиба. Напротив, ему показалось, что он по ошибке, по оплошности жив. [о небрежности он чего-то не заметил и не сообщил никому.

Во всяком случае, он портил все фигуры развода, стоя столбиком а площади. Он даже не подумал шелохнуться.

Как только кончился развод, командир налетел на поручика. Он ыл красен. Было настоящим счастьем, что на разводе не было по случаю :аркого времени императора, отдыхавшего в Павловске. Командир хоэл рявкнуть: на гауптвахту! — но для исхода гнева нужен был более аскатистый звук, и он уже хотел пустить на рр: под аррест! — как вдруг от его замкнулся, словно командир случайно поймал им муху. И так он гоял перед поручиком Синюхаевым минуты две.

Потом, отшатнувшись, как от зачумленного, он пошел своим путем.

Он вспомнил, что поручик Синюхаев, как умерший, отчислен от пужбы, и сдержался, потому что не знал, как говорить с таким челоеком.

7.

Павел Петрович ходил по своей комнате и изредка останавливался.

Он прислушивался.

С тех пор, как император в пыльных сапогах и дорожном плаще проэемел шпорами сквозь залу, в которой еще хрипела его мать, и хлопнул зерью, было наблюдено: большой гнев становился великим гневом, велиий гнев кончался через дня два или страхом, или умилением.

Сады Павловска и химеры по лестницам делал дикий Бренна, а плаоны и стены дворца делал Камерон, любитель нежных красок, которые рут на глазах у всех. С одной стороны — разинутые пасти вздыбленных человекообразных львов, с другой — изящное чувство.

Кроме того в дворцовом зале Павловска висели два фонаря, подаэк незадолго перед тем обезглавленного Людовика XVI. Этот подарок элучил он во Франции, когда еще странствовал под именем князя Сеэрного.

Фонари были высокой работы, и стены были таковы, что смягıли свет.

Но Павел Петрович избегал зажигать их.

Также часы, подарок Марии-Антуанетты, стояли на яшмовом столе. Часовая стрелка была золотым Сатурном с длинною косой, а минутная — амуром со стрелою.

Когда часы били полдень и полночь, Сатурн заслонял косой стрелу амура. Это значило, что время побеждает любовь.

Как бы то ни было, часы не заводились.

Итак, в саду был Бренна, по стенам Камерон, а над головой в подпотолочной пустоте качался фонарь Людовика XVI.

Во время великого гнева Павел Петрович приобретал даже некоторое наружное сходство с одним из львов Бренна.

Тогда как с неба при ясной погоде рушились палки на целые полки, темною ночью при свете факелов рубили кому-то голову на Дону, маршировали пешком в Сибирь случайные солдаты, писаря, поручики, генералы и генерал-губернаторы.

Похитительница престола, его мать, была мертва. Потемкинский дух он вышиб, как некогда Иван Четвертый вышиб боярский. Он разметал Потемкинские кости и сравнял его могилу. Он уничтожил самый вкус матери. Вкус похитительницы! Золото, комнаты, выложенные индийским шелком, комнаты, выложенные китайской посудой, с голландскими печами — и комната из синего стекла — т а б а к е р к а! Балаган! Римские и греческие медали, которыми она хвасталась! Он велел употребить их на позолоту своего замка.

И все же дух остался, привкус остался.

Им пахло кругом, и поэтому, может быть, Павел Петрович имел привычку принюхиваться к собеседникам.

А над головой качался еще французский висельник, фонарь.

И наступал страх. Императору не хватало воздуха. Он не боялся ни жены, ни старших сыновей, из которых каждый, вспомнив пример веселой бабушки и свекрови, мог его заколоть вилкою и сесть на престол.

Он не боялся подозрительно веселых министров и подозрительно мрачных генералов. Он не боялся никого из той пятидесятимиллионной черни, которая сидела по кочкам, болотам, пескам и полям его империи и которую он никак не мог себе представить. Он не боялся их, взятых в отдельности. Вместе же это было море, и он тонул в нем.

И он приказал окопать свой Петербургский замок рвами и форпостами и вздернуть на цепи подъемный мост. Но и цепи были неверны — их охраняли часовые.

И когда великий гнев становился великим страхом, начинала работать канцелярия криминальных дел, и кого-то подвешивали за руки, и под кем-то проваливался пол, а внизу его ждали заплечные мастера.

Поэтому, когда из императорской комнаты слышались то маленькие, то растянутые, внезапно спотыкливые шаги, все переглядывались с тоской и редко кто улыбался.

В комнате великий страх.

Император бродит.

8.

Поручик Синюхаев стоял на том самом месте, где налетел на него аспекатель и не распек и так внезапно остановился командир.

Вокруг него никого не было.

Обычно после развода он расправлялся, сбавлял выправку, руки азмякали, и он шел в казармы вольно. Каждый член становился вольным: н становился партикулярным.

Дома, в офицерской казарме, поручик расстегивал сюртук и играл а гобое любви. Потом он набивал трубку и смотрел в окно. Он видел больюй кус вырубленного Летнего сада, где теперь была пустыня, называеая Троицыным лугом. На поле не было никакого разнообразия, никакой елени, но на песке сохранялись следы коней и солдат. Куренье нравиось ему всеми статьями: набивкой, придавкой, затяжкой и дымом. С куеньем человек никогда не пропадет. Этого было достаточно, так как вское наступал вечер, и он уходил к приятелям или просто погулять.

Он любил вежливость простонародья. Однажды мещанин сказал 1у, когда он чихнул: «Спица в нос невелика — с перст».

Перед сном он садился играть со своим денщиком в модную игру — арты. Он выучил играть денщика в контру и в памфил, и когда денщик оигрывал, поручик хлопал его колодой по носу, а когда он сам проигрыл, то не хлопал денщика. Наконец, он осматривал начищенную денщиом амуницию, сам завивал, заплетал и салил косу и ложился спать.

Но теперь он не расправился, мышцы его были надуты, и дыханья ыло неслышно у поручиковых сомкнутых губ. Он стал рассматривать зводную площадь, и она оказалась незнакомой ему. По крайней мере, никогда не замечал раньше карнизов на окнах красного казенного ания и мутных стекол.

Круглые булыжники мостовой были не похожи один на другой, как зные братья.

В большом порядке, в сером аккурате лежал солдатский С.-Петерpr, с пустынями, реками и мутными глазами мостовой, вовсе ему не акомый город.

Тогда он понял, что умер.

9.

Павел Петрович заслышал шаги адъютанта, кошкой прокрался к еслам, стоявшим за стеклянною ширмой и сел в них так твердо, как įто сидел в них все время.

Он знал шаги приближенных. Сидя задом к ним, он отличал шарканье еренных, подпрыгивание льстивых и легкие, воздушные шаги устраннных. Прямых шагов он не слыхал.

На этот раз адъютант шел уверенно, он подшаркивал. Павел Петрон полуобернул голову.

Адъютант зашел до середины ширм и склонил голову.

— Ваше величество. Караул кричал подпоручик Киже.

— Кто таков?

Страх становился легче, он получал фамилию.

Этого вопроса адъютант не ждал и слегка отступил.

— Подпоручик, который назначен в караульную службу, ваше величество.

— Почему кричал? — император притопнул ногой, — слушаю, сударь.

Адъютант помолчал.

— По недоразумению, — лепетнул он.

— Произвесть дознание, и, бив плетьми, пешком в Сибирь!

10.

Так началась жизнь подпоручика Киже.

Когда писарь переписывал приказ, подпоручик Киже был опиской, ошибкой, не более. Ее могли не заметить, и она потонула бы в море бумаг, и так как приказ был ничем не любопытен, то вряд ли позднейшие историки даже стали бы ее воспроизводить.

Придирчивый глаз Павла Петровича ее извлек, и твердым знаком дал ей сомнительную жизнь — описка стала подпоручиком, без лица, но с фамилией.

Потом, в прерывистых мыслях адъютанта, у него наметилось и лицо, правда, едва брезжущее, как во сне. Это он крикнул караул под дворцовым окном.

Теперь это лицо отвердело и вытянулось: подпоручик Киже оказался злоумышленником, который был осужден на дыбу или в лучшем случае кобылу — и Сибирь. Это уже была действительность.

До сих пор он был беспокойством писаря, растерянностью командира и находчивостью адъютанта.

Отныне кобыла, плети и путешествие в Сибирь были его собственным, личным делом.

Приказ должен был быть выполнен. Подпоручик Киже должен был выйти из военной инстанции, перейти в юстицкую инстанцию, а оттуда пойти по зеленой дороге прямо в Сибирь.

И так сделалось.

В том полку, где он числился, командир таким громким голосом, который бывает только у совсем потерянного человека, выкликнул перед строем имя подпоручика Киже.

В стороне стояла уже наготове кобыла, и двое гвардейцев захлестнули ее ремнями в головах и по ногам. Двое гвардейцев, с обеих сторон, хлестали семихвостками по гладкому дереву, третий считал, а полк смотрел.

Так как дерево было отполировано уже ранее тысячами животов, то кобыла казалась не вовсе пустою. Хотя на ней никого не было, а все же

как будто кто-то и был. Солдаты, нахмуря брови, смотрели на молчаливую кобылу, а командир к концу экзекуции покраснел и его ноздри раздулись, как всегда.

Потом ремни расхлестнули, и чьи-то плечи как-будто освободились на кобыле. Двое гвардейцев подошли к ней и подождали команды.

Они пошли по улице, удаляясь от полка ровным шагом, ружья на плечо, и изредка посматривали косвенным взглядом, не друг на друга, но на место, заключенное между ними.

В строю стоял молодой солдат, его недавно забрили. Он смотрел на экзекуцию с интересом. Он думал, что все происходящее — дело обыкновенное и часто совершается на военной службе.

Но вечером он вдруг заворочался на нарах и тихонько спросил у старого гвардейца, лежавшего рядом:

— Дяденька, а кто у нас императором?

— Павел Петрович, дура, — ответил испуганный старик.

— А ты его видал?

— Видел, — буркнул старик, — и ты увидишь.

Они замолчали. Но старый солдат не мог заснуть. Он ворочался. Прошло минут десять.

— А ты почто спрашиваешь? — вдруг спросил старик молодого.

— А я не знаю, — охотно ответил молодой, — говорят, говорят: император, а кто такой неизвестно. Может, только говорят...

— Дура, — сказал старик и покосился по сторонам, — молчи, дура деревенская.

Прошло еще десять минут. В казарме было темно и тихо.

— Он есть, — сказал вдруг старик на ухо молодому, — только он подмененный.

11.

Поручик Синюхаев внимательно посмотрел на комнату, в которой он жил до сего дня.

Комната была просторная, с низкими потолками, с портретом человека средних лет, в очках и при небольшой косичке. Это был отец поручика, лекарь Синюхаев.

Он жил в Гатчине, но поручик, глядя на портрет, не почувствовал особой уверенности в этом. Может быть, живет, а может — и нет. Он уклонился от прямого ответа.

Потом он посмотрел на вещи, принадлежавшие поручику Синюхаеву: гобой любви в деревянном футляре, щипцы для завивки, баночку с пудрой, песочницу, и эти вещи посмотрели на него. Он отвел от них взгляд.

Так он стоял посреди комнаты и ждал чего-то. Вряд ли он ждал денщика.

Между тем именно денщик осторожно вошел в комнату и остановился перед поручиком. Он слегка раскрыл рот и, смотря на поручика, стоял.

Вероятно, он и всегда так стоял, ожидая приказаний, но поручик, посмотрев на него, словно видел его в первый раз, быстро пошел вон и осторожно прикрыл дверь.

Смерть следовало скрывать временно, как преступление.

Всю ночь он пробродил по улицам С.-Петербурга, даже не пытаясь зайти никуда. Под утро он устал и сел наземь у какого-то дома. Он продремал несколько минут, затем внезапно вскочил и пошел, не глядя по сторонам.

Вскоре он вышел за черту города. Сонный торшрейбер у шлагбаума рассеянно записал его фамилию.

Больше он не возвращался в казармы.

12.

Адъютант был хитер и не сказал никому о подпоручике Киже и своей удаче. У него, как и у всякого, были враги. Поэтому он сказал только кой-кому, что человек, кричавший: «караул», найден.

Но это произвело странное действие на женской половине дворца.

Ко дворцу с его верхними колоннами, тонкими как пальцы, ударяющие в клавесин, построенному Камероном, Бренна пристроил с фаса два крыла, округленные как кошачьи лапы, когда кошка играет с мышенком. В одном крыле девствовала фрейлина Нелидова, со штатом.

Часто Павел Петрович, виновато минув стражу, отправлялся на это крыло, а однажды часовые видели, как император быстро выбежал оттуда, со съехавшим набок париком, и вдогонку над его головой пролетела женская туфля.

Хотя Нелидова была только фрейлиной, у нее самой были фрейлины.

И вот, когда до женского крыла дошло, что кричавший караул найден, одна из фрейлин Нелидовой упала в краткий обморок.

Она была, как и Нелидова, кудрявой и тонкой, как пастушок.

При бабке Елизавете у фрейлин стучала парча, трещали шелка и освобожденные соски испуганно появлялись из них. Такова была мода.

Амазонки, любившие мужскую одежду, бархатные морские хвосты и звезды у сосков, отошли вместе с похитительницей престола.

Теперь женщины стали пастушками с кудрявыми головами.

Итак, одна из них рухнула в краткий обморок.

Поднятая с пола своей покровительницей и пробудившись из бесчувствия, она рассказала: у нее в тот час было назначено любовное свидание с офицером. Она не могла, однако, отлучиться из верхнего этажа и вдруг, посмотрев в окно, увидела, что распаленный офицер, позабыв осторожность, а, может быть, и не зная о том, стоит у самого окна императора и посылает ей наверх знаки.

Она махнула ему рукой, сделала ужас глазами, но любовник понял это так, будто он омерзел ей, и жалобно закричал: караул!

В тот же миг, не растерявшись, она приплюснула пальцем нос и указала вниз. После этого курносого знака офицер обомлел и скрылся.

Больше она его не видала, а по быстроте любовного случая, который произошел накануне, она даже не знала его фамилии.

Теперь его обнаружили и сослали в Сибирь.

Нелидова стала думать.

Ее случай был на ущербе, и хоть она себе в этом не хотела сознаться, но ее туфля уже не могла больше летать.

С адъютантом она была холодна, и ей не хотелось обращаться к нему. Состояние императора было сомнительно. В таких случаях она обращалась теперь к одному партикулярному, но могущественному человеку, Юрию Александровичу Нелединскому-Мелецкому.

Она так и сделала и послала к нему камер-лакея с запиской.

Дюжий камер-лакей, передавая уже не впервые эти записки, всегда удивлялся мизерности могущественного человека. Мелецкий был певец и статс-секретарь. Он был певец быстрой реченьки и сладострастен к пастушкам. Вид его был самый маленький, рот сладостен, а брови мохнаты. Но он был к тому же великий хитрец и, глядя вверх на плечистого камер-лакея, сказал:

— Скажи, чтоб не было беспокойства. Пусть ждут. Все сие решится.

Но сам он немного трусил, вовсе не зная, как все это решится, и когда в дверь всунулась к нему одна из его юных пастушек, которую раньше звали Авдотьей, а теперь Селименою, он свирепо повел бровями.

Дворня Юрия Александровича состояла по большей части из юных пастушек.

13.

Часовые шли и шли.

От шлагбаума к шлагбауму, от поста к крепости, они шли прямо и с опаскою посматривали на важное пространство, шедшее между ними.

Сопровождать сосланного в Сибирь им было не впервой, но им еще никогда не случалось вести такого преступника. Когда они вышли за черту города, у них было сомнение. Не слышно было звука цепей и не нужно было подгонять прикладами. Но потом они подумали, что дело казенное и бумага при них. Они мало разговаривали, так как это было запрещено.

На первом посту смотритель посмотрел на них, как на сумасшедших, и они смутились. Но старший показал бумагу, в которой было сказано, что арестант секретный и фигуры не имеет, и смотритель захлопотал и отвел им для ночлега особую камеру в три нары. Он избегал разговаривать с ними, и так юлил чего-то, что часовые невольно почувствовали свое значение.

Ко второму — большому — посту они подошли уже уверенно, с важным молчаливым видом, и старший просто бросил бумагу на комендантский стол. И этот точно так же заюлил и захлопотал, как первый.

Понемногу они начали понимать, что сопровождают важного преступника. Они привыкли и значительно говорили между собою: «он» или «оно».

Так они зашли уже вглубь Российской империи, по той же прямой и притоптанной Владимирской дороге.

И пустое пространство, терпеливо шедшее между ними, менялось: то это был ветер, то пыль, то усталая, сбившаяся с ног жара позднего лета.

14.

Между тем, по той же Владимирской дороге полз им вдогонку от заставы к заставе, от крепости к крепости важный приказ.

Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий сказал: ждать, и в этом не ошибся.

Потому что великий страх Павла Петровича медленно, но верно переходил в жалость к самому себе, в умиление.

Император поворачивал спину звероподобным кустам Бренны и, побродив в пустоте, обращался к изящному чувству Камерона.

Он согнул в бараний рог всех губернаторов и генералов матери, он запрятал их в имения, где они отсиживались. Он должен был так сделать. И что же? Вокруг образовалась большая пустота.

Он вывесил ящик для жалоб и писем перед своим замком, потому что ведь он, а не кто другой, был отцом отечества. Сначала ящик пустовал, — и это его огорчало, потому что отечество должно разговаривать с отцом. Потом в ящике было найдено подметное письмо, в котором его называли: батька курносый и угрожали.

Он посмотрел тогда в зеркало.

— Курнос, сударики, точно курнос, — прохрипел он, и велел ящик снять.

Он предпринял путешествие по этому странному отечеству. Он загнал в Сибирь губернатора, который осмелился положить в своей губернии новые мосты. Путешествие было не маменькино: все должно было быть так, как есть, а не принаряжено. Но отечество молчало. На Волге собрались-было вокруг него мужики. Он послал парня зачерпнуть воды с середины реки, чтобы выпить чистой воды.

Он выпил эту воду и сказал сипло мужикам.

— Вот я пью вашу воду. Чего глазеете?

И вокруг стало пусто.

Больше в путешествие он не ездил, и вместо ящика поставил на каждом форпосте крепких часовых, но не знал, верны ли они, и не знал, кого нужно опасаться.

Вокруг была измена и пустота.

Он нашел секрет, как избыть их — и ввел точность и совершенное подчинение. Заработали канцелярии. Считалось, что себе он берет власть только исполнительную. Но как-то так случалось, что исполнительная

власть путала все канцелярии, и поэтому были: сомнительная измена, пустота и лукавое подчинение. Он казался сам себе случайным пловцом, воздымающим среди ярых волн пустые руки — некогда он видел такую гравюру, — случайным пловцом, которым обмолвилось море.

А между тем он был единственный после долгих лет законный самодержец.

И его тяготило желание опереться на отца, хотя бы на мертвого. Он вырыл могилу убитого вилкою немецкого недоумка, который считался его отцом — и поставил его гроб рядом с гробом похитительницы престола. Но это было сделано так, более в отместку мертвой матери, при жизни которой он жил как ежеминутно приговоренный к казни.

Да и была ли она его матерью?

Он знал что-то смутное о скандале своего рождения.

Он был человек безродный, лишенный даже мертвого отца, даже мертвой матери.

Он никогда обо всем этом не думал, и велел бы выстрелить из пушки человеком, который бы его заподозрил в таких мыслях.

Но в такие минуты ему бывали приятны даже малые шалости и китайские домики его Трианона. Он становился прямым другом натуры и желал всеобщей любви или хотя бы чьей-нибудь.

Это шло припадком, и тогда грубость считалась откровенностью, глупость — прямотой, хитрость — добротой, и денщик-турок, который ваксил его сапоги, делался графом.

Юрий Александрович всегда верхним чутьем чуял перемену.

Он выждал с неделю, а потом почуял.

Тихими, но веселыми шагами он потоптался вокруг стеклянной ширмы и вдруг рассказал императору в покрове простоты все, что знал о подпоручике Киже, за исключением, разумеется, подробности о курносом знаке.

Тут император захохотал таким лающим, таким собачьим, хриплым и прерывистым смехом, как будто он стрелял им в кого-нибудь.

Юрий Александрович обеспокоился.

Он хотел оказать приятность Нелидовой, у которой был домовым приятелем, и показать мимоходом свое значение — ибо, по немецкой пословице, ходкой тогда, umsonst ist der Tod, — даром одна смерть. Но такой хохот мог сразу вогнать Юрия Александровича во вторую роль или даже быть орудием его уничтожения.

Может быть, это сарказмы?

Но нет, император изнемог от смеха. Он протянул руку за пером, и Юрий Александрович, привстав на цыпочки, прочел вслед за императорской рукой:

> «Подпоручика Киже, в Сибирь сосланного, вернуть, назначить поручиком и на той фрейлине женить».

Написав это, император прошелся по комнате с вдохновением.

Он ударил в ладоши и запел свою любимую песню, и стал притоптывать:

Ельник, мой ельник,
Частый мой березник...

а Юрий Александрович тонким и очень тихим голосом подхватил:

Люшеньки-люли.

15.

Искусанный пес любит уходить в поле и лечиться там горькими травами.

Поручик Синюхаев шел пешком из С.-Петербурга в Гатчино. Он шел к отцу, не для того, чтобы просить помощи, а так, может быть, из желания проверить, существует ли отец в Гатчине или, может быть, не существует. На отцовский привет он ничего не ответил, посмотрел кругом и уже собрался уходить, как стесняющийся и даже жеманничающий человек.

Но лекарь, увидев изъяны в его одежде, усадил его и начал выпытывать:

— Ты проигрался или проштрафился?

— Я не живой, — вдруг сказал поручик.

Лекарь пощупал ему пульс, сказал что-то о пиявках и продолжал выпытывать.

Когда он узнал о сыновней оплошности, он взволновался, целый час писал и переписывал прошение, заставил сына его подписать и назавтра пошел к барону Аракчееву, чтобы вместе с суточным рапортом передать его. Сына он однако постеснялся держать у себя дома, а положил его в гошпиталь и написал на доске над его кроватью:

Mors occasionalis — случайная смерть.

16.

Барона Аракчеева тревожила идея государства.

Поэтому его характер мало поддавался определению, он был неуловим. Барон не был злопамятен, бывал иногда и снисходителен. При рассказе какой-нибудь печальной истории, он слезился как дитя и давал садовой девочке, обходя сад, копейку. Потом, заметив, что дорожки в саду нечисто выметены, приказывал бить девчонку розгами. По окончании же экзекуции выдавал дитяти пятачок.

Он любил чистоту, она была эмблемою его нрава. Но бывал доволен, именно, тогда, когда находил изъяны в чистоте и порядке, и, если их не оказывалось, втайне огорчался. Вместо свежего жаркого он ел всегда солонину.

Он был рассеян, как философ. И, правда, ученые немцы находили сходство в его глазах с глазами известного тогда в Германии философа

Канта: они были жидкого, неопределенного цвета и подернуты прозрачной пеленой. Но барон обиделся, когда ему кто-то сказал об этом сходстве.

Он был не только скуп, но любил и блеснуть и показать все в лучшем виде. Для этого он входил в малейшие хозяйственные подробности. Он сидел над проектами часовен, орденов, образов и обеденного стола. Его прельщали круги, эллипсы и прямые линии, которые, переплетаясь как ремни, давали постройку, способную обмануть глаз. А он любил обмануть посетителя или обмануть императора и притворялся, что не видит, когда кто ухитрялся и его обмануть. Обмануть же, конечно, его было трудно.

Он имел подробную опись вещам каждого из своих людей, начиная с камердинера и кончая поваренком, и проверял все гошпитальные описи.

При устройстве гошпиталя, в котором служил отец поручика Синюхаева, барон сам показывал, как поставить кровати, куда скамейки, где должен быть ординаторский столик и даже какого формата должно быть перо, т.-е. голое, без бородки, в виде римского calmus, тростника. За перо, очиненное с бородкою, подлекарю полагалось пять розог.

Идея римского государства тревожила барона Аракчеева.

Поэтому он рассеянно выслушал лекаря Синюхаева, и только когда тот протянул прошение, он внимательно прочел его и сделал выговор лекарю, что бумага подписана нечеткою рукой.

Лекарь извинился тем, что у сына рука дрожит.

— Ага, братец, вот видишь, — ответил барон с удовольствием, — и рука дрожит.

Потом, поглядев на лекаря, он спросил его:

— А когда приключилась смерть?

— Июня пятнадцатого, — ответил, несколько оторопев, лекарь.

— Июня пятнадцатого, — протянул барон, соображая, — июня пятнадцатого... А теперь уже семнадцатое, — сказал он вдруг в упор лекарю. — Где же был мертвец два дня?

Ухмыльнувшись на лекарский вид, он кисло заглянул в прошение и сказал:

— Вот какие неисправности. Теперь прощай, братец, поди.

17.

Певец и статс-секретарь Мелецкий действовал на-ура, он рисковал и часто выигрывал, потому что все представлял в нежном виде, подстать краскам Камерона, но выигрыши сменялись проигрышами, как в игре кадрилия.

У барона Аракчеева была другая повадка. Он не рисковал, он ни за что не ручался. Напротив, в донесениях императору он указывал на злоупотребление — вот оно — и тут же испрашивал распоряжения, какими мерами его уничтожить. Умаление, которым рисковал Мелецкий, барон сам производил над собою. Зато выигрыш вдали мелькал большой, как в игре фаро.

Он сухо донес императору, что умерший поручик Синюхаев явился в Гатчино, где и положен в гошпиталь. Причем сказался живым и подал прошение о восстановлении в списках. Каковое препровождается, и испрашивается дальнейшее распоряжение. Он хотел показать покорность этой бумагой, как рачительный приказчик, обо всем спрашивающий хозяина.

Ответ получился скоро, — и на прошение, и барону Аракчееву в особенности.

На прошении была положена резолюция:

«Бывшему поручику Синюхаеву, выключенному из списков за смертью, отказать по той же самой причине».

А барону Аракчееву была прислана записка:

«Господин барон Аракчеев,

Удивляюсь, что, будучи в чине полковника, не знаете устава, направляя прямо ко мне прошение умершего поручика Синюхаева, к тому и не вашего полка, которое надлежало сначала направить собственно в канцелярию полка, которого этот поручик, а не меня прямо обременять таковым прошением.

Впрочем, пребываю к вам благосклонный

Павел».

Не было сказано: «навсегда благосклонный».

И Аракчеев прослезился, так как смерть не любил получать выговоры. Он сам пошел в гошпиталь и велел немедля гнать умершего поручика, выдав ему белье, а офицерскую одежду, значащуюся в описи, задержать.

18.

Когда поручик Киже вернулся из Сибири, о нем уже знали многие. Это был тот самый подпоручик, который кричал «караул» под окном императора, был наказан и сослан в Сибирь, а потом помилован и сделан поручиком. Таковы были вполне определенные черты его жизни.

Командир уже не чувствовал никакого стеснения с ним и просто назначал то в караул, то на дежурства. Когда полк выступал в лагери для маневров, поручик выступал вместе с ним. Он был исправный офицер, потому что ничего дурного за ним нельзя было заметить.

Фрейлина, краткий обморок которой спас его, сначала обрадовалась, думая, что ее соединяют с ее внезапным любовником. Она поставила мушку на щеку и затянула несходившуюся шнуровку. Потом в церкви она заметила, что стоит одиноко, а над соседним пустым местом держит венец адъютант. Она хотела уже упасть снова в обморок, но так как держала глаза опущенными ниц и видела свою талию, то раздумала. Некоторая таинственность обряда, при котором жених не присутствовал, многим понравилась.

И через некоторое время у поручика Киже родился сын, по слухам похожий на него.

Император забыл о нем. У него было много дел.

Белокурая Нелидова была отставлена, и ее место заняла черноволосая Гагарина. Камерон, и швейцарские домики, и даже самый Бренна были забыты. В кирпичном аккурате лежал приземистый и солдатский С.-Петербург. Военный кликуша Суворов, которого император не любил, но терпел, потому что тот враждовал с покойным Потемкиным, был потревожен в своем деревенском уединении. Приближалась кампания, так как у императора были планы. Планов этих было много и нередко один заскакивал за другой. Павел Петрович раздался в ширину и осел. Лицо его стало кирпичного цвета. Суворов был опять послан в деревню, где и умер. Император все реже смеялся.

Перебирая полковые списки, он наткнулся раз на имя поручика Киже и назначил его капитаном, а в другой раз полковником. Поручик был исправный офицер. Потом император снова забыл о нем.

Жизнь полковника Киже протекала незаметно, и все с этим примирились. Дома у него был свой кабинет, в казарме своя комнатка и иногда туда заносили донесения и приказы, не слишком удивляясь отсутствию полковника.

Он уже командовал полком.

Лучше всего чувствовала себя в огромной двуспальной кровати фрейлина. Муж подвигался по службе, спать было удобно, сын подрастал. Иногда супружеское место полковника согревалось каким-либо поручиком, капитаном или статским лицом. Так, впрочем, бывало во многих полковничьих постелях С.-Петербурга, хозяева которых были в походах.

Однажды, когда утомившийся любовник спал, ей послышался скрип в соседней комнате. Скрип повторился. Без сомнения, это рассыхался пол. Но она мгновенно растолкала заснувшего, вытолкнула его и бросила ему в дверь одежду. Опомнившись, она смеялась над собою.

Но и это случалось во многих полковничьих домах.

19.

От мужиков пахло ветром, от баб — дымом.

Поручик Синюхаев не смотрел прямо в лицо и различал людей по запаху.

По запаху он выбирал место для ночлега, причем норовил спать под деревом, потому что под деревом дождь не так мочит.

Он шел, нигде не задерживаясь.

Он проходил чухонские деревни, как проходит реку плоский камушек, «блинок», пускаемый мальчишкой — почти не задевая. Изредка чухонка давала ему молока. Он пил стоя и уходил дальше. Ребятишки затихали и блистали белесоватыми соплями. Деревня смыкалась за ним.

Его походка мало изменилась. От ходьбы она развинтилась, но эта мякинная, развинченная, даже игрушечная, походка была все же офицерская, военная походка.

Он не разбирался в направлениях. Но эти направления можно бы определить. Уклоняясь, делая зигзаги, подобные молниям на картинках, изображающих всемирный потоп, он давал круги, и круги эти медленно сужались.

Так прошел год, пока круг сомкнулся точкой, и он вступил в С.-Петербург. Вступя, он обошел его кругом, из конца в конец.

Потом он начал кружить по городу, и ему случалось неделями делать один и тот же круг.

Шел он быстро, все тою же своей военной, развинченной походкой, при которой ноги и руки казались нарочно подвешенными.

Лавочники его ненавидели. Когда ему случалось проходить по Гостиному ряду, они покрикивали вслед:

— Приходи вчера!

— Играй назад!

О нем говорили, что он приносит неудачу, и бабы-калашницы, чтобы откупиться от его глаза, давали ему, молчаливо сговорясь, по калачу.

Мальчишки, которые во все эпохи превосходно улавливают слабые черты, бежали за ним и кричали:

— Подвешеной!

20.

В С.-Петербурге часовые у замка Павла Петровича прокричали:

— Император спит!

Этот крик повторили алебардщики на перекрестках:

— Император спит!

И от этого крика, как от ветра, одна за другой закрылись лавки, а пешеходы попрятались в дома.

Это означало вечер.

На Исаакиевской площади толпы мужиков в дерюге, согнанные на работу из деревень, потушили костры и улеглись тут же, на земле, покрывшись гуньками.

Стража с алебардами, прокричав: император спит, сама заснула. На Петропавловской крепости ходил, как часы, часовой. В одном кабаке на окраине сидел кабацкий молодец, опоясанный лыком, и пил царское вино с извозчиком.

— Батьке курносому скоро конец, — говорил извозчик, — я возил важных господ...

Подъемный мост у замка был поднят, и Павел Петрович смотрел в окно.

Он был пока безопасен, на своем острове.

Пока. Были шопоты и взгляды во дворце, которые он понимал, и на улицах встречные люди падали перед его лошадью на колени со стран-

ным выражением. Так было им заведено, но теперь люди падали в грязь не так, как всегда. Они падали слишком стремительно. Конь был высок, и он качался в седле. Он царствовал слишком быстро. Замок был недостаточно защищен, просторен. Нужно бы выбрать комнату поменьше. Павел Петрович, однако, не мог этого сделать — кой-кто тотчас бы заметил. «Нужно бы спрятаться в табакерку», — подумал император, нюхая табак. Свечи он не зажег. Не нужно наводить на след. Он стоял в темноте, в одном белье. У окна он вел счет людям. Делал перестановки, вычеркивал из памяти Беннигсена, вносил Олсуфьева.

Список не сходился.

— Тут моего счета нету...

— Аракчеев глуп, — сказал он негромко.

— ... vague incertitude, которою сей угодствует...

У подъемного моста еле был виден часовой.

— Надобно, — сказал по привычке Павел Петрович.

Он барабанил пальцами по табакерке.

— Надобно, — он припоминал и барабанил, и вдруг перестал.

Все, что надобно, уже давно сделалось, и это оказалось недостаточточным.

— Надобно заключить Александра Павловича, — он ошибся мыслью и махнул рукой.

— Надобно...

Что надобно?

Он лег, и быстро, как все делал, юркнул под одеяло.

Он заснул крепким сном.

В семь часов утра он вдруг, толчком, проснулся и вспомнил: надобно приблизить человека простого и скромного, который был бы всецело обязан ему, а всех прочих сменить.

И заснул опять.

21.

На утро Павел Петрович просматривал приказы. Полковник Киже был внезапно произведен в генералы. Это был полковник, который не клянчил имений, не лез в люди за дяденькиной спиной, не хвастун, не щелкун. Он нес службу без ропота и шума.

Павел Петрович потребовал его формулярные списки.

Он остановился над бумагой, из которой явствовало, что полковник поручиком был сослан в Сибирь за крик под императорским окном: караул. Он кое-что в тумане вспомнил и улыбнулся. Там была какая-то легкая любовная история.

Как кстати был бы теперь человек, который в нужное время крикнул бы: «караул!» под окном. Он пожаловал генералу Киже усадьбу и тысячу душ.

Вечером того дня имя генерала Киже всплыло на поверхность. О нем говорили.

Некто слышал, как император сказал графу Палену с улыбк которой давно не видали:

— Дивизией погодить его обременять. Он потребен на важнейш

Никто кроме Беннигсена не хотел сознаться, что ничего не зн о генерале. Пален щурился.

Обер-камергер Александр Львович Нарышкин вспомнил генера

— А, ну, как же, полковник Киже... Я помню. Он махался за С дуновой...

— На маневрах под Красным...

— Помнится, родственник Олсуфьеву, Федору Яковлевичу...

— Он не родственник Олсуфьеву, граф. Полковник Киже из Фр ции. Его отец был обезглавлен чернью в Тулоне.

22.

События шли быстро. Генерал Киже был вызван к император В тот же день императору донесли, что генерал опасно заболел.

Он крякнул с досадой и отвертел пуговицу у Палена, принесше весть.

Он прохрипел:

— Положить в гошпиталь, вылечить. И если, сударь, не вылечат

Императорский камер-лакей ездил в гошпиталь дважды в день спр вляться о здоровье.

В большой палате, с глухо закрытыми дверьми, суетились лекар дрожа, как больные.

К вечеру третьего дня генерал Киже скончался.

Павел Петрович уже не сердился. Он посмотрел на всех туманн взглядом и удалился к себе.

23.

Похороны генерала Киже долго не забывались С.-Петербурго и некоторые мемуаристы сохранили их подробности.

Полк шел со свернутыми знаменами. Тридцать придворных каре пустых и наполненных, покачивались сзади. Так хотел император. На п душках несли ордена.

За черным тяжелым гробом шла жена, ведя за руку ребенка.

И она плакала.

Когда процессия проходила мимо замка Павла Петровича, он ме ленно, сам-друг, выехал на мост ее смотреть и поднял обнаженну шпагу.

— У меня умирают лучшие люди.

Потом, пропустив мимо себя придворные кареты, он сказал по-ла тыни, глядя им вслед:

— Sic transit gloria mundi!

24.

Так был похоронен генерал Киже, выполнив все, что можно было в жизни, и наполненный всем этим: молодостью и любовным приключением, наказанием и ссылкою, годами службы, семьей, внезапною милостью императора и завистью придворных.

Имя его значится в «С.-Петербургском Некрополе», и некоторые историки вскользь упоминают о нем.

В «Петербургском Некрополе» не встречается имени умершего поручика Синюхаева.

Он исчез без остатка, рассыпался в прах, в мякину, словно никогда не существовал.

А Павел Петрович умер в марте, того же года, что и генерал Киже, — по официальным известиям — от апоплексии.

Неопубликованное стихотворение Александра Блока [1])

Лишь заискрится бархат небесный
И дневные крики замрут,
Выхожу я улицей тесной
На сверкающий льдистый пруд.

Лишь заслышу издали скрипки
И коньков скрежещущий ход,
Не сдержу веселой улыбки
И сбегу на серебряный лед.

Там среди толпы беспокойной
Различу я твой силуэт,
Очертанья фигуры стройной
И широкий белый берет.

Буду слушать скрипок аккорды
Под морозный говор и крик
И, любуясь на профиль гордый,
Позабудусь на миг, на миг.

Я уйду, очарованный взглядом,
И не раз, обернувшись вслед,
Посмотрю, возвращаясь садом,
Не мелькнет ли белый берет?

---

[1]) Сообщил Борис Александрович Садовский.

Спекторский [1].

С вокзала брат поплелся на урок.
Он рад был дать какой угодно откуп,
Чтоб не итти, но сонный, как сурок,
Покорно брел на Добрую Слободку.

Пятиэтажный дом был той руки,
Где люди пьют и мрут и кошки гадят,
Хиреют в кацавейках старики,
И что ни род, то сумасшедший прадед.

Про этот ад, природный лицемер,
Парадный ход умалчивал в таблицах.
Вот отчего поклонники химер
Предпочитали с улицы селиться.

По вечерам он выдувал стекло
Такой игры, что выгорали краски,
Цвели пруды, валился частокол,
И гуще шел народ по Черногрязской.

С работ пылит ватага горемык.
Садится солнце. Приработок прожит.
Им не видать конца, и в нужный миг
За ними можно прозевать Сережу.

Но вот он пулей из-за тупика,
И — за угол, и, расплывясь в гримасу,
Бултых в толпу, кого-то за бока,
И — в сторону, и — ну с ним обниматься.

Их возгласы увозят на возах,
Их обступают с гулом колокольни,
Завязывают заревом глаза
И оставляют корчиться на кольях.

---

[1]) Продолженье романа, печатавшегося в 1925 году.

В кустах калины слышат их слова.
Садовая не придает им весу.
Заря глотает пиво, и права,
Что щурится и точно смотрит пьесу.

Кирпич карминов капает с телег.
Снуют тела, и тени расторопней
Пластаются по светлой пастиле,
И тонут кони в заревом сиропе.

Затем кремень твердеет в кутерьме
Подушками похолодевшей лавы,
И пахнет, как крахмал и карамель
В стеклянной тьме колониальных лавок.

Прислушаемся все ж. «Вообрази,
Я чувствовал!» — И я. — «Ты рад?» — Безмерно!
«Но объясни — — !» — Мне завтра на призыв.
«И ты давно — — ?» — Вчерашний день из Берна.

Нечаянности, новости. — Друзьям
В один подъезд. Попутный комментарий.
«Мне на урок, а ты - то в чьи края?»
Ты — маяться, а я других мытарить.

Ответ неясен, — да и лень вникать.
Площадки гулким хором обещают
Подняться в пятый от ученика,
И без хозяев поболтать за чаем.

Кому предназначался этот пыл?
Откуда столько наигрыша в тоне?
Кто ж вызвал эти чувства? Это был
Престранный тип с душой о паре доньев.

Благодаря ее двойному дну
Он слыл еще у близких единицей.
Едва ль там знали, что на то и нуль,
Чтоб сообразно мнимости цениться.

Заклятый отрицатель, враг имен,
Случайно он не стал авторитетом:
Я знаю многих, не дельней, чем он,
Себе карьеру сделавших на этом.

Довольно серый отпрыск богачей,
Он в странности драпировал безделье.
Зачем он трогал Ницше? Низачем.
Затем, что книжки чеков шелестели.

Однако рано забегать вперед.
Условимся пока смотреть сквозь пальцы,
Как человек лавирует и врет,
Блажит и носит имя Сашки Бальца.

Хотя пожар погас на пустырях,
Не так легко расстаться с чердаками.
Закату жалко этих растерях,
Забитых круглодневным чертыханьем.

Подобно стаду с городских кладбищ,
Бредет и блеет вечера остаток,
И сердце длинным нащелком, как бич,
Все чаще огревает это стадо.

Оно давно в тоске, благодаря
Клопам и кляксам, векселям и срокам.
Ему навязан дылда в волдырях,
В суконной форме тайного порока.

Что это было? Кто его прервал?
Назад, назад! С какой он выси свергся!
Сперва ж однако... Никаких «сперва»!
Плевать ему на выродков и Ксерксов.

Ах, все равно. О, боже! Он кишит
Их россказнями, точно дом — клопами.
Все ездили, а он к Москве пришит,
Хоть и в утробе знал ее на память.

Как им везет! Наташа, Сашка... Жаль,
Но все их знанье — одного покроя.
К кому ж пойдешь? Одна ночная даль
Приемлемые заключенья строит.

Она их строит из ветвей и звезд.
Как дикий розан в ворсяных занозах,
Весь воздух дня, весь гомон, весь извоз,
Вся улица — в шипах ее прогнозов.

Вот и сейчас в окно, как сквозь надрез,
Сочится смех, и крепнет вишни привкус,
И скачет чиж, и вечер детворе
Грядущей жизни делает прививку.

Возиться с Сашкой? А за что? За то,
Что этот уж и впрямь не жнет, ни сеет?
Он вновь женат. С какой он простотой
Меняет их, как все свои затеи!

Ведь он дешевка, пестрый аграмант,
А может и того еще махровей.
Да лишь пошляк и ярок, как роман,
И не стеснен своею скучной кровью.

Холодный гул перил пошел в подъем,
И вышиб дверь и съехал вниз, как льдина.
Ударило столовым бытием.
Он очутился в гуще пестрядинной.

Курили, ржали. Чашки покачнув,
Все двинулись. Под желтой лампой плавал
И падал на пол спутавшийся шнур
Восьми теней и им сужденных фабул.

Ничем не собираясь удивлять,
Он сел в углу, и разговор иссякший
Возобновился с шумом. Самдевят,
Он никого не знал тут, кроме Сашки.

Естественно, что между чьих-то фраз
Вставлял и он свои, и им смеялись,
Но тут же забывал их каждый раз,
Далекий, как вчерашний постоялец.

Возможно, тут не одному ему
Не так легко на это все смотрелось,
И схваченная в сроки, как в кайму,
И чья-нибудь еще томилась зрелость.

Но так кипел словесный пустоцвет,
Что вышивки и клобуки растений
Объединялись в высшем естестве
Из чувства отвращенья к этой сцене.

Борис Пастернак.

Двадцатый.

(Из поэмы)

I. Закат.

К нам
Закат стекает
Полянами крыш.
Влажно засверкает
Зеленая тишь.

А потом
Красиво,
Ниже и вперед, —
Золотым разливом
Медленно пойдет.

Голубясь и тлея,
Перельется вниз
И заголубеет
Дремлющий
Карниз.

А когда —
Он розов
Задрожит светло,
Разразится
Бронзой
В столовой
Стекло.

И в одно мгновенье
Перекрасив пар,
Медным отраженьем
Вспыхнет самовар.

II. Чаишко.

Чем у вас встречают?
Вот у нас — всегда
Золотистым чаем. —
Чудная вода!

И солдату снится,
В одинокий год
Бронзовая птица
Скатертью плывет.

А за нею чашек
Выводок смешной...
Да, вот этим краше
Многим дом родной!

Что ж,
Судьбы не хватит —
Значит, получай
Теплой благодатью
Разговор и чай...

Три столетья с лишком,
— Господи спаси,
Кумом и чаишкой
Жили на Руси.

Три столетья ранен
Каждый,
Без войны,
Глупостью герани,
Нежностью жены.

Нас поит
Из крана
Радость не щедро?
— Подставляй стаканы,
Убирай ведро.

III. Дома.

И туманом
Белым
Над семейством
Пар...
...— Милый...
Не успела...
Нынче...
На базар...

Ротшильдом
Я не был,
Голод

Я прошел,
Можно и без хлеба
Очень хорошо.

Хуже, если снится
Роскошь тульских щек.
— Что ж,
Налей, сестрица,
Чашечку еще!

Нам с тобою сорок,
Кажется, вдвоем?
Мы еще не скоро,
Чорт возьми, умрем!

А судьба
Какая!
Жить,
        любить
                и петь!
Посмотри, сверкают
Небо,
      стекла,
              медь!

Посмотри, родная:
Небо, стекла, медь!
Хорошо бы, знаешь,
Под гитару
Спеть!

Эти годы
Пели,
Пели для меня
Голосом
Шрапнелей,
Языком огня.

Эти годы слышал,
Как рыдает
Твердь.
Как идет
И дышит
И брящает
Смерть!

IV. Гитарная.

И кричу я старой:
— Матушка, спою,
Принеси гитару
Старую мою!

Я спою,
Сыграю
Песню баррикад,
Ту, что, умирая,
Пел один солдат.

Молодое тело,
Молодость — в глазах,
Пел он
И горела...
Кровь в его усах.

Умер служба
К ночи...
— Баюшки-баю,
Так и не докончил
Песенку свою.

Я знаю,
Что такое:
— Спокойствие страны!
Я вижу —
Кровь покоя
И молньи —
Тишины:

За бархатною пылью,
Сомнительной нови,
Друзья,
Мы позабыли
Большую дань крови.

Друзья!
Мы помним мало
Вспоившую нас грудь,
Друзья,
Мы славим мало
И тех —
Кто лег, как шпалы,
Под наш железный путь!

По всем
Путям и тропам,
У всех
Морей и рек,
Лежит, борьбой растоптан,
Прекрасный человек!

И девушки
Не пели...
И дом родной,
Далек:
Лежит он
Под шинелью,
Без шлема
И — сапог...

Отволновались громы
И вот —
Умыты мы —
И пеною черемух,
И нежностью
Жены.

И вот,
Мы помним мало
Вспоившую нас грудь,
И вот,
Мы славим мало
И тех,
Кто лег, как шпалы,
Под наш железный
Путь!

Но в том
Душа не гибнет,
Кто сердцем
Не остыл,
И эта песня
Гимном
Великим
И простым!

Иосиф Уткин.

Астрахань.

Сухая рыба. Пристань. Гам.
И пыльный зной, как мука долгий.
Не охлаждает берега
Густая медленная Волга.

Тюрбаны, шапки и чалмы.
Кишат базары пестрым людом.
Дымят песчаные холмы
Под сонной поступью верблюдов.

Когда зеленым языком
Луна, как масло, Волгу лижет,
Нарядный теплоходный дом
Отходит празднично на Нижний.

Платком ему помашешь вслед,
И снова тишь разгладит воду.
Над Волгой ночи душный бред,
И силуэты мачт и лодок.

Баржа сигналит: «Из Баку
Встречайте нефть, не расплескать бы».
Вдруг на зубах соленый вкус
И ветра вздох... то дышит Каспий.

Г. Томашевская.

Пятнадцатый с'езд партии.

А. Стецкий.

I.

Полторы тысячи делегатов, из них 71% рабочих. Залы Кремлевского дворца набиты до отказу... Миллионная ВКП(б) представлена здесь и пролетариями от станка из крупнейших индустриальных центров страны, и женщинами Туркменистана, и незаможниками Украины, и сотнями активистов руководителей, которых партия выдвинула еще в тяжелые годы подполья, в бурном кипеньи революции, в героические годы гражданской войны. Здесь собрано все лучшее, что представляет мозг и волю пролетарской партии. Много давно знакомых лиц, тех, кто закладывали еще первые кирпичи в нашей партии, кто четверть века назад уже сражались с царизмом, кто вели первые бои с меньшевиками. Но много и новых лиц, тех, кого партия, — вбирая новые и новые слои рабочих и бедноты, — после проверки и пробы выдвигали к руководящим рычагам своих организаций.

Есть и отсутствующие. Зиновьев и Троцкий еще перед с'ездом оказались за порогом партии. Часть их соратников появляется на короткие моменты в уголках с'езда, но чувствует себя чужими в среде этого с'езда, спаянного единой волей и единым воодушевлением. Им, порвавшим со всеми традициями партии, нарушившим ее устав и ее решения, систематически обманывавшим ее, сомкнувшимся с ее врагами, не место здесь, на этом с'езде *единства*, на с'езде, где миллионная партия подсчитывает свои силы, расценивает обстановку, чтобы еще уверенней и тверже шагать к коммунизму.

Каждый с'езд ставит веху на историческом пути нашей партии. Отчеты с'ездов являются основными материалами для изучения не только истории партии, но и истории нашей революции. Ибо на с'ездах партия особенно внимательно всматривается в условия борьбы, особенно тщательно взвешивает соотношение классовых сил, чтобы в соответствии с этим наметить свои ближайшие задачи и свою политику. Основная цель борьбы — одна, основные принципы — тоже. Они те, которые партия десятилетиями выработала под руководством Ленина. Но формы и методы борьбы за коммунизм каждый раз определяются обстановкой. Свой опыт борьбы и строительства, оценки положения, определения задач партия конденсирует в сжатых отточенных документах, многие из которых являются классическими документами революции.

Веха, поставленная XV с'ездом, будет отмечать один из значительных этапов, пройденных партией. От XIV с'езда до XV прошло два года. Срок небольшой. Однако эти два года были чрезвычайно насыщены событиями, многие из которых имеют решающее значение Возьмем лишь наиболее характерные черты обстановки во время этих с'ездов.

Во время XIV с'езда китайская революция находилась еще на своем начальном этапе общенациональной революции, причем территориально она господствовала в пределах провинции Гуандунь. За эти два года нам пришлось наблюдать стремительный бег революционных событий в Китае: победоносное развертывание революции и марш национальных войск на Север, широчайшее развертывание массового рабочего и крестьянского движения, измену буржуазии, наступление контрреволюции, тяжелые поражения рабочего и крестьянского движения. В момент XV с'езда обстановка в Китае коренным образом отличается от той, что была два года тому назад: несмотря на поражения, революция живет, несмотря на жесточайший террор, она развертывается, как революция рабочих и крестьян, под лозунгом советов, борьбы за землю, за улучшение положения рабочих.

Во время XIV с'езда между Советским Союзом и капиталистическим окружением продолжали укрепляться мирные — в условном смысле — отношения.

Советский Союз получал все новые «признания» со стороны капиталистических государств. Экономические связи Советского Союза с капиталистическими странами точно так же расширялись. Иначе сложились дела к XV с'езду. Теперь мы имеем несомненный поворот капиталистических государств от политики укрепления мирных отношений с нами к подготовке вооруженной борьбы против Советского Союза. XV с'езд проходил под знаком нависшей над страной угрозы войны.

Внутри страны произошло тоже не мало перемен.

Ко времени XIV с'езда полоса восстановления хозяйства еще только заканчивалась. В связи с этим перед с'ездом происходила дискуссия о том, какими путями дальше развивать наше хозяйство. С'езд точно и определенно указал этот путь, путь индустриализации Советского Союза, превращения его из страны аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную, путь укрепления ее экономической независимости. К моменту XV с'езда хозяйство Советского Союза уже перешагнуло довоенные рамки, оставив по некоторым отраслям далеко позади довоенные столбы. А самое главное — партия и рабочий класс по всем линиям хозяйственной жизни приступили к делу, к которому они давно рвались, к делу перестройки технической базы хозяйства, к практическому осуществлению индустриализации. Великая строительная работа все шире развертывается по лицу нашей страны, все больше захватывает массы, будя в них творческий энтузиазм. Эта работа стоит в центре всей нашей деятельности внутри страны.

Пролетарская диктатура несомненно упрочилась за эти годы. Удельный вес социалистического сектора хозяйства внутри страны несомненно повы-

сился: рост этого сектора перекрывает некоторый — абсолютный, но не относительный — рост частного капитала и рост кулацкой верхушки деревни. Укрепился и союз рабочего класса с основной массой крестьянства. Середняки и беднота сплачиваются сейчас вокруг партии и советов, активность их растет. О том, что настроения крестьянства сильно изменились за эти годы, что основная масса его все более активно поддерживает партию и советскую власть, об этом говорят все свидетельства и ряд важнейших показателей (перевыборы советов, кооперативных органов, отклик середняков и бедноты на угрозу войны). Несомненно, здесь мы имеем результат того курса по отношению к этим слоям деревни, который был взят XIV партконференцией и XIV с'ездом.

Наконец, много событий за эти два года прошло внутри партии. Если бы два года тому назад кто-нибудь предсказал позорный и бесславный конец оппозиционной борьбы, то это приписали бы избытку фантазии. Действительно! За эти два года оппозиция с катастрофической быстротой катилась под откос нашего пути, — к буржуазной демократии. Антиленинские зерна оппозиционных взглядов дали за это время буйные ростки меньшевистских сорных трав. На XIV с'езде впервые выступила с открытым забралом новая оппозиция, пытавшаяся подправить Ленина в ряде вопросов: в вопросе взаимоотношения пролетариата и крестьянства, оценки новой экономической политики нашего хозяйственного строя и нашей госпромышленности. XIV с'езд осудил эти попытки ревизии Ленина. Партия предупредила оппозицию, что попытки подправить Ленина до добра не доведут, что они, в случае упорства в них, неизбежно, как об этом свидетельствует история ревизионизма, приведут оппозицию к полному отходу от Ленина. К сожалению, эти предупреждения оправдались с ужасающей очевидностью. Продолжая упорствовать в своих взглядах, развертывая и обостряя в связи с этим свою борьбу с партией, оппозиция все дальше развертывала и клубок своих идей, обнажая их антиленинский, меньшевистский характер, все дальше откатывалась от партии. К моменту июльского пленума ЦК 1926 г. новая оппозиция скатилась к троцкизму, вступив с ним в блок и создав одну фракционную организацию. Осенью того же 1926 года об'единенная оппозиция в своей борьбе против партии зашла так далеко, что XV конференция вынуждена была охарактеризовать оппозицию как социал-демократический уклон в нашей партии. А за год, протекший от этой конференции до XV с'езда, оппозиция сделала еще скачек по своему пути и переросла в неоменьшевизм. Свою борьбу против партии она вынесла за ее пределы, на улицу, сомкнулась с враждебными революции элементами и внутри страны и за границей. Этот путь был и путем полного банкротства оппозиции, пример которого не легко сыскать в истории политических течений, и ее полного разложения. Все честное революционное, что было в рядах оппозиции, отшатнулось от нее. А вся миллионная партия без малейших колебаний выбросила за дверь тех, кто окончательно порвал с ней и с ее традициями.

Таковы наиболее основные и общие черты обстановки к моменту XV с'езда. Разумеется, все эти события должны были сами по себе придать

особую значительность с'езду и его решениям. Однако этим дело не ограничивается. Особое значение придает с'езду также и то, что он выявил в части внутренних процессов нашей партии.

Все присутствовавшие на с'езде ясно чувствовали и сознавали одно важное обстоятельство: на этом с'езде закончился процесс оформления и закрепления руководящего ядра партии после смерти Ленина. Само собой, что вопрос об этом руководящем ядре имеет огромное значение для нашей партии, которая руководит строительством социализма в великой стране и является передовым отрядом Коммунистического Интернационала. При жизни Ленина его авторитет гениального вождя и создателя партии имел решающий вес. Против Ленина пробовали бороться отдельные группы в партии, отдельные группы имели с ним расхождения. Но партия верила Ленину, шла за ним. Его авторитет никто не осмеливался оспаривать, на его руководство никто не смел посягать. Авторитет Ленина сам по себе обеспечивал в большой мере устойчивость внутри партии.

Несомненно, что та борьба, которую партия пережила за последние годы в некотором отношении — повторяю, в некотором отношении, отнюдь не целиком, и даже не в большей части — об'ясняется тем, что после того, как партия лишилась Ленина, в ней возник вопрос о руководстве. Правда, партии здесь не приходилось долго и много блуждать, так как Ленин за долгие годы строительства партии сплотил вокруг себя лучшие и наиболее боевые элементы большевистских рядов. Это ядро было достаточно известно всей партии. Однако без трудностей это дело обойтись все же не могло. И если сначала троцкистская оппозиция, затем новая, потом об'единенная троцкистская вели с таким упорством и разнузданностью свою борьбу против партии, то это отчасти об'ясняется тем, что не стало Ленина, и эти группы ставили задачу, которую не могли бы поставить при Ленине, а именно: перехватить руководство партией у Центрального комитета.

Эти попытки оказались биты. Партия за эти годы проверила свой руководящий коллектив — ЦК. Она знает, что он ведет ее по правильному пути. Она видит в нем — в этом коллективе — единственного преемника Ленина в деле руководства ею. Авторитет этого коллектива незыблем теперь внутри партии. Вся миллионная партия — как это блестяще показал XV с'езд — верит этому коллективу, шла за ним и будет теперь после XV с'езда итти еще более твердо и уверенно.

Процесс консолидации партии сопровождался и сопровождается укреплением и расширением ее связей с рабочим классом и деревенской беднотой. За одни последние месяцы имеется ряд неопровержимейших очевидных доказательств того, что рабочий класс целиком с нашей партией. Такие факты, как демонстрация 7 ноября, своим неслыханным под'емом и энтузиазмом произведшая на всех — особенно на иностранных делегатов — неизгладимое впечатление, сотни и тысячи приветствий беспартийных рабочих на партийных конференциях и на самом с'езде,— все это говорит, что рабочий класс верит партии, идет за ней, поддерживает с величайшим воодушевлением ее политику.

Но сильнейшим из всех свидетельств является октябрьский призыв в партию. За первые же два месяца около ста тысяч рабочих и работниц подали заявления о своем желании вступить в ряды партии. Ничего подобного у нас не было еще за исключением Ленинского призыва — в связи со смертью Ленина. Ничего подобного не знает история других политических партий. Мы еще недостаточно оценили значение этого факта для жизни нашей партии. Одно несомненно: только этого факта — этих ста тысяч заявлений рабочих — достаточно, чтобы начисто, целиком опровергнуть всю оппозиционную клевету на нашу партию.

На эту клевету, на все нападки врагов рабочий класс сам дал свой ясный и решительный ответ.

И этот ответ еще более укрепляет волю и силы нашей партии в ее борьбе за победу коммунизма.

II.

Наша партия, как говорил Ленин, является партией «международных пролетарских революционеров». Напрасно оппозиция пыталась приклеить такой партии ярлык «национальной ограниченности». Не вышло. И наши враги и наши друзья прекрасно видят и знают, что наша партия работала и работает для победы мировой пролетарской революции.

Именно потому, что такова основная установка партии, вопросы международного революционного движения, оценка опыта и задач интернациональной пролетарской борьбы занимают видное место в жизни нашей партии. Они занимали видное место и на закончившемся XV с'езде.

Однако здесь нет возможности осветить подробно эти вопросы. Они составляют большой материал особой темы. Тов. Бухарин смог исчерпать важнейшие проблемы этой части порядка дня с'езда лишь в пятичасовом докладе.

Отметим основные новые моменты в этой области, которые были подчеркнуты с'ездом и в основных докладах и в резолюциях. Бросается в глаза прежде всего данная с'ездом оценка положения капитализма. Теперешнюю полосу международного положения партия и Коминтерн определили как полосу частичной стабилизации капитализма. Указывалось, что противоречия, как старые, присущие ему, так и новые, развертывающиеся в связи со стабилизацией, делают последнюю неустойчивой и недолговечной.

Новое в оценке положения XV с'езда заключается в том, что с'езд констатировал наличие ряда признаков, указывающих на начинающееся разложение капиталистической стабилизации и постепенный переход западноевропейского рабочего класса в новое наступление против капитализма. Об этой близости «конца» стабилизации говорят и крайнее обострение конфликтов между империалистическими странами, и обострение их отношений с Советским Союзом, и развивающаяся революционная борьба в колониях (Китай, Индонезия), и развертывающиеся в связи со стабилизацией классовые конфликты внутри капиталистических стран. Рабочее движение в этих странах,

после некоторого относительного затишья, снова оживляется: такие факты, как июльское восстание в Вене или широчайшее движение протеста против казни Сакко и Ванцетти, движение стихийное, охватившее все страны, глубоко симптоматичны. Они свидетельствуют, что в рабочем классе западноевропейских стран за эти годы относительного затишья накапливалась революционная энергия, готовность к борьбе за коммунизм, росла ненависть к капитализму. Все это дало ряд ярких, знаменательных вспышек. Все это со всей силой проявится в наступающей полосе нового под'ема революционного движения на Западе.

То обстоятельство, что рабочее движение вступает в полосу под'ема, выдвигает со всей силой перед коммунистическими партиями задачу борьбы с реформизмом. Последний является сейчас главным препятствием, мешающим рабочему классу найти правильные пути к победе. При помощи всяческих новых ухищрений, проповедью «хозяйственной демократии», развертывания всякого рода организаций, «об'единяющих» рабочих с капиталистами, международный реформизм пытается удерживать рабочий класс в плену своей идеологии и своих предательских организаций, срывать работу компартий по подготовке масс к борьбе. Вот почему борьба с реформизмом именно теперь, когда мы находимся в начале этой полосы под'ема рабочих масс, выдвигается на первый план по всем линиям и особенно по линии профсоюзов. Вот почему в связи с этим выдвигается на первый план и задача укрепления таких боевых организаций как Красный Интернационал Профсоюзов.

Таковы вкратце основные моменты международного положения, подчеркнутые с'ездом. Несомненно, и Коминтерн и его секции с величайшим вниманием прислушаются к голосу нашей партии, учтут все те оценки, определения задач революционной борьбы, которые были сделаны на этом с'езде.

Если проследить то, что красной нитью проходило через доклад генерального секретаря в части, относящейся к задачам внутри страны, через доклады тт. Рыкова, Кржижановского, Молотова, то этой красной нитью был вопрос развертывания «великих работ» в области хозяйственного строительства. Не случайна целостность и единство всех этих докладов в этом отношении: один доклад дополнял и развивал другой, давая полное законченное представление о тех задачах, которые партия выставляет в разных областях хозяйственной жизни. Эта целостность и единство и докладов и выступлений на с'езде обусловлены целестностью и единством направления воли партии и рабочего и массы. Вопросы хозяйственного строительства стоят в центре нашего внимания. Ибо это хозяйственное строительство в наших условиях и под нашим руководством тождественно строительству социализма, является социалистическим строительством: идет ли речь о постройке, новой электростанции, нового крупного завода нашей государственной кооперации, развертывании кооперации, укреплении банковской системы— все это в условиях нашей страны означает укрепление элементов социализма, приращение тех средств, при помощи которых мы нашу «нэповскую» страну переделываем в страну социалистическую. Значение хозяйственного строительства для нас, точно так же, как его характер в настоящее время, ярче

всего выявляется в том, что на XV с'езде был подвергнут генеральному обсуждению вопрос о пятилетнем хозяйственном плане. За последние годы мы свыклись с мыслью о необходимости планового начала в хозяйственной жизни страны. Разработка этих планов вошла в обиход, в норму нашей деятельности. Поэтому и разработка этого пятилетнего плана на первый взгляд как будто не представляет чего-то необычного и чрезвычайного.

Но только на первый взгляд. Потому что если подняться несколько над уровнем наших теперешних «обычных» представлений, то эта постановка вопроса о пятилетнем плане, к тому же не в плоскости общих разговоров, а конкретных цифр и директив, сама по себе является историческим событием. В самом деле. Ведь речь идет о направлении всего необ'ятного хозяйственного механизма нашей страны, со всеми его рычагами, передачами, «силовыми установками» и проч., об установлении линий развития и сочетания всех элементов хозяйственной системы, о подчинении единому творческому началу и единой воле всей хозяйственной совокупности страны. Одна постановка этого вопроса в конкретном разрезе, к тому же на с'езде правящей партии, является показателем отличия и преимуществ развертываемой пролетариатом системы, по сравнению с экономической системой капиталистических стран. «Пятилетка» есть вместе с тем и свидетельство роста общественного начала в нашем хозяйстве, укрепления и расширения планового руководства процессами хозяйственной жизни.

Нет сомнения, это дело разработки конкретных планов хозяйственного строительства дается нам с большим трудом. Об'ясняется это, прежде всего, тем, что вообще — ни у нас, ни за границей — нет опыта в этом деле. Нашим плановым органам пришлось подходить ощупью к разрешению этой проблемы, вырабатывать на опыте методы составления планов, самим искать и формы организации этого дела. Не меньшее значение имеют и особенности нашей экономики. Никак нельзя забывать, что на-ряду с крупным общественным хозяйством, которое сравнительно легко поддается и учету и регулированию, имеются десятки миллионов мелких индивидуальных хозяйств, которые сами зависят от нашей промышленности, транспорта и проч. и, в свою очередь, обусловливают в значительной мере их развитие, что существование этих мелких товарных хозяйств порождает рыночную стихию, что наше хозяйство, наконец, связано — правда, через монополию внешней торговли — с внешним капиталистическим миром, который подчиняется свойственным ему и отнюдь не устанавливаемым сознательной волей законам. Все это делает задачу выработки хозяйственных планов архитрудной и архисложной. Все это обязывает нас с величайшим вниманием и серьезностью, избегая слишком, поспешных и недостаточно обоснованных суждений и упреков, относиться к большой и полной значения работе, проделанной Госпланом.

Во многом Госплан уже добился успехов. Ежегодные «контрольные цифры» еще пару лет тому назад представляли собрание более или менее удачных догадок и предположений. Назвать их тогда планом в точном смысле этого слова никак было нельзя. Между тем теперь они действительно превратились в реальные годичные планы хозяйственного строительства,

достигли такой степени точности, что на них могут ориентироваться в своей работе — и действительно ориентируются — все хозяйственные органы. Об успех плановой работы свидетельствует и разработка пятилетнего плана.

Надо, однако, правильно представлять разрез, в котором обсуждался пятилетний план на с'езде. Разработка этого плана еще не закончена. Ряд предположений является спорным, другие предположения требуют уточнения. Наконец, весь план должен быть еще развернут в полном виде из той системы общих наметок и цифр, которую он сейчас представляет.

Поэтому на с'езде речь шла об основных принципах этого плана, о тех требованиях, которым он должен удовлетворять. В этом разрезе принята с'ездом и резолюция по докладам о пятилетнем плане.

Эти директивы сводятся, в основном, к тому, что хозяйственный план должен обеспечить осуществление индустриализации нашей страны в соответствии с волей, выраженной партией и трудящимися массами, что он должен обеспечить неуклонное усиление веса и значения в народном хозяйстве его социалистических элементов, другими словами, обеспечить неуклонное движение страны к социализму и, наконец, обусловить такой темп развития нашего хозяйства, который даст нам возможность в кратчайший срок догнать и перегнать передовые капиталистические страны.

Насколько же те возможности, которые нащупал Госплан в своей работе по пятилетнему плану, насколько наметки и перспективы, которые в соответствии с этими возможностями он набросал, соответствуют тем директивам, которые установил XV с'езд? Об этом говорят общие показатели, данные Госпланом в его последнем варианте. Возможно, эти показатели подвергнутся некоторым изменениям. Но навряд ли эти изменения будут большими: последние показатели являются плодом длительной работы, ряда критических проверок, и тот факт, что на этот раз эти показатели не расходятся сколько-нибудь значительно с устанавливаемыми другими плановыми комиссиями, — доказывает большую степень их точности.

Итак, обратимся к цифрам. Их имеется два ряда: один — так называемый отправной вариант плана, более осторожный, рассчитанный на менее благоприятные условия хозяйственного развития, другой — оптимальный, предполагающий большее напряжение наших рессурсов и нашей воли. По образному выражению тов. Кржижановского, Госплан разработкой двух вариантов производит своего рода пристрелку по хозяйственной цели, пристрелку, без которой для нас в настоящих условиях точное попадание на большой дистанции пяти лет представляется невозможным.

Но оба эти ряда цифр звучат достаточно внушительно: они свидетельствуют о все увеличивающемся размахе нашего строительства и нашего движения к социализму.

По отправному варианту Госплана продукция всей промышленности (включая мелкую) должна возрасти с 7 974 млн. рублей (по довоенным ценам) в 1926/27 г. до 12 992 млн. рублей в 1931/32 г. и по оптимальному варианту до 14 272 млн. руб. В процентном отношении—это по первому варианту увеличение на 62,9% и по оптимальному — на 79%. Если же взять государствен-

ную крупную промышленность, так называемую планируемую, то здесь темп роста значительно превышает средний по всей промышленности. По первому варианту прирост продукции этой части промышленности составляет 77,9% и по оптимальному — 103%. Надо к тому же иметь в виду, что эта часть промышленности дает около двух третей всей промышленной продукции. Таким образом, в расчетах Госплана речь идет об удвоении продукции крупной промышленности к концу пятилетия. Само собой разумеется, что осуществление этих предположений будет означать целый экономический переворот в нашей стране.

Что касается сельского хозяйства, то расчеты Госплана дают здесь значительно более медленный темп развития. Огромное преобладание мелких индивидуальных хозяйств, варварская техника и отсталость способов ведения хозяйства — все это задерживает рост этой отрасли. Продукция сельского хозяйства (включая лесоводство, рыболовство, охоту) должна подняться с 20 695 млн. довоенных рублей в 1926/27 г. до 29 195 млн. рублей в 1931/32 г. по отправному варианту и по оптимиальному — до 31 369 млн. руб., или соответственно на 24% и на 31,4%.

В соответствии с этими темпами развития промышленности и сельского хозяйства удельный вес промышленности во всей экономике страны должен значительно увеличиться.

Что касается остальных показателей, то количество лиц наемного труда должно увеличиться по всем отраслям с 10 561 тыс. в 1926/27 г. до 12 803 тыс. в 1931/32 г. по первому варианту и до 13 474 тыс. по второму, т. е. на 21,2% и на 27,6%; производительность труда должна возрасти больше, чем в полтора раза; снижение отпускных цен на 20—21% и увеличение реальной заработной платы в полтора раза по сравнению с теперешним уровнем. Наконец, и в промышленности и в товарообороте в процессе этого продвижения социалистический сектор отвоюет ряд дальнейших позиций у частного капитала и почти целиком овладеет этими отраслями.

Сможем ли мы обеспечить такой размах хозяйственного строительства? Хватит ли у нас для этого сил и рессурсов? Для того, чтобы реализовать подобный план, необходимо в течение пяти лет вложить во все отрасли народного хозяйства минимум 18 514 млн. черв. руб. и по оптимальному варианту 22 192 млн. черв. руб., или в среднем в год за пятилетие около 4 млрд. рублей. Конечно, эта цифра говорит о необходимости большого напряжения, если иметь в виду, что весь наш народный доход в 1926/27 г. составлял 25 074 млн. руб. Однако опыт последних лет показывает, что мы уже подходим в масштабе капитальных вложений к цифрам, запроектированным пятилеткой, что использование накоплений в таких размерах для нашего хозяйства не представляется невозможным. Реальность этой задачи подтверждается и, с другой стороны, расчетами относительно размеров накоплений и их использования в довоенной России. Таким образом в отношении возможностей обеспечения этого плана соответствующими рессурсами особых сомнений и колебаний быть не может.

Остановимся теперь на той критике, замечаниях, указаниях по отношению к пятилетнему плану, которые выявились во время обсуждения последнего на с'езде.

Указывалось прежде всего, что пятилетку Госплана необходимо развернуть, доделать и уточнить, не только в части цифровых наметок по отдельным отраслям хозяйства, — как уже указывалось выше, эта общая пятилетка нуждается еще и в таком развертывании и уточнении. Но помимо этого необходимо ее развертывание и в другом направлении, а именно — производственно-техническом. В пятилетке мы, как правильно указывал тов. Рыков, имеем пока ряды цифр статистического характера; пятилетка, например, определяет, сколько мы можем и должны вложить в ту или другую отрасль народного хозяйства. Разумеется, это определение имеет огромное значение. Однако его одного недостаточно. Вслед за этим встает вопрос, как же расходовать эти вложения, какие предприятия строить, где именно, какой мощности, дать расчет в отношении сырья, топлива, транспорта и проч. Другими словами, этот экономический план должен быть дополнен в известных пределах планом производственно-техническим. И если до сих пор работа над планом лежала на обязанности, главным образом, экономистов par excellence, то теперь они должны быть дополнены техниками-экономистами.

Не менее важны и указания относительно необходимости районного разреза в пятилетнем плане развития хозяйства. Все выступления на с'езде о пятилетке выявляют, с какой остротой стоит в настоящее время этот вопрос. И если дискуссия в некоторые моменты превращалась в своеобразный поединок между представителями отдельных районов, то это лишний раз подчеркивает настоятельность введения этих часто лишь внешне противоречивых районных устремлений в определенное русло. Это можно сделать лишь путем проработки вопросов дальнейшего распределения добычи сырья, топлива, промышленности между отдельными районами Советского Союза, исходя как из их рессурсов, так из требований и задач всего социалистического строительства.

Следующим важным пунктом обсуждения является проблема использования накоплений. Мы еще мало занимались ею; между тем она имеет решающее значение. С точки зрения наших возможностей пятилетка Госплана и в ее оптимальном варианте не представляется чем-то несбыточным, оторванным от почвы: накоплений, происходящих в стране, достаточно для ее осуществления. Весь вопрос заключается в их мобилизации и целесообразном использовании. И тут снова и снова приходится подчеркивать, как это делалось и на с'езде, огромное значение кредитной системы, сети сберегательных касс и пр. в этом деле. В этом отношении сделано еще явно недостаточно, успехами похвастаться нельзя. Особенно, если сравнить, как буржуазия путем своей кредитной системы, путем сберегательных касс, рабочих банков умеет привлекать мельчайшие сбережения рабочих и крестьян для укрепления враждебной им хозяйственной мощи. Нам предстоит еще много поработать в этом отношении. А без продвижения этого дела трудно будет осуществить расчеты пятилетки.

И, наконец, об использовании этих накоплений. На с'езде со всей силой было сделано ударение в этом пункте. Теперь, когда мы с каждым годом придаем все больший размах нашим строительным работам, когда мы затрачиваем на них миллиарды, совершенно нетерпимым является то положение, какое мы имеем здесь. Из всех дорогих вещей, какие у нас имеются, — а по части дороговизны мы, к сожалению, неблагополучнее всех других стран, — наше строительство самое дорогое. Строительный индекс стоит выше всех других, составляя 2,65, при общем промышленном 1,99. Положение в этой области явно угрожающее. Совершенно очевидно, что, если дело здесь не изменится, капитальные вложения не дадут того эффекта, который мы от них ожидаем; темп роста промышленности и транспорта, размеры жилищного и коммунального строительства окажутся меньшими, чем мы рассчитываем. Вместе с тем дороговизна строительства наносит и удар с другой стороны: она повышает амортизацию и задерживает снижение себестоимости продукции, а часто приводит и к ее повышению. Вот почему этот пункт является для нас ударным. И директивы с'езда относительно удешевления строительства должны быть выполнены во что бы то ни стало.

Таков основной итог обсуждения пятилетки на с'езде.

Нет сомнения, что пятилетка Госплана не дает оснований для пессимизма: наоборот, она подкрепляет нашу уверенность в победе. Такого размаха хозяйственного развития, особенно развития промышленности, не знала еще ни одна страна в мире. Темп нашего движения далеко превосходит темп движения и поднимающихся в настоящее время капиталистических стран.

Но ошибкой было бы думать, что к концу пятилетия исчезнут с нашего хозяйственного горизонта все темные пятна. Далеко нет! Уровень потребления промышленной продукции у нас будет оставаться много ниже, чем в передовых капиталистических странах. Диспропорцию между спросом и предложением предметов широкого потребления мы еще не ликвидируем. Мы не уничтожим темпа диспропорции между промышленностью и сельским хозяйством. Проблема безработицы и аграрного перенаселения будет висеть над нами и к концу пятилетия. Другими словами, перескочить в пять лет через нашу отсталость и добиться в этот срок полного социалистического благоденствия мы не можем. Выставлять такую задачу было бы детской утопией!

Те, кто критикует нас с этой стороны, или шарлатаны, или невежды.

Мы сделаем, однако, за это пятилетие хороший прыжок, который обеспечит еще более быстрое движение к коммунизму в дальнейшем.

III.

Основные решения XV с'езда прошли под знаком развертывающегося **наступления социализма** внутри страны.

Пожалуй, ярче всего говорят об этом решения, принятые по докладу о работе в деревне. Лозунг, который был выброшен тов. Молотовым: «деревня вперед — к крупному коллективному хозяйству», как лозунг момента, показывает, насколько глубоко и основательно начинает забирать пролетарский плуг, перепахивающий сейчас нашу страну.

Если брать экономическую сторону постановки вопроса о деревне на последнем с'езде, то она является развитием и дополнением решений XIV с'езда о путях под'ема нашего хозяйства. XIV с'езд собирался, когда восстановительный процесс в нашем хозяйстве подходил к концу. В связи с этим внутри партии шло оживленное обсуждение дальнейших путей развития хозяйства. Одна небольшая группа занимала крайнюю и довольно оригинальную позицию, сводившуюся в основном к тому, что мы должны больше нажимать по линии развития сельского хозяйства, так как индустриализоваться самим, опираясь на свои рессурсы, нам не под силу, и что будет лучше, если бросив эти безуспешные попытки, мы пойдем по пути, якобы предначертанном судьбой, т. е. останемся аграрной страной. Тогда же снова возвысили свой голос и сверхиндустриалисты, впадавшие в другую крайность и готовые развертывать промышленность даже ценою разрыва с крестьянством. Партия на XIV с'езде ясно и определенно наметила свою линию, взяв курс на индустриализацию нашей страны, индустриализацию, осуществимую в теснейшем союзе с основной массой крестьянства.

Теперь на XV с'езде пришлось во всем об'еме поставить вопрос и о дальнейших путях развития сельского хозяйства. Почему? Потому, что как раз теперь сельское хозяйство закончило в основном свой восстановительный процесс. Пока речь шла только о восстановлении, то вся сумма вопросов, которая стоит со всей остротой теперь, тогда не имела такого значения. Конечно и здесь — в сельском хозяйстве, точно также как и в промышленности— восстановление отнюдь не было им в точном смысле этого слова. Достижение довоенного уровня продукции происходило в новых условиях, созданных пролетарской диктатурой и аграрной революцией. Оно включало в себе много элементов реконструкции, приведших к тому, что даже это только еще «восстановленное» крестьянское хозяйство по своему типу в ряде районов уже многим отличается от хозяйства дореволюционного. Однако это восстановление осуществилось в основном силами мелких индивидуальных хозяйств, — разумеется, при соответствующей поддержке и соответствующей политике советской власти.

И вот теперь, когда сельское хозяйство достигло довоенного уровня продукции, когда речь идет о способах и средствах его дальнейшего под'ема, со всей силой встают основные кардинальные вопросы о путях его развития. Нет никаких сомнений, что дальнейший под'ем сельского хозяйства на мелкой индивидуальной базе раздробленных крестьянских хозяйств невозможен. Тов. Молотов доказал это положение в своем докладе с исчерпывающей полнотой. «У нас, примерно, 24 миллиона мелких крестьянских хозяйств, — говорил он. — И вот, если подойти к вопросу о том, как рентабельнее (выгоднее) поставить это крестьянское хозяйство, то оказывается, что в 8 миллионах наиболее слабых крестьянских хозяйств даже применение лошади сейчас нерентабельно... Если взять применение сельскохозяйственных машин — получится то же самое. Даже хороший плуг в некоторой части хозяйств не окупает себя целиком, не говоря уже о том, что он недоступен для наименее слабых хозяйств, а сельско-

хозяйственные машины — жатка, сеялка и молотилка всех сортов — совершенно нерентабельны, их невозможно применить в мельчайших крестьянских хозяйствах на выгодных условиях. Вот почему у нас до сих пор еще в СССР больше, чем 5 млн. сох. До сих пор мы имеем факты такого сомнительного прогресса, что, например, для Белоруссии количество сох в этом году относительно больше увеличилось, чем количество плугов. Это, конечно, тоже «прогресс» в развитии сельскохозяйственного машиноснабжения деревни, но в высшей степени для нас неподходящий прогресс».

Здесь надо отметить, что тот факт, — чрезвычайно медленного роста сельского хозяйства в предстоящее пятилетие, намечаемого Госпланом, который был подчеркнут тов. Сталиным в его отчетном докладе, — находит себе об'яснение именно в этом, в отсталости и раздробленности крестьянского хозяйства.

Преодолеть эту отсталость и раздробленность, обеспечить дальнейший под'ем сельского хозяйства, а вместе с тем и рост благосостояния, прежде всего, самого крестьянства, можно лишь двумя путями: или путем капиталистическим, путем расширения и укрепления кулацких хозяйств и пролетаризации остальной массы крестьянства, или путем об'единения индивидуальных хозяйств в крупные коллективные хозяйства. Так сейчас стоит эта проблема.

Нечего и говорить, что первый путь для нас неприемлем: он привел бы к возрождению и победе капитализма в нашей стране. Он противоречит, вместе с тем, интересам подавляющего большинства крестьянства, ибо он ведет к победе буржуазного общества, которое — как образно говорил Маркс —«высасывает у крестьянина кровь из его сердца и мозг из его головы и бросает все это в котел капитализма — этого нового алхимика».

Вот почему в интересах движения к социализму, в интересах развития производительных сил нашей страны, в интересах повышения жизненного и культурного уровня самого крестьянства, мы теперь со всей силой должны налечь на развертывание в деревне основных форм крупного общественного хозяйства.

...«С того момента, — говорил тов. Молотов на с'езде, — когда мы дошли в развитии производительных сил города и деревни до довоенного уровня и уже немножко перешагнули через этот довоенный уровень — с этого момента коренной задачей всей политики партии в деревне являются меры, которые обеспечивают максимально благоприятный для крестьянских масс и для всего советского государства переход от мелкого индивидуального хозяйства к крупному общественному хозяйству в деревне. Это и есть отныне наша основная практическая задача. Только на этом пути и можно говорить о ликвидации безинвентарности в деревне, как и о ликвидации расслоения в деревне.

Я должен сразу же заметить, что к этой коренной задаче мы относимся пока в высшей степени невнимательно, в высшей степени неправильно, и что в повороте внимания к этим задачам теперь заключается центральная задача политики партии в отношении деревни. Вот уже где действительно нужно

говорить о «повороте», именно о повороте внимания всей партии, всего рабочего класса и широких крестьянских масс».

Вот в какой плоскости был поставлен вопрос о деревне на XV с'езде. Не лишне напомнить, для того чтобы лучше представить весь принципиальный и политический об'ем задачи, поставленной в отношении деревни теперь, с тем, что говорилось о деревне только еще без малого три года тому назад — на XIV партконференции. Тогда главной задачей экономической политики в деревне выставлялось развертывание потребительской и сбытовой сел.-хоз. кооперации, усиление нашего влияния на крестьянское хозяйство, именно, с этих двух концов, которыми оно связано с рынком — со стороны сбыта его собственной продукции и закупки им промышленных товаров. Что касается производственного кооперирования крестьянских хозяйств, то оно тогда маячило лишь в перспективе, так как в то время ни размеры наших накоплений, ни материально-технические рессурсы не позволяли практически ставить производственное кооперирование как боевую практическую задачу. Партия взялась тогда за ту задачу, решение которой являлось условием дальнейших шагов в деле обобществления сельского хозяйства и вместе с тем было нам по силам: кооперирование крестьянского хозяйства с его рыночного, товарного конца, не изменяя индивидуальной мелко-собственнической базы этого хозяйства.

Теперь вопрос ставится по-иному. Теперь дело идет о том, что на первый план в области сельского хозяйства выдвигается, как боевая практическая задача, именно, та, которая на XIV партконференции давалась лишь в перспективе — задача производственного кооперирования крестьянства, что означает необходимость коренного изменения базы всего нашего сельского хозяйства, перехода от мелких раздробленных крестьянских хозяйств к машинизированному крупному коллективному хозяйству. Такова дистанция, отделяющая нас от XIV партконференции, со времени которой прошло всего без малого три года.

Локомотив революции тянет нашу страну по новым историческим рельсам с такой быстротой, что бег событий не укладывается в рамки наших обычных представлений о времени и движении.

Достаточно ли мы, однако, «созрели» для постановки как практической непосредственной задачи такого дела, как развертывание общественного хозяйства в деревне?

Наша партия отвечает на этот вопрос положительно. Промышленная продукция в стране перевалила за довоенный уровень, и в ближайшие годы мы будем иметь дальнейшие крупные достижения в этой области.

Развертывается быстро сельскохозяйственное машиностроение. Размеры накоплений, которые отлагаются в руках государства, выражаются уже миллиардами рублей: одни лишь капитальные вложения по всей системе нашего хозяйства исчисляются в текущем году в сумме около 3 миллиардов рублей. В этом же году в сельское хозяйство направляется различными путями 704 млн. рублей государственных средств. Капитальные вложения в сельское хозяйство исчисляются Госпланом на ближайшее пятиле-

тие в размере около 2 миллиардов рублей плюс 850 миллионов, которые ВСНХ предполагает затратить на развитие производства сельскохозяйственного сырья.

А навстречу этому все увеличивающемуся воздействию государства на сельское хозяйство идет тяга к кооперированию самого крестьянства, тяга его к машине, к электричеству, к культурным способам земледелия. Около миллиона крестьянских хозяйств уже об'единились в кооперативы, ставящие своей целью переработку сельскохозяйственной продукции. Еще миллион об'единен во всякого рода машинные, семенные, коневодческие товарищества. И, что чрезвычайно важно, рост такого рода кооперативов уже не сбытового и потребительского типа, а производственных, идет чрезвычайно быстрым темпом. И несомненно, при наличии этих двух важнейших условий, помощи государства и крестьянской самодеятельности, это дело — производственного кооперирования крестьянства — пойдет вперед.

Крестьянство, в своей основной массе, верит нашей партии. Оно идет за ней. А при поддержке этой основной массы крестьянства — бедноты и середняка — труднейшая и сложнейшая задача — перехода деревни к общественному хозяйству, ликвидации частно-капиталистических элементов и в деревне и в городе,— эта задача будет выполнена рабочим классом и его партией.

IV.

Незадолго до с'езда тов. Бухариным было брошено крылатое словцо, что культурная революция стучится сейчас в двери. Этот стук был услышан XV с'ездом. И с'езд в весьма определенной категорической форме высказался по поводу тех задач, которые выдвигаются перед нами на культурном фронте.

Те планы великих работ, перестройки технической базы нашей страны, дальнейшего обобществления нашего хозяйства можно выполнить лишь при условии под'ема культурного уровня трудящихся. Это настолько очевидно, что об этом не стоит много говорить. Все дело в том, однако, что сейчас эта необходимость усиления культурного развития выпирает отовсюду, выдвигается со всех сторон нашей жизни и нашего строительства, становится обязательным условием нашего дальнейшего движения вперед. Развертывание промышленности, ее рационализация, техническое переоборудование ставит со всей остротой вопрос подготовки квалифицированной рабочей силы, техников, инженеров. Как здесь может обернуться дело, показывает пример, который год тому назад обошел все газеты: при механизации стекольных заводов на юге, механизации, которая должна была в десятки раз повысить производительность труда, последняя понизилась по сравнению с тем, что было при выработке бутылочного стекла обычным дедовским путем, так как рабочие оказались не в состоянии быстро приспособиться к машинам. Этот пример показателен. Он должен являться для нас предостережением относительно того, что нас может ожидать в отдельных отраслях хозяйства, если мы на эту сторону дела — квалификации рабочей силы — не обратим достаточного внимания.

Мы ставим себе задачу: к концу пятилетия обобществить товарооборот на 90%. Это значит, что смычка промышленности с крестьянским хозяйством будет в основном осуществляться через государственные и кооперативные организации, что потребует широкого развертывания, прежде всего, кооперативной сети. А благополучно ли у нас в этом кооперативном аппарате, непосредственно обслуживающем население? Далеко нет! И это неблагополучие есть прежде всего результат нехватки культурных коопработников, умеющих читать, писать, культурно обращаться с обслуживаемыми, имеющих организационные навыки. Сейчас со всей силой выдвигается необходимость упрощения нашего аппарата и управления, искоренения бюрократизма. Но для всех теперь ясно, что здесь наши усилия в значительной мере разбиваются из-за отсутствия тех же грамотных, культурных работников, умеющих ориентироваться в деле. Сто раз прав был тов. Сталин, когда он, выражая мнение всей партии, говорил на с'езде: «Вернейшим средством против бюрократизма является поднятие культурного уровня рабочих и крестьян. Можно ругать и поносить бюрократизм в государственном аппарате, можно шельмовать и пригвождать к позорному столбу бюрократизм в нашей практике, но если нет известного уровня культурности среди широких рабочих масс, создающего возможность, желание, умение контролировать государственный аппарат снизу, силами самих рабочих масс, бюрократизм будет жить, несмотря ни на что».

Ясно и категорически звучит и та выдержка из письма тов. Ленина 1922 г., которую привел тов. Сталин: «Главное, что нам не хватает — культурности, уменья управлять. Экономически и политически нэп вполне обеспечивает нам возможность постройки фундамента социалистической экономики. Дело «только» в культурных силах пролетариата и его авангарда».

Массы сами проникаются все больше ощущением необходимости культурного развития. В настоящее время идет все усиливающийся напор снизу в этом направлении. Во время отчетных кампаний советов вопрос о школах является теперь всегда центральным пунктом обсуждения. Огромная тяга к знанию отмечается не только у молодежи, но и у взрослых: рабочие университеты, вечерние совпартшколы, всякого рода курсы переполнены и не могут вместить всех желающих. Самообразование делает гигантские шаги вперед: об этом можно судить по тем превосходящим все наши возможности требованиям, которые пред'являются сети консультаций по самообразованию.

С'езд высказался не только в общей форме о необходимости культурной революции, подчеркнув важность удовлетворения культурных запросов масс. Он высказался вполне определенно и относительно необходимости передвижения средств в эту сторону.

В своем докладе тов. Рыков сделал следующие заявления: «Во-первых, я считаю совершенно несомненным, что у нас *культурное развитие значительно отстает от нашего хозяйственного развития и повышения жизненного уровня рабочих и крестьян.* (Голоса: «Правильно!»). Во-вторых, я считаю, что осуществление индустриализации и под'ем хозяйства в дальнейшем не могут происходить без парал-

лельного под'ема культурного уровня страны. В-третьих, я считаю, что культурные потребности в бюджете рабочих и крестьян занимают недостаточное место не потому, что у них нет культурных потребностей, но потому, что мы с вами не научились еще как следует эти потребности удовлетворять.

В-четвертых, я считаю, что при дальнейшем росте нашего бюджета, наших средств, начиная уже с ближайшего года, мы должны давать на культурное развитие относительно больше, чем даже на восстановление хозяйства. Нельзя отделять хозяйственной революции от культурной. Ножницы в этой области могут обойтись очень дорого». (Голоса: «Правильно!»).

Такая постановка вопроса о культуре на с'езде лишний раз подчеркивает, что партия своевременно и правильно учитывает потребности нашего развития. Эти определенные и ясные заявления теперь как нельзя более кстати. Они несомненно создадут перелом в политике тех органов, от которых зависит, главным образом в материальном отношении, положение культурного фронта.

А такой перелом сделать необходимо. Культурная революция стучится в двери, однако не все наши учреждения охотно открывают свои двери. Многие приоткрывают щелочки, раздумывая, на каких правах пустить эту гостью. Другие держат двери и вовсе закрытыми. На с'езде сообщался ряд фактов, которые говорят о том, что практика некоторых местных органов идет вразрез с этой линией партии. Вопросы культурного строительства встречают часто сдержанное, часто прохладное, а иногда и пренебрежительное отношение. Не менее часты случаи, когда в практике отдельных организаций хозяйственное строительство захватывает столько внимания, сил и средств, что вопросы культурного строительства отодвигаются далеко на задний план. И если речь идет о балансировании бюджета, срезывании дефицитов, то это чаще всего производится за счет урезки расходов на культурные нужды.

И в этом отношении дело иногда принимает явно угрожающий характер. Н. К. Крупская сообщила о такого рода фактах, как попытки сокращения в этом году сети политпросветучреждений в деревне. Тов. Луначарский сообщил еще более тревожные данные о том, что мы имеем в этому году такое уменьшение темпа прироста школьной сети, что оно грозит почти полной приостановкой роста этой сети. Разумеется, эти признания должны мобилизовать наше внимание в сторону культурного фронта. Нет сомнения, что указания с'езда по вопросам культуры создадут перелом в практике всех наших организаций и позволят двинуть это дело вперед.

В заключение этого раздела следует остановиться на одном из важнейших орудий культурной революции — на книге. На первый взгляд у нас дело здесь обстоит как будто благополучно: научной литературы, учебников, популярной массовой литературы у нас издается значительно больше, чем издавалось до войны. Мы можем гордиться тем, что в этом отношении, чуть ли не раньше, чем в других, мы оставили позади уровень царской России.

Многое, однако, нужно еще сделать и в смысле повышения качества книги, и в смысле ее распространения. Что касается первого, то это составляет особую большую тему, на которую много чего можно было бы сказать. Здесь необходимо подчеркнуть одно обстоятельство, имеющее решающее значение для продвижения книги: это вопрос о ее цене. Об этом говорилось на с'езде, и вполне резонно. Мы проводили и проводим кампанию по снижению цен. Но книга, — эта основная «продукция» культурной отрасли, — она как-то выпала из этой кампании и осталась в стороне от нее. Между тем всем известно, что книга дорога, что учебник имеет большую цену, что он иногда совершенно недоступен нашему в массе плохо обеспеченному учащемуся. Надо ли напоминать, что еще не так давно, а отчасти и теперь, несмотря на всеми отмечаемую жажду книги, мы имели и имеем такое парадоксальное явление, как затоваривание издательств и книжных складов, во-первых, из-за высокой цены книги, во-вторых, из-за неуменья ее распространять. К сожалению, мы мало заглядываем в недра наших издательств, слабо разбираемся по части всяких издательских «коэффициентов», лишь краем уха слышим о непомерно высоком уровне организационных и торговых расходов.

А в эти недра надо заглянуть, эти элементы стоимости книги надо сократить, цену книги надо снизить. Ведь здесь речь идет о повышении эффективности важнейшего орудия культурной революции.

V.

Все важнейшие принципиальные решения принимались XV с'ездом единогласно. Это единогласное голосование не является простой формой: оно свидетельствует о глубоком внутреннем единстве нашей партии, выражением которого был XV с'езд.

Людям, смотрящим на партию со стороны, это утверждение может показаться парадоксальным. Как? Ведь только что пережили острую внутрипартийную борьбу, ведь перед с'ездом и на самом с'езде ряд виднейших членов партии был из нее исключен. О каком единстве можно говорить?

Между тем, это единство партии, выросшей и укрепившейся, есть несомненный факт, которого мы не наблюдали в течение долгого ряда лет. Оппозиционная война против партии закончилась полным разгромом оппозиции. Последняя разбита наголову. Вся миллионная партия пришла на XV с'езд через тысячи собраний коллективов и конференций, на которых обсуждались все жгучие вопросы нашей жизни, еще более сплоченной и крепкой, чем раньше. А ничтожные остатки оппозиции, те ее элементы, которые в своей борьбе дошли до попыток взорвать самые устои партии и пролетарской диктатуры, были выброшены за борт этой миллионной партии. Мерой банкротства оппозиции, ее разложения является то заявление, которое группа Каменева-Зиновьева подала в последний день с'езда — после своего исключения из партии — и в котором она капитулирует перед партией, признавая антиленинский характер своих взглядов и антипартийный характер своей деятельности.

Таков исход внутрипартийной борьбы.

Этот исход отнюдь не является неожиданным. Ведь партия вела в продолжение многих лет борьбу с Троцким, пытавшимся сдвинуть ее с ленинских рельс. Дискуссии 1920 г., 1923 г. и, наконец, 1925—1927 гг. составляют последовательные этапы этой борьбы. В этой борьбе партия крепла и закалялась, все глубже проникалась идеями Ленина и в то же время все лучше распознавала меньшевистское лицо Троцкого. А троцкизм, в свою очередь, все больше разоблачал себя, развертывал все дальше в борьбе с партией клубок своих взглядов, обнажая их меньшевистский характер, прибегая ко все более недопустимым методам борьбы: поэтому его база внутри партии становилась все уже, ряды его сторонников становились все реже, его декларации получали все более слабый резонанс в партии. И когда он теперь, скатившись окончательно к меньшевизму, пошел в лобовую атаку против партии, он был без малейших колебаний выброшен ею за борт вместе с немногими своими верными оруженосцами.

Как будет дело обстоять дальше? Несомненно, ряд оппозиционеров понимает и поймет антиреволюционный характер своей борьбы и постучится в двери нашей партии. Эти двери откроются, как это заявил с'езд, для тех, кто честно сознает свои ошибки и докажет партии свое раскаяние и свою верность ей. Тех же, кто и дальше, за бортом партии, будет упорствовать в своих меньшевистских взглядах, ждет судьба политического маразма и разложения, какая постигла всех, поднимавших руку на нашу партию и революцию.

Что касается партии, то она после с'езда будет итти еще уверенней и тверже по своему пути.

Ее единство закреплено. Она надолго гарантирована от рецидивов появления в таком масштабе антиленинских уклонов и такого обострения внутрипартийной борьбы. Троцкизм, бывший основной опасностью в этом отношении, дискредитирован в глазах партии и рабочего класса вконец. Партия идейно выросла за эти годы, ее культурный уровень поднимается с каждым годом, она научилась разбираться в антиленинских уклонах. А все это является лучшей прививкой против заболевания отдельных частей партии этими уклонами. Наконец, мы идем по восходящей линии социалистического строительства. С каждым шагом вперед растут активность и творческий энтузиазм трудящихся, их вера в партию и в свое дело.

Все это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. Все это дает нам возможность утверждать, что XV с'езд «всерьез и надолго» закрепил ленинское единство партии.

Традиции американской „демократии“.

Ф. Капелюш.

Иллюзии о хваленой американской «демократии» давно развенчаны, но все еще весьма распространено мнение, что Америка лишь в последнее время превращается в мирового хищника и в международного жандарма Многие считают это превращение чем-то новым и неожиданным для «свободной Америки». Разумеется, вступая в фазу новейшего империализма, Америка уже не та, какой она была прежде; беспримерный рост ее экономики не мог не отразиться на всех остальных областях. Однако хищническая физиономия нынешних Соединенных штатов не может считаться чем-то абсолютно новым в их истории. Если «дипломатию доллара» и датируют примерно со времени испано-американской войны, то, с другой стороны, Соединенные штаты еще с самого начала своего существования обнаруживают в значительной мере хищнические, кулацкие и, во всяком случае, антидемократические черты; эти черты продолжают жить на всем протяжении американской истории.

В теоретических взглядах на демократию существует серьезный разнобой. Одни считают нынешнюю буржуазную «демократию» стадией упадка или вырождения. Этот взгляд соответствует вышеприведенному взгляду на перерождение американской демократии в наше время упадочного капитализма и империализма. Напротив, Гильфердинг на последнем партейтаге германской социал-демократии в Киле доказывал, что буржуазия вообще не создала демократии, что это будет делом пролетариата, сиречь социал-демократии. Увы, демократия Гильфердинга — это та же буржуазная демократия! Та же формальная машина выборов... Единственной правильной точкой зрения мы можем считать ту, которая проводит принципиальное различие между буржуазной «демократией» и пролетарской, советской демократией.

В настоящей статье мы не касаемся теоретической стороны вопроса. Наша цель — показать на исторических справках и параллелях традиции американской демократии. Конечно, и в этом смысле вопрос не может быть здесь полностью исчерпан. Мы пытались показать на конкретных примерах, что хищническое лицо нынешней Америки наметилось еще сотни лет тому назад.

Америку искони восхваляют как страну без традиций. Гете воспевал ее свободу от всяких традиционных уз:

Amerika, du hast es besser,
Hast keine verfallenen Schlösser,
Dich plagt nicht im Innern
Zu lebendiger Zeit
Unnützes Erinnern
Und vergeblicher Streit.

(Америка, твое положение лучше: у тебя нет развалин старых замков, тебя не терзают среди кипучей современности бесполезные воспоминания и праздные споры.)

Увы, на самом деле Америка — страна традиций, быть может, даже в большей степени, чем Европа. В первую очередь мы остановимся на религиозной традиции, а потом перейдем к социальной.

Традиции эти восходят еще к 1620 г., ко времени знаменитого «Mayflower», судна, на котором прибыли в Америку сто один переселенец— пуритане, иначе «отцы-пилипримы». Лицо современной Америки с ее бесчисленным множеством всякого рода религиозных сект, с ее невероятным религиозным ханжеством, так ярко проявившимся в недавнем пресловутом «обезьяньем процессе», с ее анекдотическими поповскими дискуссиями (играет ли бог в поккер и т. п.), это лицо современной Америки, в котором горячка новейшего капитализма так странно сочетается с гримасами допотопного религиозного мракобесия, все это ведет свою линию еще от первых поселенцев начала XVII столетия. Первые поселенцы в Америке были помимо хищников-золотоискателей (в Виргинии) [1]) сектанты (в Масачузетсе и др.), упрямые фанатики, столь же нетерпимые, как их преследователи в Англии. Даже апологеты Соединенных штатов и их истории отмечают, например, что неаккуратное посещение церкви колонистами каралось здесь строже, чем господствующей епископальной церковью в Англии [2]).

---

[1]) Уже в XVI столетии, в 1584—1587 гг., знаменитый Вальтер Ралей, фаворит английской королевы Елизаветы, прославившийся как родоначальник так называемых merchants-adventurers, купцов-авантюристов, полупиратов, полуторговцев, полупионеров, завоевывавших в своих хищнических торговых экспедициях целые страны, снарядил несколько экспедиций колонистов в Северную Америку, названную им в честь Елизаветы «страной девственницы», Виргинией. Экспедиции эти имели целью поиски золота. В то время царили ложные представления о близости Америки к сказочно-богатой Индии, и главным импульсом к экспедиции в Америку была надежда добыть там горы золота. Эта традиция хищничества-золотоискательства тоже живет еще в Америке XIX столетия. Виргиния, а также южные колонии (Мериленд, Каролина) были вначале заселены консервативными элементами. Когда был казнен Карл I, здесь в Виргинии с распростертыми об'ятиями приняли тысячи беглецов —«кавалеров», сторонников партии короля: законодательное собрание Виргинии об'явило государственными преступниками всех, кто не признавал законным королем Карла II.

[2]) Масачузетс долгое время сохранял этот теократический режим. В нем подвергались гонениям квакеры. Роджер Вильямс, стоявший за невмешательство светской власти в религиозные дела, а также за неот'емлемость прав индейцев на их землю, должен был бежать и основал Провиданс, ядро колонии Род-Айленд. Эта колония,

Вслед за «отцами-пилигримами» за десять лет (1629—1639 гг.) выехало из Англии в Америку около 20 000 пуритан. Они составили ядро. Их отличала смесь религиозной дисциплины с хозяйственной деловитостью. Проф. Макс Вебер и проф. Луйо Брентано не колеблясь связывают дух сектантства с экономическим преуспеянием американских колоний. Макс Вебер доказывает связь между «духом» капитализма и протестантской этикой; если не считать первичным фактором протестантизм, то эта аргументация убедительна и приемлема и для марксиста: эпоха раннего капитализма в Европе создала соответствующее религиозное движение, в частности индивидуалистическая идеология кальвинизма соответствовала периоду первоначального накопления, возводила хозяйственные добродетели в богоугодное дело. Экономический под'ем Голландии тоже был связан с переселением сюда протестантов, гонимых в других странах; гугеноты, бежавшие из Франции в Голландию, были наилучшими работниками, пионерами промышленности. На этой почве упорного труда, с одной стороны, а с другой — сектантской психологии [1]), происходил рост американских колоний. Долгое время эти колонии носили характер теократических автократий. Только члены церковной общины пользовались в них гражданскими правами; в то же время только землевладельцы, собственники... «Новую Англию (ядро американских колоний Англии), — пишет А. М. Саймонс («Социальные силы в американской истории»),— прославляли как колыбель социального равенства, и ораторы и поверхностные историки усердно отыскивают корни всех демократических учреждений в знаменитом городском собрании Новой Англии. На самом же деле вначале эти колонии являлись теократическими автократиями. Только лица, обладавшие собственностью и бывшие членами установленной церкви, имели голос в этих собраниях. Социальные градации с их привилегиями определялись законом вплоть до той одежды, которую дозволялось носить каждому классу, и до мест, отводимых их членам в доме собраний. Как только народился класс наемных рабочих, закон установил размер заработной платы его членов и старательно определил их положение». Итак, подобно тому, как в средневековой Франции во времена Филиппа Красивого знати разрешалась длина обуви в 48 сантиметров, горожанам — в 24, а крестьянам не больше 12 сантиметров, «свободная» Америка раз-

---

а также Коннектикут подвергались преследованиям со стороны Масачузетса, и потому им покровительствует Карл II. Позднее, в 1680 г., квакер Вильям Пенн основал нынешнюю Пенсильванию; любопытно, что этот божий человек в то же время был очень богатым человеком: Карл II должен был этому знаменитому квакеру огромную для того времени сумму в 16 000 ф. ст. и в уплату этого долга уступил ему большую территорию в Америке. Терпимость Пенна тоже была ограниченною и простиралась только на «верующих в единого бога».

[1]) Проф. М. Бонн («Geld und Geist vom Wesen und Werden der amerikanischen Welt», 1927) сделал по случаю своей недавней поездки в Америку открытие, что дух пуританства ведет здесь в последнее время к духу эллинизма. Это открытие обосновывается тем, что богатство есть досуг и сознательная рационализация всего уклада жизни». В отличие от весьма серьезных, научных построений Макса Вебера и Луйо Брентано мы имеем здесь чисто-фельетонный прием.

личным классам населения предписывала особую одежду. Это ли та свобода от традиций, которую воспевал Гете?

Засилье поповщины и мракобесия, которое бросается в глаза в нынешней Америке, имеет за собой трехсотлетнюю традицию. Такие факты, как «обезьяний процесс», не представляют собой ни новшества, ни исключения в современной Америке. Этот процесс, для многих явившийся столь неожиданным, столь анекдотическим, на самом деле отображает лишь крайне живучие традиции бывших теократических сектантских общин. Истерические секты современной Америки в то же время исторические секты. О силе пуританских традиций говорит, между прочим, также запрет спиртных напитков, но еще характернее, что даже рабочая делегация, присланная недавно из Соединенных штатов в СССР, в числе прочих вопросов действительно первостепенной важности проявила особый интерес также к вопросу о нашей «живой церкви»...

Переходим к вопросу о социальных традициях. «В некоторых отношениях, — пишет Саймонс, — английские виги были более последовательны и революционны, чем те, кто вел борьбу под флагом независимости американского континента; они (английские виги) сломили власть короля и палаты лордов, сделали палату общин верховной властью и заложили основы гораздо более демократического строя, чем тот, который знала Америка» (подчеркнуто нами). Одну из причин этого следует видеть в существовании в Англии могущественного класса землевладельцев, резко враждебно относившегося к поднимающемуся классу промышленных капиталистов, так что последний, в свою очередь, стоял перед необходимостью не давать пощады своим противникам. Ничего подобного не существовало в Америке. Здесь классовые противоречия выражались скорее в противоположности интересов кредиторов из промышленных и торговых кругов побережья, с одной стороны, и интересов должников-фермеров, с другой. Богатый класс в колониях не видел нужды в демократических мероприятиях для обеспечения себе союзников из неимущих классов, так как ему, в противоположность Англии, не приходилось вести борьбу ни против короны, ни против земельной знати». В результате автор отмечает антидемократический характер американской революции и конституции. Имущественный ценз характерен был для конституции всех штатов, за единственным исключением Пенсильвании. Верхней палате была дана такая же власть, как нижней. Из населения в 3 000 000 человек не более 120 000 получили право участвовать в выборах представителей в собрания штатов, которые должны были обсудить конституцию; причем лишены были избирательного права как раз те, кто почти единодушно высказывался против конституции, а именно — городские рабочие и должники-фермеры.

Конституция Соединенных штатов составлена была при закрытых дверях, на тайном собрании в Филадельфии в 1787 г. Это — весьма показательно. Лишь отчасти этот заговорщический характер об'яснялся опасениями сепаратизма отдельных штатов. Чрезвычайно симптоматичен состав

этого собрания. Оно состояло из 55 лиц; из них 14 были земельные спекулянты, 24 — денежные ростовщики, 15 — рабовладельцы, 11 — купцы, 40 — владельцы ассигнаций, скупленных ими по цене 9 центов за доллар, а потом восстановленных по номинальной стоимости (по инициативе Гамильтона федеральное правительство взяло на себя государственные долги колоний). Душой и организатором этого конспиративного собрания был Георг Вашингтон, идеальная фигура американской революции. Однако и Вашингтон не был рыцарем без упрека. Это был очень богатый человек и рабовладелец; в бытность свою королевским землемером, он пользовался своим официальным положением для земельных спекуляций, и, не случись революция, он потерял бы 300 000 акров земли (Саймонс). Мы подчеркиваем это не просто как факт личной материальной заинтересованности, а как показатель того, какого рода интересы тогда вообще преобладали; это были интересы примитивного, насильственного обогащения, характерного для периода первоначального накопления: земельные спекуляции, грабеж земли у индейцев, долговая кабала и, как еще увидим ниже, — контрабанда. Конституция, выработанная на тайном собрании в Филадельфии, была составлена в отсутствии Томаса Джефферсона, творца Декларации независимости (1774 г.); впоследствии Джефферсон, вернувшись из Франции, заставил «дельцов», творцов этой конституции, включить в нее десять дополнений, так называемый билль о правах, и только тогда штаты согласились принять ее. Делегаты Филадельфийского Учредительного собрания поклялись держать в тайне свои совещания, и только через полвека, в 1837 г., найдены были и куплены конгрессом записи Медисона, участника собрания, пролившие свет на то, что там происходило. Собрание всячески старалось создать правление не через народ и не для народа. Медисон утверждал, что «чистая демократия» [1]) являет картину «вечного кипения и мятежа, несовместимую с личной безопасностью и неприкосновенностью имущества граждан». Джерри (из Масачузетса) находил, что бедствия, испытываемые страной, коренятся в «излишествах демократии». На протяжении всех заседаний повторяются такие мотивы, как: «Народ должен иметь как можно меньше отношения к правительству; он нуждается в осведомлении, а его постоянно вводят в заблуждение» (Шерман из Коннектикута), или: «Бедняки, невежественные и простые люди не щадят труда, чтобы победить людей более достойных» (Джерри), или: «Не станем вмешиваться (в вопрос о рабовладении); по мере роста населения, нуждающиеся рабочие будут в таком изобилии, что рабство станет излишним» (Элсуорс из Коннектикута, возражавший против каких-либо ограничений рабства). Эти последние слова могут служить эпиграфом ко всей истории Со-

[1]) Термин «чистая демократия» понимается в диаметрально противоположных смыслах. «Чистая демократия есть деспотизм черни», заявлял Вольтер; напротив, Ламенне возглашал: „Чем больше мы приближаемся к чистой демократии, тем более исчезают причины смуты и революций. Луи Блан считал, что избирательная реформа 1867 г. водворит в Англии «царство истинной демократии»; лорд Дизраели-Биконсфильд, проведший эту реформу, заявлял, что она будет победой аристократии.

единенных штатов. В них самым циничным образом проявился тот специфический кулацкий, хищнический дух, который составляет фон и подоплеку этой истории. Учредительное собрание, а именно: южные рабовладельцы и северные работорговцы, добилось внесения в конституцию параграфа, предусматривающего, что ввоз рабов и работорговля не могут быть запрещены до 1807 г. Сам механизм этой конституции, действующей поныне, скроен крайне антидемократично. Президент облечен в сущности такой властью, какой уже давно не имеет английский король; тогда как этот последний лишен права вето, один Гровер Клевленд за два срока своего президентства (до 1896 г.) наложил свое вето больше, чем на 550 биллей, принятых конгрессом (этот президент являлся в сенат пьяный и в этом отношении был исключением, но его «постыдное самодержавие», как выражались некоторые американские политики, все же возможно было только благодаря реакционному характеру американской конституции; остальные президенты тоже наложили вето более, чем на сто биллей, прошедших в конгрессе); полномочия американского президента чрезвычайно велики не только в этом отрицательном, но также и в положительном смысле, его министры играют гораздо более подчиненную, второстепенную роль, чем министры европейских конституционных правительств. Укажем здесь еще только на диктатуру верховного суда, умышленно введенную американской конституцией; об ультрареакционном и единственном в своем роде характере этого института будет речь ниже.

Тогда как Французская революция освободила пути для буржуазии, экономически уже ставшей на ноги, американская революция в значительной мере происходила в эпоху первоначального накопления со всеми его характерными насильственными чертами; в известном смысле этот процесс продолжался в Америке еще долгое время, охватывая новые территории. Соответственно с этим, в Америке вошли в традицию, в плоть и кровь приемы и методы этого накопления. Французская революция отдала крестьянам земли церкви и феодалов; американская же революция старалась не допустить рабочих на имевшиеся тогда в великом изобилии девственные земли (еще в 1800 г. из 5 млн. жителей Соединенных штатов 3,5 млн. жили не далее 75 верст от берегов Атлантического океана). Эта черта представляет аналогию с процессом обезземеливания крестьян и огораживания общинных земель в эпоху зарождающегося капитализма в Европе. В этом отношении мы имеем свидетеля, не менее яркого, чем Георг Вашингтон, а именно великого Франклина, который «вырвал у неба молнию (изобретатель громоотвода) и скипетр у тиранов», Веньямина Франклина, который 4 июля 1776 г. провозгласил Декларацию независимости (американских колоний Англии от метрополии). С характерной откровенностью Франклин высказался в том смысле, что, пока существуют свободные земли, фабричная промышленность будет в Америке не возможна, так как никто не захочет стать наемным рабочим. В соответствии с этим Гамильтон (ад'ютант Вашингтона, один из главных творцов американской конституции, министр финансов при президенте Вашингтоне) провел закон, что продажа

общественных земель должна производиться исключительно участками не менее десяти квадр. миль, но тем не менее по цене не ниже двух долларов за акр, что должно было затруднить приобретение земли мелкими фермерами; напротив, земельным спекулянтам предоставлялись всевозможные льготы, в том числе долгосрочный кредит. Впоследствии, с увеличением класса городских рабочих, эта земельная политика оказалась ненужной. Но земельные хищения самого головокружительного свойства, самые наглые и беззастенчивые, продолжают стоять на очереди в Америке вплоть до наших дней. В книге бывшего сенатора Петигрю «Торжествующая плутократия» приведено не мало примеров, как путем подкупа сенаторов и властей оптом и в розницу железнодорожные компании и прочие тресты расхищают государственные земли, леса и т. д. Это тоже своеобразная американская традиция, она ведет свое начало еще от вытеснения индейцев с их земель.

А теперь остановимся на роли контрабанды в американской революции и на Джоне Ганкоке. В учебниках истории дело представляется так, что американские колонии отпали от Англии потому, что она не давала им развивать свою самостоятельную промышленность. Приводятся слова Чатама: «Мы не позволим Америке выковать ни одного гвоздя, ни одной подковы»... Указывается на действие так называемых навигационных актов, запрещавших привозить товары в Англию на неанглийских судах. Однако в последнее время такое об'яснение несколько поколебалось. Новейшие авторы склонны видеть в основе войны за независимость не столь столкновение колоний и метрополии, сколь столкновение между передовыми и консервативными элементами как в самой Англии, так в Америке [1]). Профессор Харвардского университета Эд. Чаннинг (A Student's History of the United States, 1898 г.) находит, что «если рассматривать всю систему торговых отношений Англии к ее американским колониям в ее совокупности, то никак нельзя сказать, что эта система была не выгодна для колонистов». Ж. Бишоп (History of American Manufacturers, цит. у Саймонса) пишет: «Даже в настоящее время многие страны, стоявшие на первом плане, когда впервые раздался стук топора в лесах Америки, в сущности менее независимы в отношении некоторых продуктов промышленности, чем были американские колонии ко времени революции». С одной стороны, собственная промышленность колоний к тому времени находилась еще совсем в зачаточном состоянии; с другой стороны, как совместить с пагубным влиянием навигационных актов тот факт, что уже ко времени наполеоновских войн Америка обладала самым сильным торговым флотом? (Во время этих войн — и вследствие их — американская морская торговля возросла с 43 млн. долларов в 1791 г. до 204 млн. в 1801 г., т. е. за десять лет увеличилась почти в пять раз). В американских колониях в пе-

---

[1]) «Мы не должны думать, что колонии возмутились против английского правления, как такового... Недовольство замечалось не только в колониях, но и в самой Англии» (Проф. Дж. Р. Сили, Расширение Англии, 19 3 г.).

риод, предшествовавший их отпадению, процветала контрабанда. Эта последняя доказывает, что колониальное законодательство Англии и навигационные акты проводились на деле весьма слабо. А. М. Саймонс видит главный толчок к отпадению в том, что английское правительство усилило строгости по отношению к контрабанде. «В Америке уничтожение контрабанды означало уничтожение коммерческой жизни Новой Англии». Об'яснение Саймонса прекрасно вяжется с фактами, непосредственно предшествовавшими отпадению и совершенно необ'яснимыми обычно принятым путем.

В самом деле, гербовый сбор, введенный в 1765 г. и вызвавший в Америке бурю протестов, был отменен уже на следующий год, в 1766 г.; так называемые акты Таунзенда, пошлины, введенные в 1767 г. парламентом по предложению министра Таунзенда[1]) (заметим, пошлины не на продукты американской промышленности, а на предметы ввоза в Америку), были отменены в 1770 г., за исключением одной единственной пошлины на чай, к тому же значительно сниженной. Английский парламент в самой широкой мере пошел на уступки. Сам Питт старший в палате лордов, Эдмонд Борк и Чарльз Фокс в палате общин выступали за удовлетворение требований Америки, это были виднейшие политические деятели в Англии. Замечательно, что на первом американском конгрессе (так называемый континентальный или Филадельфийский конгресс), собравшемся 5 сентября 1774 г. и заседавшем в течение сентября и октября, голоса за и против борьбы с Англией разделились поровну, и только большинством одного голоса были приняты вторая «Декларация прав» и «Соглашение» о прекращении торговли с Англией. Что же повело к разрыву?

---

[1]) Акты Таунзенда имеют следующую историю. Колонии не участвовали в государственных расходах Англии; после окончания семилетней войны в Европе, перенесенной также в Америку и приведшей здесь к тому, что Канада от Франции отошла к Англии, последняя, много затратившаяся на войну, решила привлечь к своим государственным расходам и колонии, тем более что последние получили от войны большую выгоду: Франция из Канады постоянно тревожила их, натравляла на них индейцев и т. п. Предполагалось получать от колоний в виде пошлин деньги на содержание их губернаторов и назначаемых последними судей; выплата этого содержания колониями наталкивалась прежде на трудности и оппозицию колоний. Что Англия прибегла не к прямому обложению, а к пошлинам, мотивировалось правами колоний: последние не были представлены в лондонском парламенте, поэтому он не имел права облагать их налогами. Да и вообще речь шла о небольших суммах: Семилетняя война велась в 1756—1763 гг., в ней участвовали Франция, Пруссия, Австрия, а также Англия и Россия. Война была перенесена Францией и Англией также в Америку. Франция в то время имела обширные владения в Сев. Америке. По Парижскому трактату 1763 г., которым закончилась семилетняя война, Франция вынуждена была уступить Канаду Англии. С этого времени начинается господство Англии в Канаде (а также в Индии) и усиление Пруссии; и то и другое произошло за счет Франции. Еще раньше, по так называемому Утрехтскому миру (1713 г.), закончившему так называемую «войну за испанское наследство», Франция тоже должна была уступить Англии обширные владения в Сев. Америке. Как видим, уже тогда, на заре капитализма — тогда даже в сугубой степени — интересы европейских государств сталкивались между собой в Америке, в колониях.

Историки любят останавливаться на знаменитом «чайном 'мятеже» в Бостоне, подавшим сигнал к отпадению. 16 декабря 1773 г. в Бостон пришли три корабля ост-индской 'компании с грузом чая; толпа, переодетая индейцами, выбросила в /море 342 ящика чая, то же сделали в Северной и Южной Каролине. Правоверные историки объясняют Бостонский мятеж «делом -принципа»: революционеры, мол, с негодованием отвергли подкуп, заключавшийся в снижении пошлин на чай. Саймонс, единственный марксистский историк Соединенных штатов, проливает совершенно новый свет на этот театральный эпизод и показывает нам, какого рода были эти «революционеры».

Снизив пошлину на чай, так что он мог продаваться в Америке дешевле, чем в Англии, где уплачивалась своя пошлина, англичане уничтожили выгодность занятия контрабандой и восстановили против себя контрабандистов. Не принцип и не пошлина, а именно понижение пошлины вызвало Бостонский мятеж. Бостонское восстание было организовано Джоном Ган,коком и Самуэлем Адамсом; этот Ганкок, «председательствовавший на конгрессе, на котором Франклин огласил Декларацию независимости, известен был в народе под кличкой «'короля контрабандистов», и как раз в (момент кровопролития при Лексингтоне, которым начались военные действия между Англией и Америкой, должно было разбираться в Бостонском суде дело о взыскании с Ганкока полмиллиона долларов за контрабанду. Как видим, здесь тот же момент личной материальной заинтересованности, что у Вашингтона с его земельными спекуляциями. Но и здесь это характеризует весь строй. Замечательно, что защитником Банкока на процессе должен был выступить никто иной, как Джон Адамс, впоследствии один из главных деятелей революции, ставший после Вашингтона президентом (1797—1801 гг.). Кто знает, какой бы оборот приняли дела в Америке, если бы не этот процесс Ганкока! Это не просто эпизод. «Девять десятых (купцов Новой Англии были контрабандисты. Четвертая часть всех подписавшихся под Декларацией независимости были торговцы, капитаны судов и деятели контрабандной торговли» («Американский торговый флот» Давида Г. Уеллса, цит. у Саймонса). Вот кто были деятели американской революции, вот подоплека и колыбель " «великой демократии»! Замечательно, что эта преобладающая роль контрабанды сохранилась еще с XVII столетия, когда Нью-Йорк был главным штабом морских разбойников, когда пираты делились добычей с королевскими губернаторами, когда, по словам историка, «все колониальное правительство втянуто было в пиратский промысел». Новая Англия и Юг извлекали обильные барыши из контрабанды и из пиратства. Они грабили суда Испании и Голландии, наживались на работорговле (это — богобоязненные пуритане-то!), ко времени революции здесь процветала морская торговля рабами, ромом, патокой, 'рыбой, а также контрабанда. Промышленность же, повторяем, находилась в зачатке.

Это — типичное хищничество периода первоначального накопления. Эти «традиции» долго еще продолжают жить в Америке, придают специ-

фическую окраску грубому, безудержному стремлению к наживе, обоготворению успеха, богатства, насильственным приемам, — пистолет в одной руке, Библия в другой, — психологии майн-ридовских флибустьеров и браконьеров, золотоискателей, ковбоев и т. д. Отсюда не далеко до «боссов», заправил в политике, скупающих голоса и превращающих демократию в карикатуру, не далеко до джингоизма и цезаризма, это — то,т же дух, те же традиции, тот же дух стяжательства и захватничества. Даже такие благосклонные наблюдатели, как Чарльз Диккенс («American Notes») и Алексис Токвилль (в своем классическом труде «Демократия в Америке», вышедшем в 1835 г.), отмечают грубость, жестокость, примитивность американского быта, бешеную погоню за богатством, преклонение перед силой и удачей. Эти черты приписывали в частности так называемой пограничной полосе, отвоевывающей пустыню, индивидуализму пионера, но они присущи вообще первым стадиям капитализма и на девственной почве Америки наложили свою печать на всю историю этой страны.

Проведем параллель. Если в наши дни компаньон Моргана, 'банкир Двайт Морроу, назначается посланником Соединенных штатов в Мексике, то 150 лет тому назад «контрабаидист-паариот» Джон Ганкок ¡председательствовал на конгрессе, объявившем независимость колоний. Это — своего рода генеалогическое дерево: в настоящее время политика делается банкирами, прежде ее делали контрабандисты, а еще раньше — пираты. Джон Ганкок, организатор Бостонского «чайного мятежа», в свою очередь, имел своим предшественником знаменитого купца-пирата Ралея. В XVI столетии Ралей отправлял в Америку фрегаты с несколькими сотнями вооруженных золотоискателей колонистов, а в XX столетии американские банкиры, эти merchants-adventurers новейшего стиля, отправили в Европу полтора миллиона солдат кровью добывать им золото. Тезис и синтез диалектической триады. В стадии монополистического капитализма и империализма оживают черты из стадии первоначального накопления.

В самом деле. Сначала магнаты американской промышленности вкупе с крупнейшими банками продали державам Согласия на миллиарды долларов военное снаряжение, продали по баснословным ценам!, сказочно обогащаясь на этом. Они делали это в то время, когда Соединенные штаты формально оставались нейтральными, — тоже своего рода контрабанда. Затем американские сверхкапиталисты, Морганы и братия, забеспокоились, что не смогут собрать свои долги. Тогда они впутали в войну Соединенные штаты, повторили традиции Джона Ганкока. Это обеспечило им их шейлоковские барыши: Соединенные штаты оказали союзникам государственные военные .кредиты, из которых должны были быть оплачены военные заказы союзников частным американским; фирмам. Вот для чего Америка вмешалась в мировую бойню и послала в Европу полтора миллиона своих солдат. Попутно американская военная индустрия заработала изрядный куш и на американских заказах. Предлогом для войны послужило требование «свободы морей», которой угрожала подводная война со стороны Германии; американские пираты нового стиля призывали бога и всех

святых во свидетели против германских пиратов и, закатывая глаза горе, возмущались гибелью «Лузитании». На самом же деле это возмущение, конечно, служило только удобным предлогом. Сам Вильсон проговорился в своей речи в Сан-Луи: «Конечно, это была торговая война». Еще циничнее признание председателя Федерального резервного банка Е. Гардинга, сделанное 22 марта 1917 г., накануне вступления Америки в войну. Вот это заявление·

«Как банкир и как кредитор, Соединенные штаты должны иметь место за столом мирной конференции и быть там в выгодной позиции, чтобы сопротивляться всяким предложениям отвергнуть долги. Необходимо твердо помнить, что мы вынуждены будем с дубинкой в руках вступиться за всякого (американского) гражданина, владеющего долгами». В меньшем масштабе американский империализм практиковал этот метод уже раньше по отношению к республикам Южной и Средней Америки. Да и другие страны прибегали к этому хищническому приему: еще в 1895 г. французские банкиры ссудили деньги полудикому правительству Мадагаскара, для того, чтобы потом Франция, под предлогом неуплаты процентов, отправила военную экспедицию на остров и завладела им. Но в таком грандиозном масштабе, как это сделала Америка в мировой войне, это еще никем не практиковалось. Конечно, современный империализм не является исключительной особенностью Америки, он лишь доведен ею до крайних пределов. Если Америка имеет своего Моргана или Рокфеллера, то Англия имеет своего Детердинга. Но при всем этом, повторяем, хищническая политика нынешней Америки находит себе известную параллель в ее прошлом.

Обратимся теперь к моменту, который является, так сказать, оригинальностью Америки. Мы имеем в виду рабовладение. Оно было уничтожено в Америке только в 1865 г., на четыре года позже, чем крепостное право в царской России! Апологеты «великой демократии» считают, что рабство было чуждым продуктом в этой демократии, что последняя все время боролась с ним, что междоусобная война между Южными и Северными штатами (1860—1865 гг.) велась именно из-за вопроса об уничтожении рабства и, наконец, что рабовладение не оставило никаких следов в нынешней Америке. Все это не соответствует действительности. Мы уже упоминали, что идеальная фигура американской революции Георг Вашингтон был рабовладельцем и — это, конечно, более показательно — что федеральная конституция на первых порах запретила всякие ограничения рабовладения. Поразительна та беззастенчивая откровенность, с которой Соединенные штаты на всем протяжении своей истории трактовали этот вопрос. Деятель революции Джон Адамс, — тот самый, который был защитником Ганкока на его процессе, — заявляет: «Идейные соображения могли иметь некоторое значение при уничтожении рабства в Масачузетсе, но действительной причиной было увеличение числа рабочих из белых, которые не хотели мириться с тем, что к их ущербу богатые пользовались этими черными конкурентами». Тот же Адамс на конгрессе 1776 г. заявляет: «Не имеет значения, как вы называете своих рабочих, свободными или рабами; в некоторых странах работающие бедняки называются свободными, в других —

рабами, но это различие чисто мнимое. Какое имеет значение, платит ли помещик своим работникам деньгами для покупки необходимого для жизни или же выдает им продовольствие натурой?» Пуритане и республиканцы трактовали вопрос о рабовладении только с узко-денежной точки зрения. Если выше аргументом против рабства служит то, что негры дешевле белых рабочих, то в 1706 г. в Собрании Масачузетса выступали с противоположным аргументом: рабовладение должно быть уничтожено, потому что белые слуги обходятся дешевле и более выгодны для колонии. Это — типичный американизм, стопроцентный американизм. Он имеет одно и то же лицо хищника двести двадцать лет тому назад и теперь. Добро бы еще, если республика только вынужденно переняла рабство, как наследие старых времен; нет, характерно, что рабовладение получило новый и могучий толчок уже в независимых и расцветающих Соединенных штатах. В начале XIX столетия рабство в Америке, казалось, умирало «естественной» смертью: раб оказывался слишком дорогим, он стоил в среднем триста долларов; но приобретение Луизианы и изобретение Эли Уитнеем хлопкоочистительной машины дали могучий толчок развитию хлопководства, первое открыло громадные новые территории, годные для плантаций, второе скачкообразно подняло производительность. Рабовладение, уже начинавшее отмирать, странным образом связалось с прогрессом новейшей техники, снова оказалось выгодным для плантаторов-хлопководов в южных штатах. Что касается гражданской или междоусобной войны, то официальная фразеология и правоверные историки представляют дело так, будто северные штаты выступили поборниками гуманности и вели войну с южными штатами за уничтожение рабства. Это нисколько не соответствует действительности. Юг отпал от Севера потому, что весь строй его экономики, все его экономические интересы пришли в противоречие с интересами Севера. «Говорить, что республиканская партия была организована и гражданская война была начата в целях отмены рабства — значит лишь повторять басню, придуманную уже после того, как война почти закончилась» (Саймонс). Президент Абраам Линкольн, о котором впоследствии сложились легенды и ореол борца за идеалы человечности, борца с рабовладением, напротив, еще накануне войны самым категорическим образом отвергал всякое посягательство на рабовладение. «Мы не имеем никакого права, — заявил он, — противодействовать рабовладению в тех штатах, в которых оно существует, и заявляем, что столь же не намерены противодействовать ему, сколь не имеем права на это». В своем первом президентском послании Линкольн заявлял, что его задачей является «оберегание союза», и притом с рабством или без него... В своем стремлении сохранить, во что бы то ни стало, союз, северные штаты были столь равнодушны к вопросу о рабстве, что после избрания Линкольна президентом обе палаты конгресса приняли постановление о дополнении к конституции, навсегда утверждающем институт рабства и предусматривающем, что впредь не допустимо представление конгрессу каких-либо дополнений к конституции, отменяющих или ограничивающих рабство.

Повторяем: это происходило одновременно с отменой крепостного права в царской России. Если бы южные, хлопководческие, штаты не отпали от Союза и этим не подали сигнала к междоусобной войне, то кто знает, быть может, рабство до сих пор украшало бы «великую американскую демократию»... Не верно также утверждение, что после междоусобной войны от рабства не осталось следов в современной Америке. Это утверждение явно противоречит фактам. Положение негров в нынешней Америке является красноречивейшим опровержением его. Бесправность негров, неизменно повторяющиеся случаи зверского линчевания негров (чисто американский «институт»), варварские убийства безоружных людей освирепелой толпой при попустительстве со стороны властей — все это достаточно известно и далеко не случайное, наносное пятно на «великой» демократии.

Остановимся в заключение на столь характерном для американской демократии всесилии судов. Один французский ученый, профессор Лионского университета, даже озаглавил недавно свой труд об Америке: «Правление судей и борьба против социального законодательства в Соединенных штатах» [1]).

Правление судов — это оригинальная и весьма существенная черта американской демократии. Всесилие судов, конечно, прикрывается елейной маской нелицеприятия и об'ективности, но на самом деле оно выступает с самой заядлой, неприкрашенной откровенностью слуги капитализма. Позорное дело Сакко и Ванцетти, их казнь, вызвавшая возмущение всего мирового пролетариата и культурного человечества, показывает, на что способны «беспристрастные» американские судьи и в своем услужении капитализму. Под маской судебной независимости и об'ективности здесь был брошен наглый вызов мировому рабочему движению. В известном смысле наглое бравирование судьи Тайера перед лицом всего возмущенного мирового пролетариата имеет своей подоплекой роль суда в Америке, тот факт, что сама американская конституция поставила суд превыше всего, как бы над конституцией.

Верховный федеральный суд [2]), отчасти и верховные суды отдельных штатов имеют право об'являть постановления конгресса и законодательных палат штатов антиконституционными и, отказывая в судебной защите вытекающих из них прав, фактически отменять законы. Приэтом вся эта практика верховного суда проводится в самом реакционном духе. Когда в 1881 г. штат Пенсильвания принял закон против выплаты рабочим зарплаты товарами из так называемых заводских лавок. (худший вид эксплоатации), верховный суд этого штата признал этот закон антиконституционным, как ограничивающий «свободу» рабочего наниматься по своему усмо-

---

[1]) Ed. Lambert, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux Etats-Unis, 1921 г.

[2]) Мы увидим ниже, что речь идет не только о верховных судах штатов и Союза. И простые суды еще в XVIII столетии вызывали против себя в Америке даже вооруженные восстания.

рению; целых 20 лет законодательная палата Пенсильвании тщетно боролась против этого судебного решения и только в 1901 г. достигла своей цели, а именно обходным путем, обложив такие товары особым большим налогом. В ряде штатов верховные суды вели борьбу против законодательства о вознаграждениях рабочих за увечья. В 1908 г. федеральный верховный суд об'явил антиконституционным закон, запрещавший железнодорожным компаниям увольнять рабочих за принадлежность к профсоюзам. В 1918 г. тот же суд выступил против законодательного ограничения детского труда. В 1917 г. верховный суд признает недействительным закон о восьмичасовом рабочем дне для железнодорожников. Мало того, верховный федеральный суд не только «раз'яснил» в 1911 г. (по делу нефтяного треста) так называемый закон Шермана против трестов и об'явил, что этот закон касается только трестов, «выходящих за разумные пределы», — этот суд ухитрился даже превратить антитрестовский закон в его противоположность, обратить его в орудие против рабочих, применять его против стачечников и присуждать профсоюзы к покрытию убытков, нанесенных фабриканту. Петигрю сообщает даже следующий прямо анекдотический факт: судья Вандервендер, назначенный Рузвельтом, вынес решение, об'являющее незаконным закон о подоходном налоге, так как он требует уплаты налога от президента и от судей.

Вот какова роль верховного суда в Америке, о которой мы читаем у Джона Брайса в его считающемся классическим произведении «Американская республика»: «Между американскими учреждениями, — говорит он, — одно из самых удивительных, это — суды, они больше всего содействовали сохранению внутреннего спокойствия страны и развитию ее благосостояния». И уж совсем восторженно отзывается русский писатель П. Г. Мижуев в своей «Истории великой американской демократии»: «Федеральная юстиция,—пишет он,—исполняет в Америке чрезвычайно высокую миссию, более высокую, чем какое-либо из аналогичных учреждений на всем земном шаре». Да, действительно...

Чарльз Уоррен [1]) обосновывает эти славословия верховному суду. «Американский народ, — говорит он, — может быть спокоен за судьбу своих конституционных вольностей, пока они находятся в верных руках судебной власти; если какой-нибудь орган должен обладать неограниченными полномочиями, то скорее их следует вручить суду, нежели конгрессу, и— независимым (!) судьям, нежели судьям, зависящим от народных выборов с их партийными страстями и политической борьбой» (подчеркнуто нами).

Другой апологет американской конституции Бек [2]) сам замечает, что во Франции революция свела на-нет право судебных учреждений старого режима отказывать в регистрации и применении королевских законов; Бек подчеркивает также, что в Англии подобная прерогатива судов сменилась

[1]) The Supreme Court in United States History, 1924.

[2]) James Back, Constitution of the United States, 1926. См. И. Д. Ильинкий, Кризис буржуазной юриспруденции, 1927 г.

доктриной о всемогуществе парламента [1]). Итак, достоинство американской конституции в том, что она ввела в Америке то, с чем покончили в Европе французская и английская революции... Верховный суд с его восемью членами назначается пожизненно президентом и утверждается сенатом, народ не контролирует этот институт даже косвенно.

Всемогущий институт верховного суда создан был для защиты «личности» от государства, от народа, от партий, от большинства. Он должен был служить «защитником свободы личности от посягательства большинства». По мысли конституции, суд должен служить сдержкой и противовесом, арбитром между тремя различными властями. Но с течением времени, как отмечает в своей книге об истории конгрессионального правления Вудро Вильсон, в конгрессе стали расти чисто-правительственные функции, с другой стороны, то, что конгресс приобрел в области управления, он потерял в основной своей области, законодательстве, федеральный суд превратился в третью законодательную палату.

Ту же черту, «упадок значения законодательных органов за счет укрепления исполнительной власти, прямо опирающейся на партийную машину», подчеркивает Е. Пашуканис, как одну из сторон «процесса вырождения буржуазной демократии» (предисловие к I тому «Демократия и политические партии» М. Острогорского). Черты вырождения буржуазной демократии мы находим, впрочем, у самой ее колыбели [2]).

Корней этого исключительного положения суда в Соединенных штатах следует искать еще в тот период, когда колонии находились в определенно выраженной стадии первоначального накопления. Американский суд был воплощением социальной реакции еще в половине XVIII столетия; уже тогда в колониях повсюду требуют ограничения власти судов. Это связано было с чрезвычайной задолженностью низших слоев, характерной для стадии примитивного накопления; в значительной мере тогдашнее американское общество состояло из должников, с одной стороны, и кредиторов, с другой. Кредиторы-ростовщики были третьим звеном в цепи: земельные спекулянты, контрабандисты-торговцы и кредиторы, представители ссудного капитала. Орин Дж. Либби («Географическое распределение голосов в тридцати штатах по вопросу о федеральной конституции», цит. у Саймонса) рисует картину двух лагерей: за конституцию были купцы, представители ссудного капитала, крупные землевладельцы и пр., против конституции были пограничные поселенцы, должники и пр. Каждый раз

---

[1]) Когда один английский суд осмелился отметить парламентский акт, главный судья Трасилиян был повешен, а его коллеги были изгнаны из страны. С другой стороны, до недавнего времени для Англии была характерна апелляция к судам на акты администрации.

[2]) Это относится, главным образом, к Америке. Если в Англии тоже «законодательная инициатива фактически почти отнята у депутатов, палата больше не пользуется законодательной властью в конституционном смысле, а кабинет, исполнительная власть законодательствует с разрешения большинства» (Острогорский), то это — сравнительно новое явление (причем Острогорский противоставляет палату партиям), тогда как в Америке эта эволюция, в сущности, заложена была уже в самой ее конституции.

снова вспыхивала вражда пионеров, т. е. пограничников-должников к кредиторам побережья. В Масачузетсе должники из среды народа избрали законодательное собрание с определенной программой, а когда кредиторы Бостона всяческими способами деморализировали это собрание, «фермеры начали сопротивляться судам и запугивать их». В результате вспыхнуло даже вооруженное восстание под предводительством Даниеля Шейса. Оно было направлено против судов и вызвано было тем, что суды пытались приступить к насильственному взысканию долгов. Саймонс подчеркивает, что приэтом нашли себе выражение коллективистские идеи. Подобное же положение возникло в Род-Айленде, здесь «возгорелась своего рода гражданская война», причем должники добивались приема в оплату долгов бумажных денег. Под влиянием этих восстаний «капиталисты, которые прежде, в 1776 г., были за бумажные деньги, за **ограничение власти судов** (подчеркнуто нами), за естественные права и за всю гамму демократических принципов, теперь, в 1786 г., отвергли все эти принципы и предоставили их запутавшимся в долгах фермерам и рабочим» (Саймонс) (заметим в скобках, что имущие слои были за бумажные деньги постольку, поскольку сами являлись должниками, а именно англичан, вообще вопрос об обесценивающихся бумажных деньгах играл весьма важную роль в социальном переплете того времени). Но всего замечательнее, что еще в тридцатых годах прошлого столетия долги и суды являются больным местом американской социальной жизни. Еще в 1829 г. в Соединенных штатах существовало заключение в тюрьму за долги. Общество по изучению тюремного дела констатировало в своем отчете за 1829 г., что в Соединенных штатах ежегодно заключается в тюрьму более 75 000 человек. Это в величайшей из демократий! Более половины этого числа заключались в тюрьму за долги менее 20 долларов. В 1829 г. впервые избран был в Нью-Йорке в законодательное собрание рабочий кандидат Эбенезер Форд, и замечательно, что в платформе рабочего собрания, состоявшегося 29 декабря 1829 г. в Нью-Йорке, на первом месте стояло требование отмены заключения за долги, в другой рабочей платформе — требование реформы судов [1]).

---

[1]) Еще в начале 40-х годов мы находим в Америке «движение должников». Впроэм, на сей раз оно носит несколько иной характер; это — движение против уплаты осударственных долгов штатов. По Соед. штатам прокатилась волна так наз. репудиаий, отказов от признания государственных долгов; ряд штатов, в том числе и самых огатых, фактически оказался банкротами. В 1841-42 г. фактически банкротировали деять американских штатов, а годом раньше, в 1840 г., американский сенат высказался, то федерация не несет ответственности за долги отдельных штатов. В Нью-Йорке возикло «движение против рантье», в Род-Айленде произошел бунт Дорре, в Генсильвании, ериленде и других штатах правительство перешло в руки должников, губернатор штата иссисипи, самого богатого штата в то время, наложив свое вето против одного иностраного займа, говорил о «крови Иуды и Шейлока в жилах Ротшильда»... Типичная фразеоогия «стопроцентных американцев» на сей раз служила государственному банкротству! ти факты не бесполезно вспомнить в наше время, когда Соед. штаты и слышать не хотят б аннулировании военных долгов своих бывших союзников, когда Юз выступал поорником купеческой добродетели и возмущался нашим аннулированием царских долгов.

Итак, начиная от мятежа Даниеля Шейса, от восстаний должников и требований ограничения власти судов в половине XVIII столетия и вплоть до первых шагов рабочего движения в XIX веке, в Америке вопрос о судах играет кардинальную роль. Всесилие суда коренилось здесь в условиях первоначального накопления и долговой кабалы. Это было той социальной почвой, на которой пышным цветом распустилась ультрареакционная диктатура верховного суда, то «правление судов», которое служило фоном для гнусного дела Сакко и Ванцетти. Этот чудовищный вызов мировому пролетариату точно так же не является неожиданностью и новшеством в истории Соединенных штатов, как не является им пресловутый обезьяний процесс. Гете ошибся. Америка имеет свои «демократические» традиции...

В заключение приведем несколько фактов из самого последнего времени, иллюстрирующих американскую «демократию».

В штате Индиана, очаге американского фашизма, так наз. ку-клукс-клана, городской голова гор. Индианополиса, некий Дюваль приговорен к тюремному заключению за подкуп и взяточничество в связи с последней избирательной кампанией. Представители этого города в федеральном сенате Уотсон и Робинсон обвиняются в различных темных проделках и ожидают суда. Бывший губернатор штата Маккрей осужден за разные преступления на десять лет тюремного заключения. Нынешний губернатор Дикексон привлечен к ответственности за взяточничество. Бывший губернатор и «главный дракон» (т. е. староста) ку-клукс-клана Стифенсон осужден за убийство сожительницы. Лишь вследствие внутренней склоки среди заправил администрации штата — суд вынужден был вывести на чистую воду этих лиц («Правда» от 25 ноября 1927 г.). Такие же уголовные суб'екты сидят и в других местах. Даже буржуазная газета «Нью-Иорк Таймс» вынуждена сделать следующее знаменательное признание: «Нельзя сказать, что Индиана хуже какого-либо иного американского штата или большинства наших штатов». В самом деле — говорит «Правда» — чем Чикаго с его отцами города-самогонщиками и содержателями тайных притонов или Нью-Иорк с его пресловутым режимом до мозга костей развращенных и продажных политиканов «Тамани-Холл» лучше Индианополиса?

А вот что случилось совсем недавно в другом штате, Оклагоме. Здесь губернатор Джонстон — очевидно, тоже проворовавшийся — навлек на себя нарекания в парламенте штата и запретил обсуждать вопрос о его управлении. Когда парламент собрался, несмотря на это запрещение, губернатор разогнал его военной силой... Конечно, верховный суд штата признал за губернатором право употреблять военную силу против парламента! 12 декабря 1927 г., по приказу Джонстона, здание парламента было оцеплено войсками; последним дана была в подмогу пулеметная рота! Под предводительством одного бригадного генерала солдаты ворвались в парламент и выгнали депутатов. В настоящий момент город Оклагома об'явлен губернатором на осадном положении; на всех площадях города выставлены сильные военные караулы, парламент оце-

ен солдатами, губернатор заявил, что арестует каждого депутата, который пытается обратиться к жителям с речью...

Недурные нравы, не правда ли, происходят на наших глазах в стране еликой демократии»? Заметьте, вороватый губернатор выбран самим населением штата. Это придает особую пикантность 18 брюмера мистера Джонона. Еще характернее, что за спиной депутатов, возмутившихся денежими аферами губернатора, стоит, по сообщениям газет, цементный трест! .к видим, один другого стоит. Все это — настоящий «стопроцентный амеканизм», цветочки и ягодки американской «демократии». Кстати сказать, ат Оклагома, находящийся в соседстве с Техасом, оказался в последнее емя в центре самой интенсивной нефтяной горячки; здесь открыты были эмадные нефтяные залежи, и индейское племя осагов, состоящее всего из ух тысяч человек, вдруг разбогатело, оно получало 18 миллионов долларов год за аренду своих участков — на этой почве произошли невероятные эдейства и преступления, и в прошлом году состоялись сенсационные процессы, на которых обнаружилось, что арендаторы-нефтяники самым бесцемонным и зверским образом стараются избавиться от индейцев-землевладельцев и отправить их на тот свет.

Словно по иронии судьбы, как раз в это время — об этом недавно сощалось в иностранной прессе — американские индейцы отправили делегаю к городскому голове города Чикаго, в другом конце Соединенных штав, с жалобой на то, что в учебниках истории и в народных школах Соединных штатов детей пичкают баснями о том, будто индейцы во время своих эв с белыми отличались своей жестокостью и в частности своим варварским ычаем скальпирования. На самом деле — утверждает делегация — этот стокий обычай вовсе не был известен индейцам раньше, он был введен эвыми белыми поселенцами, благочестивыми «отцами-пилигримами», прии скальп служил доказательством, что враг действительно убит, поселнцы платили даже особую премию, если на скальпе имелись оба уха... репечатано в «Фоссише Цейтунг» от 10 декабря 1927 г.). Мы не имеем зможности проверить это утверждение. Во всяком случае оно весьма авдоподобно. Прошлогодние процессы в штате Оклагома — хотя и не буквальном смысле — повторяют эти традиции...

Н. А. Некрасов и его современники.

(К 50-летию со дня смерти Н. А. Некрасова).

В. Евгеньев-Максимов.

Некрасов и Белинский.

О том, насколько благотворную роль сыграл Белинский и в жизни и в литературной деятельности Некрасова, писалось достаточно. Не повторяя общеизвестных суждений об этом И. И. Панаева, А. Я. Панаевой, П. В. Анненкова, отметим, что Некрасову не мало пользы принесли и рецензии Белинского об его произведениях, даже тогда, когда они имели резко отрицательный характер. Вот некоторые тому подтверждения.

Литературный дебют Некрасова: вышедший в конце 1839 г. из печати сборничек «Мечты и звуки», который, в значительной части, составили стихотворения, написанные, по всей вероятности, еще в ярославских палестинах, свидетельствовал о том, что юный поэт находится всецело под властью поэтических штампов, создавшихся в эпоху, когда безраздельно господствовали изысканная, утонченная, органически связанная с барской культурой поэзия высокого языка и стиля, нашедшая высшее свое выражение в творчестве Пушкина. В «Мечтах и звуках» Некрасов пытался писать под Жуковского, под Пушкина, под Лермонтова, иногда под таких поэтов, как Бенедиктов и Подолинский, одним словом, проявил себя поэтом чисто эпигонского склада. Было весьма важно, хотя бы резким словом, отвратить Некрасова от пути, который ничего хорошего не сулил ему в будущем. Это резкое, беспощадно резкое слово было произнесено по адресу Некрасова Белинским, тогда еще совершенно не знавшим его лично. В своей рецензии, напечатанной в «Отечественных записках» (1840 г., т. IX, № 3), Белинский, утверждая, что «стихи решительно не терпят посредственности», писал: «конечно, и в лишенных поэтической жизни стихотворениях тотчас можно отличить в авторе человека-фразера, наклепывающего на себя различные ощущения, чувства и мысли, которых в нем не было и нет и не будет, от человека с душою, но обманывающегося в своем призвании..., но прочесть целую книгу стихов, встречать в них все знакомые и истертые чувствования, общие места, гладкие стишки и много, много, если наткнуться иногда на стих, вышедший из души, в куче рифмованных строчек, — воля ваша, это чтение, или, лучше сказать, работа, для рецензентов, а не для публики, для которой

довольно прочесть о них в журнале известие вроде «выехал в Ростов»... Таким образом, рецензия Белинского отказывала Некрасову в даровании, на том, преимущественно, основании, что он «наклепывает» на себя чужие «ощущения, мысли и чувства», что в его стихах преобладают «все знакомые и истертые чувствованьица, общие места» и т. д., иными словами, употребляя нынешнюю терминологию, что Некрасов пользуется готовыми штампами старой литературной школы. Известно, как велик был авторитет Белинского среди литературной молодежи того времени. А потому не трудно себе представить, какое впечатление его уничтожающий отзыв должен был произвести на юного Некрасова. Едва ли преувеличены рассказы о том, что Некрасов, под влиянием этого отзыва, ходил по магазинам и на последние деньги скупал розданные на комиссию экземпляры своего сборничка, чтобы истреблять их.

Как только Некрасов, как поэт, начал нащупывать у себя под ногами твердую почву и выходить на путь самобытного творчества, отзывы Белинского об его произведениях резко изменились.

Первую похвалу Белинского Некрасов заслужил своим рассказом из мира петербургского люмпен-пролетариата «Петербургские углы», помещенном в 1 части альманаха «Физиология Петербурга». Находя, что рассказ этот — «живая картина особого мира жизни... картина, проникнутая мыслью», Белинский, стесненный цензурными рамками, только намекнул на то, что́ это за мысль. В опровержение суждений некоторых газетных критиков, что рассказ «плох, исполнен сальностей и дурного тона», Белинский писал: «Никакой истинный аристократ не презирает в искусстве, в литературе изображения людей низших сословий и вообще так называемой низкой породы... нечего и говорить о том, что люди низших сословий прежде всего — люди же, а не животные, наши братья по природе и о Христе, — и презрение к ним, из'являемое печатно, очень неуместно».

Во второй рецензии об альманахе «Физиология Петербурга» («Отечественные записки», 1845 г.) Белинский расхвалил бичевавшую обывателей-чиновников сатиру Некрасова «Чиновник», назвав ее «одним из тех в высшей степени удачных произведений, в которых мысль, поражающая своей верностью и дельностью, является в совершенно соответствующей ей форме»..., «одним из лучших произведений русской литературы 1845 г.».

В отзыве о «Петербургском сборнике» («Отеч. зап.», 1846 г.) из помещенных в нем мелких стихотворений Белинский выделяет, как «самые интересные», те, которые «принадлежат перу издателя сборника» (т. е. «В дороге», «Пьяница», «Отрадно видеть», «Колыбельная песня») и характеризует их в следующих выражениях: «они проникнуты мыслью; это не стихи к деве или луне; в них много умного, дельного и современного». Затем критик выписывает все стихотворение «В дороге».

Воспоминания Панаева дополняют приведенные данные об отношении Белинского к Некрасовским стихам этого времени. Согласно этому источнику, именно стихотворение «В дороге» вызвало слезы на глазах Белинского и заставило его воскликнуть: «Да знаете ли вы, что вы поэт — и поэт истин-

ный!». Панаев утверждает, что и стихотворение Некрасова «К родине» (т. е. «Родина». *В. Е.-М.)* «привело Белинского в восторг, и он выучил его наизусть».

Итак, какие же мотивы в творчестве Некрасова были одобрены Белинским? Изображение в сочувственных тонах «людей низкой породы» как из мира городской бедноты, так и из мира крепостных крестьян («Петербургские углы», «Пьяница», «В дороге»); резкие сатирические выпады против правящих социальных групп («Чиновник», «Колыбельная песня»); открытое отречение от своего класса, как класса рабовладельческого, как класса, об'единившего насильников и эксплоататоров («Родина»). Если считать, что в стихотворении «В дороге» в зачаточном виде содержатся народнические настроения, то необходимо признать, что и они были одобрены Белинским. Одним словом, Белинский ценил в формировавшейся в те годы идеологии Некрасова как раз те стороны ее, которые, преимущественно, являются достоянием идеологии разночинцев-демократов, в 40-х и 50-х годах только еще пробивавшихся на поприще литературной деятельности, но в 60—70-х годах захвативших на этом поприще командные высоты. Нет надобности доказывать, что именно разночинцам русская литература обязана тем, что «физиология» больших городов, низины городской жизни с их жалкими обитателями люмпен-пролетарского типа сделались об'ектом литературного воспроизведения, что именно разночинцы, войдя в литературу, напитали ее духом протеста в отношении как господствующих классов, так и вообще устоев тогдашнего социально-экономического строя, основанного на угнетении и эксплоатации государством и подпиравшими его социальными группами широких масс трудящегося населения; наконец, народническая струя в литературе также, в значительной степени, является результатом проникновения в литературу все тех же разночинцев.

Белинский в своих отзывах о Некрасове точно предвидел, что ему суждено стать певцом протестующих разночинцев (выражение Г. В. Плеханова из его классической статьи о Некрасове) и всячески старался поддержать его на избранном им пути.

Понятно, что Некрасов чувствовал себя бесконечно обязанным Белинскому.

Тем более неожиданными представляются, на первый взгляд, некоторые стороны в поведении его относительно Белинского в 1847 г., когда в руки его и И. И. Панаева перешел журнал П. А. Плетнева «Современник». Ни Некрасов, ни Панаев не скрывали того, что одной из побудительных причин, заставивших их предпринять хлопоты по заарендованию «Современника», являлось стремление создать свой орган для Белинского, которого эксплоататорские замашки Краевского незадолго перед тем вынудили порвать с «Отечественными записками». Вот очень красноречиво говорящий об этом отрывок из письма Панаева к Н. Х. Кетчеру от 1 октября 1846 г.:

«Ты, я думаю, не забыл, Кетчер, сколько раз в бытность твою в Петербурге мы толковали о тяжелых, невыносимых отношениях Белинского к Краевскому и мечтали вместе с Белинским о том, как бы хорошо было завести свой журнал. Мечта эта казалась нам очень привлекательною, но почти

неосуществимою. Об этом мечтали и не мы одни. Все наши московские приятели мечтали о том же. Все мы (кажется, это так) хотели действовать заодно, общими силами, каждый, разумеется, по мере своих способностей. Все готовы были какими-нибудь средствами исхитить Белинского, говоря высоким слогом, из железных лап бессовестного и бесстыдного спекулятора. Желания наши были горячи, — да средств не было. — Наконец, теперь нашлись средства, и осуществились мечты. — Имея в виду купить журнал, я прежде всего думал о Белинском. Журнал и Белинский нераздельны в моих понятиях. И для чего же мне было рисковать покупкою журнала, употреблять на это мои последние деньги, если бы я не был убежден в том, что это вместе и желание Белинского, и единственное средство, остающееся ему к поддержанию его материального существования?..

О том, что Белинский не имеет никаких средств к существованию без журнала, ты, я думаю, не сомневаешься. Мои выгоды еще неизвестны, а Белинский уже будет обеспечен с той минуты, как начнется журнал, или, по крайней мере, будет иметь определенный, верный доход, без чего ему существовать невозможно. — Все другого рода труды и предприятия безнадежны... Из всего этого ясно, что только журнал и один наш журнал есть спасение Белинского. — Тут чистые деньги, а не надежды на деньги, часто обманчивые. Белинскому писано об этом, и сам Белинский не может не понять этого, ибо все это ясно, как божий день».

Слова «Белинскому писано об этом» доказывают, что новые издатели «Современника» заблаговременно уведомили Белинского о том, что они затевают журнал, который вполне обеспечит его материально. Возможно, что их письма были поняты Белинским в том смысле, что он, подобно Некрасову и Панаеву, будет одним из полноправных хозяев «Современника», одним из руководящих участников данного журнального начинания. Однако этого не произошло. Что же произошло в таком случае? На этот вопрос предоставим ответить Тургеневу, который в 1869 г. напечатал на страницах «Вестн. Европы» (№ 4) свои воспоминания о Белинском. В них он прямо заявляет, что Белинский был «постепенно и очень искусно устранен от журнала, который был создан собственно для него», и «вместо хозяйского места, на которое имел полное право, занял место... наемщика».

В подтверждение Тургенев цитировал отрывки из двух писем Белинского к себе: из письма от 19 февраля 1847 г. и из письма от 1 марта. Из первого письма Тургеневым было приведено следующее место, содержащее рассказ Белинского об об'яснении его с Некрасовым по вопросу об его роли в «Современнике»: «Получил от К. ругательное письмо, но не показал Некрасову. Последний ничего не знает, но догадывается, а делает все-таки свое. При об'яснении со мною он был не хорош; кашлял, заикался, говорил, что на то, что я желаю, он, кажется, для моей же пользы согласиться никак не может по причинам, которые сейчас же об'яснит, и по причинам, которых не может мне сказать. Я отвечал, что не хочу знать никаких причин, — и сказал мои условия. Он повеселел и теперь при свидании протягивает мне обе руки; видно, что доволен мною вполне. По тону моего

письма вы можете ясно видеть, что я не в бешенстве и не в преувеличении. Я любил его, так любил, что мне и теперь иногда то жалко его, то досадно на него — за него, а не за себя. Мне трудно переболеть внутренним разрывом с человеком, а лотом — ничего. Природа мало дала мне способности ненавидеть за лично нанесенные мне несправедливости; я скорее способен возненавидеть человека за разность убеждений или за недостатки и пороки, вовсе для меня лично безвредные. Я и теперь высоко ценю Некрасова, и тем не менее он в моих глазах — человек, у которого будет капитал, который будет богат, а я знаю, как это делается. Вот уж начал с меня. Но довольно об этом»...

Приходится констатировать, что автор «Отцов и детей», поддавшись враждебному чувству к Некрасову, не выказал в данном случае должной об'ективности: напечатанные им строки из второго письма охватывают только ту его часть, где Белинский оправдывает поведение Некрасова лишь обоюдоострым соображением, что Некрасов, как человек, выросший в «грязной положительности», не дорос до понятия о «высшем праве», которое исповедывалось прочими членами кружка; другая же часть письма Белинского, в которой он, полемизируя против своего прежнего отзыва, доказывает, что Некрасов никогда не будет капиталистом, и что между ним и Краевским нет ни малейшего сходства (см. Белинский, Письма, т. III, стр. 169—170), — Тургеневым была оставлена под спудом...

Оставленное под спудом могло значительно ослабить впечатление от опубликованных Тургеневым отрывков, но так как содержание его никому не было известно, то в глазах всей читающей публики статья Тургенева в «Вестнике Европы» была воспринята как попытка гласного денонсирования Некрасова, к тому же попытка, солидно обоснованная. Впечатление от этого выпада Тургенева против Некрасова усугублялось тем, что Тургенев, сознательно или бессознательно, но выбрал для него чрезвычайно удобный момент. Только что (в марте месяце) вышла из печати брошюра М. А. Антоновича и Ю. Г. Жуковского «Материалы для характеристики современной русской литературы», в которой эти бывшие сотрудники «Современника» доказывали, что вся, не только журнальная, но и поэтическая, деятельность Некрасова имеет лишь одну цель — наживу; ради наживы Некрасов способен решительно на все — на ложь, на лицемерие, на отречение от своих друзей и единомышленников, как, например, это было с Чернышевским, на подблюдные песни (намек на стихотворение Некрасова в честь гр. Муравьева, прочтенное на обеде в Английском клубе) и т. д.; если Некрасов до сих пор прикидывался либералом, то только потому, что публика охотно шла на либеральные приманки; в действительности, к либерализму он так же глубоко равнодушен, как и ко всякому другому направлению; зато он очень и очень не равнодушен к возможности обогащаться; в этих, и только в этих, целях он воссоединился ныне со своим всегдашним антагонистом Краевским и вошел в редакцию всегда враждовавших с «Современником» «Отечественных записок».

Вопрос был поставлен Антоновичем и Жуковским так, что Некрасову очень трудно было оправдываться. Единственным способом оправдаться было бы заявить, что он искренно предан тем идеям, которые столько лет уже проповедывал и на страницах «Современника», и в своих стихах. В распоряжении Некрасова было достаточно фактов, чтобы подтвердить подобное заявление: не даром Антонович, особенно резко нападавший на него в «Материалах», впоследствии принужден был гласно признать свою неправоту. Однако, если бы Некрасов вздумал оправдываться, заявляя о своей верности прежнему знамени, то правительство, недавно задушившее «Современник», не постеснилось бы подобным же образом расправиться и с «Отечественными записками». Рисковать же судьбой «Отечественных записок» Некрасов, по соображениям идейного порядка, не мог решиться. В результате, ему ничего не оставалось, как молчать, а молчание при подобных обстоятельствах расценивается, как невозможность защитить себя. «Нечего ему сказать в свою защиту, вот он и молчит», таково обычное рассуждение в этих случаях. Некрасов не мог не сознавать, что, отказываясь от возражений своим обвинителям, он ставит себя в весьма невыгодное положение и дает новое оружие в руки своих многочисленных недоброжелателей. Нелегко ему это было (см. в «Воспоминаниях» Н. К. Михайловского рассказ об его невыразимо тяжелом душевном состоянии в эти дни), но все же он решил молчать. И вот в этот, столь критический для него, момент он подвергается нападению с совершенно другого фланга. Только что молодые сотрудники «Современника» из рядов, так называемых, нигилистов обрушили на его голову ряд тягчайших упреков, а теперь к ним на помощь спешит старый сотрудник «Современника», известный своим отрицательным отношением к нигилизму, когда-то интимнейший его друг, и обвиняет его, да еще устами Белинского, в не менее тяжких проступках. Антонович с Жуковским намекали на то, что он предательски вел себя в отношении вождя шестидесятников — Чернышевского, Тургенев же обличал его в эксплоатации вождя лучшей части поколения 40-х годов — Белинского.

Создавалось, действительно, крайне тягостное положение. Некрасов, бывший в это время за границей, решается оправдаться хотя бы в глазах того писателя, который из окружавшей его литературной братии выделялся и размерами своего художественного, истинно великого, дарования, и своим нравственным авторитетом; к тому же этот писатель стоял с ним у кормила одного и того же журнала... Мы имеем в виду Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Ч е т ы р е раза принимался Некрасов за письмо к нему, целью которого было раз'яснить обстоятельства, вызвавшие невключение Белинского в число дольщиков «Современника», и четыре раза откладывал перо в сторону, не закончив своего об'яснения. Быть может, ему действительно нечего было сказать? Это предположение отпадает, как только мы познакомимся с текстом четырех черновых набросков его письма к Салтыкову. Основания, на которых ему возможно было бы строить свою реабилитацию, у него, безусловно, были, и все-таки перо валилось у него из рук. Очевидно, самая необходимость оправдываться, доказывать, что он не столь корысто-

любивый и дурной человек, как это могло показаться при чтении воспоминаний Тургенева, была для него непереносимо тяжела.

Два черновика этого письма были уже опубликованы А. М. Скабичевским в его известной биографии Некрасова, напечатанной сначала на страницах «Отечественных записок», а затем приложенной к первому посмертному (1879 г.) изданию его стихотворений; остальные два не были использованы Скабичевским. Для полноты картины необходимо опубликовать все четыре отрывка, ибо, несмотря на близость в их содержании, они, как убедится читатель, далеко не тождественны, исправляя и дополняя один другого.

Начнем с отрывков, не использованных Скабичевским, ибо они именно дают основание утверждать, что Некрасов свою самозащиту против выпада Тургенева предполагал включить в текст письма к Салтыкову.

Отрывок 1-й.

[Апрель 1869 г. Париж] [1]).

Что-то у вас делается, многоуважаемый Михаил Евграфович? Я вам писал наскоро, и думал на другой день писать дальше, да дело затянулось, жизнь в трактире идет так, что коли утром что-нибудь помешало написать письмо, то день и пропал, и так далее. Живу не то, чтобы весело. Я уже живал в Париже — все одна история — шляние по гульбищам и ресторанам, но хорошо то, что нервы отдыхают, а мне это было нужно.

Ни папаши, ни мамаши,
Дома нету никого.

Засыпать и просыпаться под впечатлением этих стишков недурно. В Париже мне надоело, в Киссинген еще рано, на-днях уеду куда-нибудь и пришлю Вам адрес, а покуда пишете по старому. Я здесь читал № 4 «В. Е.». Напишу вам об этом подробно со временем, а теперь лень. Скажу только, что я не исполнил желание Белинского потому, что н е м о г, зная, что для него из этого ничего не выйдет (ибо он уже дышал на ладан), а себя свяжу. Сколько получил Белинский денег за свое участие в «Современнике», на это есть документы. Из статей, перешедших в «Современник» из предполагавшегося сборника, кроме двух, все оплачены были деньгами

[1]) Дата и этого и следующего черновика письма к Салтыкову устанавливается следующим образом. В письме своем к Некрасову от 5 апреля из Петербурга (оно напечатано нами в № 4 журнала «Печать и революция» за 1927 год) Салтыков извещает Некрасова о получении на его имя поэмы Жемчужникова; в письме же от 18 апреля (там же) Салтыков спрашивает Некрасова, вышел ли второй том романа Виктора Гюго. В приводимых нами 1-м и 2-м «отрывках», как увидит читатель, имеются упоминания и о поэме Жемчужникова и о романе Гюго; эти упоминания являются как бы непосредственным ответом на письма Салтыкова. Отсюда вытекает, что Некрасов принялся писать Салтыкову уже после получения им его второго письма, датированного 18-м апреля т. е. не ранее, как в 20-х числах апреля.

курнала [1]). Затем, никто, кроме Белинского, не был хозяином содержания курнала, пока он мог заниматься, а хозяином кассы он сам не хотел бы ыть. Я имею убеждение и некоторые доказательства, что Белинский сам чень скоро увидел, что его положение, как дольщика (при необходимости рать немедленно довольно большую сумму на прожиток и неимение гарании за свою долю в случае неудачи дела), было бы фальшиво. Это он мне ам высказал. Наконец, если даже Вы остановились на мысли, что я откаал ему по корыстным соображениям, то пусть и так: я вовсе не находился огда в таком положении, чтобы интересы свои приносить в жертву чьим бы о ни было чужим. Белинский это понимал, иначе не написал бы в том же исьме, что все-таки меня высоко ценит. Непременно напишу об этом деле а досуге Вам подробно, а вы напишите, что Вы об этом думаете [2]). Поюему, эти два отрывка из писем уничтожают друг друга в значительной тепени, но все-таки для Антоновича тут пожива хорошая [3]). Да чорт ним! В конце концов я думаю так: суть вовсе не в копейках, которые себе отделял, даже не в средствах, при помощи которых делал известное ело, — а в самом деле. Вот если будет доказано, что дело это я исполнял овсем дурно, что привлекал к нему нечестных и неспособных, обходя спообных и честных — тогда я кругом виноват, но тогда только.

Роман Гюго (все 4 части) вышел, что вы, вероятно, знаете.

Отрывок 2-й.

[Апрель 1869 г. Париж].

Я приехал в Париж, когда уже первая часть романа Гюго вышла, думаю, что вы были об этом своевременно извещены.

№ 4 «Отечественных записок» велите послать мне в Париж, по тому ке адресу, какой я вам дал.

Поэму Жемчужникова я получил. Думаю, что ее печатать в «Отеественных записках» не следует по причине ее полемического характера. В этом смысле я ему написал.

Я прочел № 4 «Вестника Европы». Тургенев, имеющий свои причины акостить мне, пришел на помощь Антоновичу. Два приведенные им отрывка з писем Белинского, будучи сопоставлены один с другим, в значительной тепени, уничтожают друг друга, но все-таки тут разгуляться можно. Я же кажу, что по моей роли в журналистике мне постоянно приходилось, так

---

[1]) Речь идет о несостоявшемся сборнике «Левиафан», который собирался, при действии Некрасова, издать Белинский; с помощью этого сборника, материал для торого Белинский уже начал собирать, он надеялся кое-что подработать: в деньгах он особенно нуждался, так как, разорвав с «Отеч. записками», остался без всякого работка.

[2]) В письмах Салтыкова к Некрасову, относящихся к весне и лету 1869 г., нет единого упоминания об этом деле — лишнее доказательство, что Некрасов так-таки не отправил ни одного из начатых и посвященных данному вопросу писем Салтыкову.

[3]) Некрасов не ошибся: «Воспоминания» Тургенева дали повод к новым нападм на него со стороны Антоновича (См. приложения к журналу «Космос»).

сказать, торговаться, и, я думаю, найдется еще не один человек из порядочных, который выражал в письме к приятелю свое неудовольствие на меня по этому поводу. Следует ли, однако, из этого, что я должен был или мог действовать иначе? Белинский покинул «Отечественные записки» вовсе не для того, чтобы основать новый журнал, да и мы тогда об этом не думали — доказательство в том, между прочим, что затевался сборник. Мысль о журнале пришла нам в голову летом 1846 г., когда Белинский ездил со Щепкиным в Малороссию. Об этом и об условиях, на коих он может вступить в делю, было ему написано, он отвечал согласием. В начале 1847 года он предложил мне, чтоб я ему дал в доходах журнала 3-ю долю. Я на это не согласился, как мне было ни тяжело ему отказывать, не согласился потому, что трудно было уладить дело: у нас уже были: Панаев, я, Плетнев, Никитенко, которому тоже, как редактору, кроме жалованья, принуждены мы были дать долю из будущих барышей (в 1848 году он вышел и от всякого участия как в убылях, так и в барышах отказался). К чему повела бы доля? С первого года барышей мы не ждали (да их и не было, а был убыток), между тем и для нас и для всех друзей Белинского было не тайна, что его дни, как говорится, сочтены. Пришлось бы связать себя надолго!..

Отрывок 3-й.

Мне попался здесь «Вестник Европы», и я прочел выдержки из писем Белинского. Прямо беру их на себя, ибо они для меня не новость. Не такой был человек Белинский, чтоб долго молчать. Помолчав несколько дней, он высказал мне горячо и более резко, чем в этих письмах, свое неудовольствие и свое сожаление о внутреннем разрыве со мною и с Панаевым. Может быть, плодом этих об'яснений и было второе письмо к Тургеневу, в значительной доле уничтожающее первое. Сопоставив эти два письма, останется, что «Н. действовал добросовестно, но не переходил той черты где начиналась его невыгода, из-за принципа, до которого он не дорос». Кажется, так? Я останавливаюсь на этом. Я был очень беден и очень молод восемь лет боролся с нищетою, видел лицом к лицу голодную смерть в 24 года я был уже надломлен работой из-за куска хлеба. Не до того мне было, чтобы жертвовать своими интересами чужим, Белинский это понимал, иначе не написал бы в том же первом, обвиняющем меня, письме, что он и теперь меня высоко ценит. А во втором письме он говорит, что почти переменил свое мнение и насчет источника моих поступков. С меня этого довольно. Я не знаю, исчезло ли в его воззрении на меня впоследствии это почти, но отношения наши до самой его смерти были короткие и хорошие. Я не был точно идеалист (иначе, прежде всего, не взялся бы за журнал, требующий практических качеств), еще менее я был равен ему по развитию; ему могло быть скучно со мною, но помню, что он всегда был рад моему приходу. Отношения его ко мне до самой смерти сохраняли тот характер, какой имели в начале. Белинский видел во мне богато одаренную натуру, которой недостает развития и образования. И вот около этого

держались его беседы со мною, имевшие для меня значение поучений. Несмотря на сильный по тому времени успех «Современника», в первом году мы понесли от первого года 10 000 убытка (в 1 году Современник имел 2 000 подписчиков); денежные заботы, необходимость много работать — все, так сказать, черновые работы по журналу: чтение и исправление рукописей, а также и добывание их, чтение корректур, об'яснение с цензорами, восстановление смысла и связи статей после их карандашей лежали на мне, да я еще писал рецензии и фельетоны, — все это, а также и последовавшие с февраля 1848 г. цензурные гонения, сопровождавшиеся крайней шаткостью почвы под ногами каждого причастного тогда к литературе — довело мое здоровье до такого расстройства, что Белинский часто говаривал, что я немногим лучше его. Белинский вообще знал мою тогдашнюю жизнь до мельчайшей точности и строго говорил мне: Что вы с собой делаете, Некрасов? смотрите! берегитесь, иначе с вами то же будет, что со мною. Приэтом в его умирающих глазах я уловил однажды выражение, которое я не умею иначе истолковать, как тою любовью, о которой упоминается в письме к Тургеневу, как о потерянной мною. В этом взгляде была еще глубокая скорбь. Впоследствии я узнал от общих наших друзей, что в близкой моей смерти он был убежден положительно. Припоминая, в тысячу раз передумывая, я прихожу к убеждению, что главная моя вина в том, что я действительно не умер вскоре за ним, но за эту вину я готов выносить не только клеветы г. Антоновича, но и тонкие намеки г. Тургенева, которые он хитро старается скрепить авторитетом Белинского.

Отрывок 4-й.

Мне попался здесь № 4 «Вестника Европы», и я прочел намеки Тургенева и выдержки из писем Белинского. Прямо беру эти выдержки на себя, ибо они для меня не новость, все это, даже в более прямом и резком виде, слышал я от самого Белинского; он был не такой человек, чтобы молчать. Подувшись на меня несколько дней, он сам высказал мне свои неудовольствия и свое сожаление о последовавшем в нем внутреннем разрыве со мною. Последовали об'яснения не со мною одним, но и с Панаевым. Не надо думать, чтоб я имел тогда такое влияние на Панаева, какое приобрел впоследствии. Он был десятью годами старше меня и находился в эту эпоху наверху своей известности. Я его, как и он меня, тогда знал мало: он был для меня авторитет; притом деньги на журнал были его (моих было только 5 тыс. руб. асс., которые незадолго до того дала мне взаймы на неопределенный срок Наталья Александровна Герцен). Даже контракт с Плетневым был заключен на имя одного Панаева. Значит, в сущности, он один был хозяином дела. Только впоследствии, спустя несколько лет, при перемене контракта с Плетневым, прибавлено было в контракте мое имя, чем права мои уравнялись с правами Панаева. Не хочу этим сказать, что Панаев помешал мне сделать желаемое Белинским, но я не мог бы этого сделать помимо его. А мнение Панаева было то же, что и мое, именно: что предо-

ставление Белинскому доли было бы бесплодно для него и опасно для дела, ввиду неминуемо близкой смерти Белинского, которая была решена врачами, что не было тайной ни для кого из друзей его: пришлось бы связать себя в будущем, имея дело не с ним, а с его наследниками... Это особенно пугало Панаева.

Суммируя те мотивы, которые приводит Некрасов в цитированных четырех отрывках в об'яснение своего образа действий, мы получим следующую сводку:

1. Включение Белинского в число «дольщиков» поставило бы его в «фальшивое» положение, ибо, при его материальной необеспеченности, он не только не имел бы возможности пополнить кассу убыточного покамест предприятия своими взносами («долей»), но вынужден был бы брать из этой кассы себе на прожитье.

2. Включение Белинского в число дольщиков, «в случае неудачи дела», сделало бы его материально ответственным за могущие произойти убытки; возвращение же ему его доли, если бы он даже и внес ее, не было бы ничем гарантировано.

3. Включение Белинского, «дышавшего уже на ладан», в дольщики привело бы к тому, что после его смерти издатели оказались бы юридически связанными с его наследниками, людьми чуждыми литературе, что, во многих отношениях, было бы для них неудобно и нежелательно.

4. Включение Белинского в число дольщиков представлялось тем более затруднительным, что и без него уже имелись целых четыре дольщика, а именно: Панаев, Некрасов, Плетнев и Никитенко [1]).

5. Включение Белинского в дольщики зависело не только от Некрасова, но и еще в бо́льшей степени от Панаева, так как «Современник» издавался, главным образом, на деньги Панаева, и контракт с Плетневым, являвшийся единственной юридической базой рассматриваемого начинания, был заключен на имя Панаева, без всякого упоминания имени Некрасова; Панаев же был против включения Белинского в дольщики.

6. Если бы даже было возможно включение Белинского в число дольщиков, но ценою принесения в жертву интересов Некрасова, то Некрасов не чувствовал себя способным на это: слишком тяжело далась ему восьмилетняя борьба с нуждой и бедностью.

7. «Белинский понимал это», и потому, в конце концов, того «внутреннего разрыва» с Некрасовым, о котором он говорит в письме к Тургеневу, не произошло: Некрасов имел основание думать, что Белинский и

---

[1]) Плетнев и Никитенко были, так сказать, дольщиками ex officio: первый как собственник журнала, второй как его редактор. Почему, однако, понадобилось приглашать Никитенко в редактора? Этот шаг в значительной степени был вынужденным: Белинский, Некрасов и даже Панаев были настолько скомпрометированными в политическом отношении, что об утверждении их редакторами и думать не приходилось; приглашая же редактором цензора, они до некоторой степени предохраняли журнал от цензурных репрессий.

после описываемого инцидента не перестал относиться к нему с искренним расположением.

Из формулированных нами семи пунктов наиболее серьезными представляются первые три. В самом деле, разве не было бы до крайности «фальшивым» положение «дольщика», который, вместо внесения доли, берет и берет деньги из кассы журнала, и без того не сводящего концы с концами? И естественным является вопрос, как чувствовал бы себя Белинский, при его исключительной щепетильности, очутившись в положении такого горедольщика?! А разве не вызывавшее уже никаких сомнений приближение смерти Белинского, которое привело бы к тому, что права на его долю в «Современнике» перешли бы к его наследникам, не было достаточным мотивом, побуждавшим издателей «Современника» соблюдать в данном вопросе особую осторожность? Ведь, если им не могли не быть дороги интересы Белинского, то не менее им были дороги интересы самого дела. А эти последние неминуемо бы пострадали, если бы в числе дольщиков журнала появились лица, чуждые литературе и, по своим личным свойствам, не располагавшие к совместной работе и денежным счетам с ними. Самый же главный, думается нам, и основной мотив, с которым особенно приходилось считаться издателям «Современника», это — сознание, что в материальном отношении доживавший свои последние дни бедняк Белинский не только ничего не выиграл бы со включением его в число дольщиков, но скорее проиграл бы: при убыточности журнала его, несомненно, стала бы преследовать мысль, что он, не внеся своей доли в кассу журнала и забирая из нее в долг большие, как увидим ниже, деньги, является бременем для журнала и т. д. и т. п.

Все эти соображения имели бы очень относительное значение, если бы Некрасов не исполнил того, что обещал Белинскому в одном из писем к нему, писанных осенью 1846 г. (см. Белинский, Письма, т. III, стр. 359), а именно: «мы предложим вам условия [1]) самые лучшие, какие только в наших средствах», во-первых, и «работой также вы слишком обременены не будете, ибо мы будем вам помогать по мере сил», во-вторых. У нас есть документальные доказательства того, что Некрасов на 100 процентов выполнил свое обещание. Это — его неопубликованное письмо к В. П. Боткину, а также письма самого Белинского, посвященные этому вопросу.

Уже в феврале 1847 г. Боткин, скорбя о состоянии здоровья Белинского, стал хлопотать о снабжении его средствами для поездки за границу, которая, как надеялся он и другие друзья Белинского, поддержит его быстро падавшие силы. Зная о том, что Некрасов получил от жены Герцена некую сумму на издание «Современника», Боткин, повидимому, уже в начале апреля 1847 г., обратился с письмом к Некрасову, в котором запрашивал его, не сможет ли он часть своего долга Герценам отдать Белинскому.

[1]) Самое выражение: «мы предложим вам условия» доказывает, что Некрасов, начиная дело, отнюдь не имел в виду, что Белинский будет его «дольщиком», не скрывая этого от Белинского, говорил не о «доле», а об условиях.

чтобы облегчить для него выезд за границу. Ставя вопрос подобным образом, Боткин, очевидно, уже заручился согласием Герценов на подобное обращение к Некрасову. Находящееся в нашем распоряжении письмо Некрасова к Боткину представляет собой ответ на запрос Боткина:

11 апреля (пошлется завтра). Спб.

Сегодня я получил ваше письмо, Василий Петрович, и спешу отвечать на него.

Я почитал это дело, о котором вы меня спрашиваете, давно конченным, — ибо не только слышал этот вопрос от Белинского, но даже читал ваше письмо, в котором вы поручили ему спросить меня: заплачу ли я ему 300 р. сер. из Герцена денег. Вот что я отвечал ему тогда: «я не могу дать вам больше той суммы, которую я вам обещал (а обещал я ему от 3 до 4 тыс., к тем семи с лишком тысячам, которые он уже мне должен по журналу); что же касается до того, будете ли вы считать ту сумму всю полученною от меня, или 300 р. сер. из нее отнесете на счет Герцена, — делайте, как вам выгоднее».

Если б Герцен поручил мне передать Белинскому не 1 000 руб., а все четыре тысячи, которые я Герцену должен, — то и тогда я мог бы сказать, что эти деньги мною Белинскому все заплачены, потому что в прошлом и нынешнем году забрано Белинским у меня 2 884 руб. 57 коп. сер., т. е. десять тысяч девяносто шесть рублей ассигнациями, а между тем, заработано им, считая за четыре мес., 2 666 руб. ассигнациями, да получено нами от него статей из альманаха по большей мере на 1 500 руб. ассигн., — всего 4 166 руб. ассигн. — стало быть, по сие время он должен мне пять тысяч девятьсот тридцать рублей ассигнациями. Надеюсь, что после этого расчета мне нечего отвечать на ваш вопрос.

Но положение Белинского заставляет меня войти в подробности, касающиеся лично до него, которые вам, как человеку, принимающему в нем участие, нужно знать. Дело касается того, с чем он поедет за границу и что оставит своему семейству.

Когда он решился ехать за границу, я обещал ему от трех до четырех тысяч; но из этих денег он уже забрал у меня две тысячи пятьсот рублей в последние полтора месяца, и — что еще важнее — я знаю, что этих денег у него уже нет; самое бо́льшее, что я могу еще ему дать, это — полторы тысячи (300 руб. сер. из них я зачту за Герцена, а остальные приложу к долгу Белинского).

Итак, вот все, что он может иметь здесь. Вы сами эти дела знаете и поверите мне, что дать теперь больше у меня нет никакой возможности: на издание журнала нужно нам, по меньшей мере, 32 тыс. руб. сер., — собрали мы по подписке менее ста тыс. ассигн., и слишком десятую долю из этого сбора забрал у меня один Белинский. Это значительно запутало наши дела, и я теперь должен прибегать ко всевозможным изво-

отам и ограничиваньям издержек, чтобы к концу года не пришлось плохо. Іоложение мое в настоящем случае мучительно: с одной стороны, мне тякело отказывать Белинскому (и я до сей минуты ни разу ему не отказывал), с другой — на мне лежит очень большая ответственность, — вы это знаете.

Во всяком случае, если будете писать к Герцену, то потрудитесь сказать ему, что 300 руб. сер. Бел''нскому мною заплачены; еще по просьбе 'ерцена выдал я г-ну Захарьину 60 руб. сер. и выдам еще 90 руб. сер., — се это составит 450 руб. сер. и более в нынешнем году я заплатить ерцену не могу, и прошу его уплату остальных денег подождать за мной о следующего года.

До свидания. Сильно вам кланяюсь и от души желаю, чтобы здоровье аше поправилось и чтоб «Испанские письма» подвинулись. Напишите мне, если будете так добры, что вы думаете о положении Белинского, не придумаете ли какой полезной для него меры, — и посоветуйте не что-нибудь в этом случае. Честью вас уверяю, что я делаю и готов делать для Белинского все, что могу.

Весь ваш Н. Некрасов.

Отнюдь не рискуя подвергнуться упреку в недостатке об'ективности, ы вправе, на основании фактических и цифровых данных этого письма, тверждать, что в последних словах Некрасова нет преувеличения. Несмотря а тяжесть расходов по журналу, он к 12 апреля, т. е. по истечении менее ем трех с половиной месяцев с начала первого года его издания, выплатил елинскому 10 000 рублей, иначе говоря, свыше десятой части всех денег, обранных с подписчиков, причем из этой суммы около трех пятых было пно им Белинскому заимообразно, повидимому, в качестве аванса под будуие работы. Кроме того, Некрасов соглашался дать Белинскому на поездку а границу еще 1 500 руб. Язык мертвых цифр бывает в иных случаях самым ыразительным. Можно ли после приведенных цифровых данных говорить об ксплоатации Белинского Некрасовым, об утеснении его, как сотрудника?..

Предоставим слово другой заинтересованной стороне, — Белинскому. ы видели, как больно резнуло Белинского невключение его в число дольиков журнала. До конца 1847 г. (см., например, его письмо к К. Д. Кавелну от 7 декабря) он не переставал считать себя обиженным, а Некраова не переставал винить в «неделикатности», но, тем не менее, врожденое чувство справедливости и в это время вынуждало его признавать, что о положение в «Современнике» и в моральном и в материальном отношеиях неизмеримо лучше его прежнего положения в «Отечественных записках». е только неизмеримо лучше, но и безотносительно хорошо. В подтверждеие приведем нижеследующую тираду из письма Белинского к Боткину от 8 ноября 1847 г.:

«Сколько я помню, наши московские друзья-враги дали нам свои имена труды сколько по желанию работать соединенно в одном журнале, ждом всяких посторонних влияний, столько и по желанию дать средства существованию некоему Белинскому. — Цель их, кажется, достигнута. Современник» имеет свои недостатки, действительно очень важные, но

поправимые и происшедшие от состояния моего здоровья. Едва ли можно обвинить его даже в неумышленно другом направлении, не только в умышленном. И другая цель тоже достигнута. Я был спасен «Современником». Мой альманах, имей он даже бо̀льший успех, помог бы мне только временно. Без журнала я не мог существовать. Я почти ничего не сделал нынешний год для «Современника», а мои 8 тысяч давно уже забрал. Поездка за границу, лишившая «Современник» моего участия, на несколько месяцев не лишила меня платы. На будущий год я получаю 12 тысяч, — кажется, есть разница в моем положении, когда я работал в «Отечественных записках». Но эта разница не оканчивается одними деньгами: я получаю много больше, а делаю много меньше. Я могу делать, что хочу. Вследствие моего условия с Некрасовым, мой труд больше качественный, нежели количественный, мое участие больше нравственное, нежели деятельное. Я уже говорил тебе, что Дудышкину отданы для разбора сочинения Кантемира, Хемницера, Муравьева. А ведь эти книги — прямо мое дело. Но я могу не делать и того, что прямо относится к роду моей деятельности. Не Некрасов говорит мне, что я должен делать, а я уведомляю Некрасова, что хочу и считаю нужным делать. Подобные условия были бы дороги каждому, а тем более мне, человеку больному, не выходящему из опасного положения, утомленному, измученному, усталому, повторять вечно одно и то же. А у Краевского я писал даже об азбуках, песенниках, гадательных книжках, поздравительных стихах швейцаров клубов (право!), о книгах, о клопах, наконец о немецких книгах, в которых я не умел перевести даже заглавия, писал об архитектуре, о которой я столько же знаю, сколько об искусстве плести кружева. Он меня сделал не только чернорабочим, водовозною лошадью, но и шарлатаном, который судит о том, в чем не смыслит ни малейшего толку. Итак, то ли мое новое положение, доставленное мне «Современником»? — «Современник» — вся моя надежда; без него я погиб в буквальном, а не в переносном значении этого слова».

Но ведь «Современник» — детище Некрасова. Кому же, в таком случае, принадлежит заслуга, что положение Белинского настолько изменилось к лучшему, как не Некрасову?! Мы далеки от мысли считать последнего высоко-нравственным, высоко-добродетельным человеком. Стоя «на грани двух эпох», впитав в себя и ряд недостатков, свойственных барам-крепостникам, с которыми он был связан узами крови, узами наследственности, и ряд недостатков, присущих тем из разночинцев, которым удавалось пробить себе дорогу в жизни ценой упорнейшей борьбы за существование, ожесточавшей их характер, сообщавшей ему некоторую долю сухости и черствости, «пройдя, — по его собственному выражению, — через цензуру всех николаевских годов», Некрасов менее всего может быть рассматриваем, как образец нравственности. Но каковы бы ни были его недостатки, с его памяти должно быть снято обвинение в эксплоатации и утеснении Белинского, потому что это обвинение опровергается выше приведенными документальными данными.

Некрасов и Гончаров.

Знакомство Гончарова с Некрасовым было давним знакомством: оно тносится к середине 40-х годов, по всей вероятности, к 1846 г. [1]). 3 авторском портфеле Гончарова в это время уже лежал его роман :Обыкновенная история», который он предложил Белинскому для предполагаемого сборника «Левиафан», с помощью которого великий критик наеялся освободиться от эксплоатации издателя «Отечественных записок» \. А. Краевского. Однако проходит несколько времени, и расчетливый сын имбирского купца начинает сожалеть о том, что он, поддавшись чувству импатии к Белинскому, отдал ему свой роман слишком дешево, тогда ак при других условиях он мог бы выручить за него крупную сумму. На той почве осенью 1846 г. у Гончарова произошло нечто вроде размолвки Некрасовым, о которой узнаем из следующих строк письма Некрасова Белинскому («Письма Белинского», Спб. 1914 г., стр. 359): «Еще до моего риезда в Петербург (а я приехал в конце июня) Гончаров хныкал и жалоался, и скулил, что отдал вам свой роман ни за что, будто увлеченный сконфуженный всеобщими похвалами и тем, что вы (его собственные лова) просили «именем своего семейства» и т. д.; он ежедневно повторял то Языкову, Панаеву и другим, с прибавлением, что Краевский дал бы ему ри тысячи, и, наконец, отправился к Краевскому. Узнав все это, я поспеил с ним об'ясниться и сказать ему за вас, что вы верно не захотели ы и сами после всего этого связываться с ним, и что, если он отказыается от своего слова, то и дело кончено и пр. По моему мнению, больше нечего было делать с этим скотом».

Однако окончательного разрыва между Гончаровым и кружком Белинкого все же не последовало. Когда Некрасов, заарендовавший вместе Панаевым «Современник» Плетнева, предложил Гончарову за «Обыкновенную историю» 200 руб. за лист, т. е. столько же, сколько ему давал Краевкий, то Гончаров охотно согласился на его предложение, и «Обыкновенная стория» появилась в №№ 3 и 4 «Современника» за 1847 г. Белинский, толне солидарный с Некрасовым в отрицательном отношении к личности ончарова («этот человек пошлый и гаденький», писал он от 4 марта 1847 г. . П. Боткину), не находил слов, чтобы выразить свое восхищение Эбыкновенной историей». Вот его отзыв о ней в письме к тому же Боткину г 15—17 марта 1847 г.: «Действительно, талант замечательный. Мне ажется, что его особенность, так сказать личность, заключается в совеpенном отсутствии семинаризма, литературщины и литераторства, от котоых не умели и не умеют освобождаться даже гениальные русские писаели. Я не исключаю и Пушкина. У Гончарова нет и признаков труда, аботы; читая его, думаешь, что не читаешь, а слушаешь мастерской устный рассказ. Я уверен, что тебе повесть эта сильно понравится. А ка-

[1]) В этом именно году Гончаров, по его собственному указанию в «Заметках о чности Белинского», познакомился с Белинским, в доме которого Некрасов в то время л своим человеком.

кую пользу принесет она обществу! Какой она страшный удар романтизму, мечтательности, сантиментальности, провинциализму!»

Печатный отзыв Белинского об «Обыкновенной истории» (см. его статью «Взгляд на русскую литературу 1847 г.»,—«Современник» 1848 г., № 3 общеизвестен. Авторитет Белинского, как критика, в глазах Некрасова стоял очень высоко, и едва ли можно сомневаться в том, что он вполне разделял его мнение о гончаровском романе. Неудивительно поэтому, что он, в качестве редактора-издателя «Современника», очень дорожил возможностью заручиться постоянным сотрудничеством Гончарова. И его усилия не пропали даром: в 40-х годах Гончаров нигде, кроме «Современника», не печатался В 1848 г. на страницах журнала появился его рассказ «Иван Саввич Поджабрин» (№ 1), а в 1849 г. в изданном редакцией журнала, в качестве приложения к нему, «Литературном альманахе» — «Сон Обломова». Деловой контакт редактора-издателя с ценным сотрудником сопровождался и личным контактом, выражавшимся во взаимных посещениях и совместном холостяцком времяпрепровождении у Дюссо и Донона, на которое были такими мастерами люди 40-х годов. Однако никаких оснований предполагать, что отношение Некрасова к личности Гончарова коренным образом изменилось, в нашем распоряжении не имеется.

С середины 50-х годов Гончаров перестает быть исключительным сотрудником «Современника»: его путевые очерки, составившие впоследствии знаменитую книгу «Фрегат Паллада», печатаются не только в «Современнике», но и в «Отечественных записках», «Библиотеке для чтения», «Русском вестнике» и «Морском сборнике». Но его добрые отношения с Некрасовым не прерываются, и в первые годы своей цензорской деятельности (Гончаров был назначен цензором в 1856 г.) он был не прочь оказать Некрасову посильную помощь в его постоянной борьбе с цензурой. Мне уже приходилось указывать в печати, что инициатива возбуждения вопроса о разрешении Некрасову выпустить второе издание своих стихотворений [1]) принадлежит Гончарову (см. мою статью «В цензурных тисках» в «Книге и рев.» 1921 г., № 2). Хотя инициатива эта не может быть названа вполне удачной, так как вопрос был возбужден Гончаровым в апреле 1859 г., а разрешение на перепечатку первого издания последовало лишь в апреле 1861 г., т. е. ровно через два года, но все же заслуга Гончарова в данном случае несомненна. Характерно, что к тому же 1859 г. относится соглашение между Некрасовым и Гончаровым о помещении в «Современнике» отрывка из будущего романа «Обрыв» («Эпизоды из жизни Райского», как называл его тогда Гончаров) под заглавием «Софья Николаевна Беловодова», за который (он напечатан в № 1 «Современника» за 1860 г.) Гончаров получил огромный гонорар — 1 000 руб. Если можно в связи с данным эпизодом говорить о восстановлении более тесного контакта между Гончаровым и редакцией «Современника», несколько ослабевшего к концу 50-х годов, что можно видеть хотя бы из того,

[1]) Первое их издание, выпущенное в 1856 г., навлекло на поэта и на разрешившего издание цензора Бекетова целую грозу, и министр нар. просв категорически воспретил перепечатку этого издания.

то «Обломов» печатался в «Отеч. записках» (1859 г., №№ 1—4), а не в Современнике», то это восстановление не было особенно длительным и прочым. Дело в том, что чиновничья служба явным образом затягивала Гончаова, в особенности после того, как, уйдя в отставку в конце 1859 г., Гончаэв в 1862 г. снова поступил на службу, но уже не в министерство народного оосвещения, а в министерство внутренних дел, согласившись взять на себя эдактирование валуевского официоза — правительственной газеты «Северая почта». С 1863 г. Гончаров, хотя и оставляет «Северную почту», но :тается в министерстве внутренних дел в качестве члена совета по делам чигопечатания, т. е. возвращается к привычным для него обязанностям ценора (цензура в 1863 г. перешла из ведения министерства народного просвеения в ведение министерства внутренних дел). Если Гончаров, цензор 50-х)дов иногда проявлял умеренный либерализм, то Гончаров, цензор 60-х)дов, проникается реакционными тенденциями. Тем не менее, в 1863—364 гг. Гончаров, как это явствует из его цензорских отзывов, в свое время впечатанных мною («Северные записки» 1916 г., № 9), избегал быть :олько-нибудь агрессивным в отношении «Современника». В конце же 365 г., когда «Современник» подвергся особенно жестокой травле со сто)ны некоторых деятелей вновь учрежденного главного управления, Гончаров югда делал робкие попытки смягчить цензурный нажим на него. Так, когда :чь шла об об'явлении «Современнику» первого предостережения, Гонтров, вместе с меньшинством членов совета главного управления, считал зможным ограничиться возбуждением против журнала судебного преслевания. Когда же возник вопрос о втором предостережении «Современику» за ст. Антоновича «Суемудрие «Дня» и стих. Некрасова «Железная рога» («Современник» 1865 г., № 10), то Гончаров подал письменное «мнее», в котором доказывал, что инкриминируемые произведения, хотя и едосудительны, но все же не настолько, чтобы следовало прибегать об'явлению предостережения. В частности, по поводу «Железной дороги» нчаров писал, что от этого, как и от других стихотворений Некрасова, жидать вреда для общества» не приходится, так как, «благодаря натяжкам, еувеличениям и односторонности, этим господствующим чертам в стихоорениях Некрасова», «к ним недоверчиво относится теперь и самое юшество».

Таким образом, о защите Гончаровым «Современника» в данном слуе можно говорить только условно, тем более что свое «мнение» Гончаров канчивал утверждением, что «Современнику» все же придется об'явить в ижайшем будущем предостережение, «если только он не решится изменить эего направления, чего, впрочем, никто не ожидает» (цитирую по книге ізона, стр. 420—421). Но все же, очевидно, старые связи с Некрасовым вали себя чувствовать Гончарову. Трудно об'яснить чем-либо иным ту сравтельно терпимую позицию, которую он занимал в отношении «Современка». По крайней мере, в отношении родственного ему по направлению журла «Русское слово» Гончаров был настроен совершенно иначе. В моей атье «Писарев и охранители» («Голос минувшего» 1919 г., №№ 1—4)

содержатся документальные доказательства того, что к «Русскому слову» Гончаров был прямо-таки беспощаден, и постоянные преследования, которым подвергался этот журнал, в значительной степени, являются делом его рук Однако Гончаров был человеком в достаточной степени предусмотрительным и осторожным, чтобы афишировать то реакционное мировоззрение, к которому он все более склонялся в середине 60-х годов, понимая, что, пока он не разорвал с литературной деятельностью, для него выгоднее сохранять репутацию хотя бы и очень умеренного, но либерала. Так на него, очевидно, и смотрели в литературных кругах. По крайней мере, когда, после окончательного выхода своего в отставку (в конце 1867 г.), Гончаров вернулся к работе над «Обрывом», Некрасов считал вполне возможным поднять вопрос о помещении этого романа на страницах «Отеч. записок», только что перешедших в его руки и до некоторой степени призванных заменить столь радикальный орган, как «Современник». В 4-м томе монументального издания М. К. Лемке «Стасюлевич и его современники» содержатся на этот счет прямые указания. М. М. Стасюлевич в мартовских и апрельских письмах 1868 г. к своей жене, сообщая о своих стараниях получить «Обрыв» для «Вестника Европы», в качестве наиболее опасного «конкурента» называет Некрасова, который-де «сильно хлопочет» о приобретении романа для своего журнала. 22 апреля Стасюлевич уведомил жену о том, что вопрос решился в его пользу; несколько же ранее он называет и цифру гонорара — 6 000 руб., на котором они сошлись с Гончаровым. В начале следующего месяца в письме от 7/19 мая к Стасюлевичу, уже сам Гончаров заговаривает о своих переговорах с Некрасовым. «Николай Алексеевич, — читаем мы здесь, — предлагает поселиться в Лигове, где он нанял дачу, — прочесть ему все написанное и доканчивать. Между тем, он придумал-было еще комбинацию — по 250 р. с листа, так что за 30 листов, говорит он, выйдет 7 тысяч, а если 40, то 10 тыс. рублей. И опять спрашивал, окончательно ли я решил с Вами, сказав, что и его, и сотрудников его уговор мой с Вами очень печалит, хотя в то же время, надо отдать ему справедливость, он бескорыстно побуждает меня заканчивать мой труд, хотя бы и для другого, т. е. Вашего, журнала, чтоб только дать ему что-нибудь свежее при нынешнем застое. Хорошо свежее! Лежалое десять лет! Мне приходит в голову другое обстоятельство, и я очень жалею, что мы не поговорили с Вами об этом. Тургенев писал мне и, кажется, Анненкову и Боткину, что он готовит к Новому году что-то большое — воспоминания или другое что — не знаю; а Вы, — помнится мне, — сказали вскользь, что он обещал, или Вы надеетесь поместить это у себя. Как же это сделаете: Вы будете между двух огней. Поместить две большие вещи невыгодно в один раз во всех отношениях — между прочим, в экономическом, а откладывать неудобно для Тургенева, и для меня тоже, если б я успел приготовить хоть написанное к печати. Разве отпустите кого-нибудь на волю: конечно, скорее меня, нежели Ивана Сергеевича».

Таким образом, Гончаров явным образом зондировал почву, не согласится ли Стасюлевич «отпустить его на волю», делая в то же время деликатный намек на то, что гонорарные условия, предлагаемые ему Некрасовым,

)лее выгодны. Стасюлевич «отпустить его на волю» не согласился, но раз-
эры гонорара повысил, исходя из нормы оплаты, предложенной Некрасовым
м. текст условия «домашнего обязательства» между Стасюлевичем и Гон-
ıровым в IV т. книги «Стасюлевич и его современники», стр. 52—53). После
того Гончаров с легким сердцем дал понять Некрасову, что вопрос о напе-
ıтании романа в «Вестнике Европы» уже решен окончательно, намекая в то
е время, что по своему направлению «Обрыв» не подойдет к «Отечествен-
ым запискам», даже если журнал этот будет следовать «не крайним на-
ıлам». Вот это замечательное письмо Гончарова к Некрасову, написанное,
ıк можно думать, 22 мая 1868 г. [1]):

Среда [22 мая 1868 г.].

Я думал, что Вы уже давно на даче, любезнейший Николай Алексеевич,
только что хотел писать к Вам, как пришла девушка от Вашей хозяйк ı
іросить, буду ли я жить в Литове или еду за границу. Я решил ехать и на-
іях уеду — а Вас и обеих хозяек Ваших [2]) не знаю, как и благодарить за
степриимное приглашение и за хлебосольство вообще. Но это сожительство
ıло бы крайне не практично собственно для моей цели, т. е. для писания.
меня было несколько планов: хотел я жить и в Царском селе, но это все
ıвно, что город, думал-было ехать и в Москву к сестре — опять-таки в
род, и в конце концов — приходится ехать за границу, тем более, что здо-
ıвье мое настоятельно этого требует.

Но, тем не менее, я очень ценю Ваше любезное и притом бескорыстное
)едложение, потому что я писал бы, живя у Вас, вещь, которую уже отдал
другой журнал. Стало быть, Вы хлопотали не о выгоде журнала, побуждая
эня оканчивать и развязаться с этим романом, который как камень
эшает мне, а собственно из приязни ко мне и к литературе тоже, потому
о кое-что слышали из этого романа. И я постараюсь или кончить его,
ıи, если не удастся, уже брошу его. Об этом Вашем бескорыстном отноше-
ıи к моему труду я писал за границу к Стасюлевичу и буду также долго
)мнить это, как вы помните, что я когда-то служил Вам переводчиком в
)ездене. Я не думаю, чтобы роман мог годиться для Вас, хотя я не оскорблю
нем ни старого, ни молодого поколения, но общее направление его, даже
мая идея, если не противоречит прямо, то не совпадает вполне с теми, даже
крайними началами, которым будет следовать Ваш журнал. Словом, будет
тяжка. Если бы он и дал несколько новых подписчиков, то Вы сами
ıла, говорит Стасюлевич, и в состоянии вложить в трюм журнала ту вес-
ю гирю, которая дает ему остойчивость. Притом у Вас есть еще талант —

---

[1]) Из письма Гончарова к Стасюлевичу от 26 мая (воскресенье) явствует,
) он выехал за границу 27 мая в понедельник. В конце же письма к
красову, помеченного средой, он говорит, что выедет в воскресенье или
недельник. Следовательно, эта среда и будет 22 мая.

[2]) Одна из хозяек—это, без сомнения, будущая жена Некрасова Зинаида Нико
эвна; другая, возможно, его сестра Анна Алексеевна Буткевич.

отыскивать и приманивать таланты: Вы щедры и знаток дела. Гг. Елисеев, Успенский, Слепцов и другие работали вместе с Вами и остаются при Вас, кроме, кажется, Успенского, а это тоже рекомендация.

Что касается до житья на даче, то оно не практично для меня потому, что мне нужно совершенное уединение, чтобы работать, а у Вас все таки людно и притом еще такие добрые и ласковые хозяйки — и я впал бы не в писание, а в болтливость с ними и надоел бы им и потерял бы время. Вашу хозяйку поблагодарите за внимание. Я просил у ней карточки, а она дала мне портретик — это уже роскошь, за что, однако, очень ей благодарен. Видно, что она добрая и балует стариков, хотя, конечно, не без того, чтобы и посмеяться над ними. И поделом, особенно зато, что я дразнил ее Виктором Яковлевичем [1]), теперь уже не буду, потому что еду, а ему кланяйтесь и скажите, что я, вероятно, уже в последний раз поспорил с ним у Вас за обедом, так же злобно и так же ненадолго, как бывало в совете [2]). Теперь негде видеться. Спасибо Вам за то, что помогли мне привести в ясность экономическую сторону вопроса; я воспользовался и для себя и для Стасюлевича, который также рассчитывать не мастер, Вашею опытностью, чтобы только знать, на какой норме остановиться, чтобы было как можно выгоднее для меня (это теперь мой хлеб) и для него также. Мы пришли очень к удовлетворительному соглашению и для него, и для меня. Я дешево отдал «Обломова» и еще дешевле «Фрегат Палладу» — на которые мог бы приобрести рублей тысяч пять больше, — вот почему я и колебался. А теперь это дело кончено. Но я до от'езда на минутку забегу к Вам, девушка сказывала, что Вы переезжаете послезавтра, а теперь страшно голова болит — и я пойду в сад и на Неву подышать немного воздухом, а письмо мимоходом брошу в ящик. Я собираюсь выехать или в воскресенье или в понедельник и если бы я не успел забежать, то уж извините и прощайте, но Вы за это не посетуете на меня, но боюсь, что захлопочусь.

Через год после этого проникнутого дружелюбием письма в Некрасовском журнале появилась резкая статья по поводу «Обрыва» («Отеч. записки» 1869 г., № 6), в которой с беспощадной последовательностью М. Е. Салтыков вскрыл реакционную идеологию автора, наиболее ярко выразившуюся в создании типа Марка Волохова и в публицистических рассуждениях о нигилизме. Однако ни эта статья, ни появившаяся несколько позже (в № 10 «Отеч. записок» за тот же год) опять-таки очень неблагоприятная для Гончарова статья А. М. Скабичевского не ликвидировали личного знакомства между Некрасовым и Гончаровым. Когда в апреле 1872 г. на страницах «Отеч. записок», под заглавием «Русские женщины. Кн. Т**», увидела свет первая часть известной поэмы Некрасова, то Некрасов послал Гончарову и № 4

[1]) Виктор Яковлевич Фукс, очень влиятельный деятель главн. упр. по делам печати, с которым Некрасов во имя интересов своего журнала поддерживал личные отношения.

[2]) Фукс придерживался еще более «правой» ориентации, чем Гончаров, и на заседаниях совета главн. упр. по делам печати между ними иногда происходили пререкания (см. о Фуксе в «Дневнике» А. В. Никитенко).

рнала, и отдельный оттиск своего нового произведения. Гончаров ответил эту следующим письмом [1]), из которого, между прочим, явствует, что он, ‹ лицо, лично побывавшее в местах ссылки декабристов (во время возвра-ния из Японии), кое-чем из слышанного о них делился с Некрасовым:

Большое спасибо Вам, любезнейший Николай Алексеевич, за присылку теч. записок», но всего более за отдельный оттиск поэмы. Благодарю и Н. [2]), которая, вероятно, любезно участвовала в этом деле.

Между тем, к слову — хочу предупредить Вас насчет некоторых, слы-нных мною на месте и переданных Вам, мелких подробностей о житье-тье героев и героинь Вашей поэмы. Мне кажется, их надо подвергнуть не-горой цензуре М. С. Волконского [3]), как живого свидетеля, участника и, довательно, единственный верный источник, потому что я слышал их давно, олпе, не помню от кого, а о более или менее известных людях всегда ходит ого слухов и анекдотов, проверить которые могут только близкие люди. По-орите с ним, чтобы не вкралось в характер каких-нибудь неверностей.

Полагаю также, что и ссылаться в предисловии или в примечаниях жно только или на печатные источники, или же на этих же самых близких ι, т. е. кн. Волконского и других, еще живых свидетелей. Все прочие в этом е никакого авторитета иметь не могут, и потому если известие окажется верным, то могут сказать, что Вы их выдумали нарочно.

Вон как Бурнашев [4]), говорят, выдумал много пустяков. Поэтому и на ія (как хотели-было) тоже неловко ссылаться, а также и на других по-іных же не близких людей. Намек в нескольких строках в моей книге на іх героинь [5]) — такая ничтожная капля, что, ради бога, и не упоминайте

---

[1]) Точную дату его установить трудно; оно несомненно относится к весне 1872 г.

[2]) Зинаида Николаевна — будущая жена поэта. Ее настоящее имя Фекла Анисина Викторова.

[3]) Кн. Мих. Серг. Волконский был хорошо знаком с Некрасовым, помогал ему етами в работе н д «Кн. Трубецкой»: он же познакомил поэта с записками своей ери, жены известного декабриста, оказал ему неоценимую услугу при работе над рой частью «Русских женщин», т. е. над поэмой «Кн. Волконская». См. об этом мою тью в «Звезде» (1925 г., № 6).

[4]) В. П. Бурнашев (1812 — 1888 гг.)—необычайно разносторонний и плодовитый атель, который как раз в 1871 — 1872 гг. на страницах различных периодических изданий естил ряд статей-воспоминаний о Булгарине, Грече, Воейкове, Песоцком и даже монтове, отличавшихся апокрифичностью, а иногда и прямо грубыми измышлениями.

[5]) Здесь, несомненно, имеется в виду нижеследующее место из VII главы 5 части рыва»: «С такою же силой скорби шли в заточение с нашими титанами, колебавшими э, их жены боярыни и княгини, сложившие свой сан, титул, но у есшие с собой у женской души и великой красоты, которой до сих пор не знали за собой они сами, знали за ними и другие, и которую они, как золото в огне, закаляли в огне и дыме бой работы, служа своим мужьям-князьям и неся и их, и свою «беду».

И мужья, преклоняя колена перед этой новой для них красотой, мужественнее ли кару. Обожженные, изможденные трудом и горем, они хранили величие духа и ли, среди испытаний, нетленной красотой, как великие статуи, пролежавшие тысяче-ія в земле, выходили с язвами времени на теле, но сияющие вечной красотой вели-э мастера».

о ней. Я привел его на память только как доказательство того, как судьба этих женщин сильно действует на воображение, что я вспомнил о них наряду с другими сильными историческими женщинами, а Вы избрали их судьбу и характер сюжетом для целой поэмы. Впоследствии другие будут, вероятно, делать из них статуи, драмы и т. д. Это самый благодарный предмет для искусства, а теперь, пока близко, нужно, к сожалению, соблюдать осторожность.

Еще раз спасибо и до приятного свидания.

Ваш Гончаров.

Последнее из имеющихся в моем распоряжении писем Гончарова к Некрасову — незначительно, но содержащееся в нем упоминание о «Складчине» воскрешает в памяти один из эпизодов из истории отношений Гончарова и Некрасова. Когда представители различных литературных течений решили в начале 1874 г. издать сборник в пользу голодающих самарцев и в комитет по практическому осуществлению этого начинания оказались избранными И. А. Гончаров, П. А. Ефремов, А. А. Краевский, кн. Мещерский, Н. А. Некрасов и А. В. Никитенко, то «Московские ведомости», «по обыкновению своему, приписали этому делу какое-то зловредное направление» (слова Никитенко из его «Дневника», т. II, стр. 505). «Сторонники их или, лучше сказать, их сеиды» стали кричать, «зачем в комитет назначены Некрасов и Краевский... красные». «Один из таковых напал на Гончарова», но Гончаров «учинил ему сильный отпор»...

Пятница.

Сегодня был у меня барон Торнов, автор рассказа о Кавказе в Складчине.

Он поедет за границу и желает очень, если бы, например, «Отеч. записки», т. е. Вы, или «Голос» заинтересовались его рассказами, — предложить Вам свои труды по части Кавказа же и, может быть, и другие. Прежде он печатал в «Русском вестнике», но там, как видно из его рассказов, чересчур бесцеремонно искажали его статьи.

Примите, Николай Алексеевич, этого почтенного старичка; если Вы найдете не лишним для «Отечественных записок» приобретение такого сотрудника — то и условия его, я полагаю, будут снисходительные. Он человек деликатный и уступчивый.

Если же не надо — все-таки примите его на минутку и скажите или посоветуйте ему что-нибудь. — Я заходил сегодня к Вам часов в 6 сам поговорить об этом, но Вас или не было, или Вы спали.

До свидания.

Ваш Гончаров.

Он хотел побывать у Вас и у Краевского завтра или послезавтра.

Из приведенных писем Гончарова к Некрасову следует, что Гончаров, ıже в тот период своей жизни, когда его реакционность уже не возбуждала эмнений, сохранил известные отношения с редактором издателем «Совреенника» и «Отечественных записок», являвшимся не только демократичеким поэтом, но и общепризнанным главою радикальной журналистики. то об'ясняется психическим и нравственным складом того и другого: Гонзров и Некрасов привыкли в выборе своих знакомств руководствоваться е одним влечением сердца, не одной близостью во взглядах и убеждеиях, но и целым рядом привходящих соображений, а прежде всего тремлением иметь «нужных людей» в различных общественных кругах. ля Некрасова Гончаров был, бесспорно, нужным человеком, сначала как высшей степени ценный сотрудник, а затем как видный деятель цензурного эдомства. Гончаров, в свою очередь, имел веские основания держаться за накомство с Некрасовым, ибо это знакомство было для него своего рода остиком между ним и прогрессивными общественно-литературными кру.ми, в глазах которых он сильно скомпрометировал себя редактированием равительственной газеты и, в особенности, своею службою в цензуре.

Как мы жили в ссылке.

Н. Мещеряков.

Авторы революционных воспоминаний обыкновенно останавливаются, так сказать, на «героической» стороне своей работы, на описании различных проявлений революционной борьбы, на побегах из ссылки и т. п. Это, конечно, очень интересно и важно для истории. Но важна и интересна и другая сторона дела. Если ограничить воспоминания только областью «героического», то у современного читателя составится представление, что жизнь революционера в прошлом была, так сказать, сплошным фейерверком. Жить в таком фейерверке легко и приятно. Но, к несчастью, в действительности фейерверка было мало. Господствующей обстановкой были, как всегда, будни, а подчас и очень серые будни, будничные заботы, будничные интересы. Жить в праздник, гореть в огне для революционера легко и приятно. Но трудно, не разлагаясь, не опошляясь, не превращаясь в обывателя, побеждать серые, засасывающие будни, в это время сохранять революционное настроение. В особенности трудно это в ссылке; здесь было легче всего разложиться, отойти от революции, превратиться в обывателя. Недаром пелось в одной сибирской песне ссыльных:

Там в России люди очень пылки,
Всем к лицу геройский наш наряд,
Но со многих муки здешней ссылки
Быстро позолоту соскоблят.

И, глядишь, плетется
Доблестный герой
В виде мокрой курицы
Домой [1]).

---

[1]) Из стихотворения, которое было известно у ссыльных под названием «Туруханский марш»; оно было переложено на музыку и очень часто распевалось ссыльными. Стихотворение это до сих пор, кажется, нигде не было напечатано. Привожу его поэтому целиком:

То не зверь голодный завывает,
Дико разыгралася пурга.
В вихре бури ухо уловляет
Хохот торжествующий врага.

Смело, братья, смело,
Мы над бурей злой
Песней посмеемся
Удалой.

«Муки ссылки» — это не мучительства и издевательства, как это бы-
ю на каторге. Это оторванность от живой жизни, от активной работы;
› вынужденное безделье; это серая, будничная жизнь, с ее серыми буднич-
ими заботами; это засасывающая мещанская обстановка.

Вот об этой-то серой, будничной жизни ссылки времен царизма я и
iу рассказать.

Мне пришлось быть в сибирской ссылке два раза. Первый раз в админи-
rативной ссылке в 1904—1905 гг. в Иркутской губ. и в Якутской области
ю второй — в ссылке по суду, т. е. в качестве лишенного прав ссыльно-
:еленца — в 1909—1917 гг. в Енисейской губернии. В настоящем очерке
:очу дать несколько картинок из жизни в той и в другой ссылке.

Но прежде всего расскажу об условиях поездки в ссылку, т. е. о путе-
ствии этапным порядком.

I. Ссылка в Якутскую область.

Арестован я был в Москве в конце октября 1902 года. 13 с лишним ме-
;ев пришлось просидеть в одиночке. Хотя в это время уже чувствовалась
ıзость революции, что сказывалось ослаблением тюремных порядков, и
rас была, таким образом, возможность, сидя в тюрьме, переговариваться
т с другом из окон сколько угодно; хотя мы и пользовались в это время
цими прогулками, — все-таки этого общения с товарищами было слишком

Изнуряют нас года лишений.
Стоит ли до старости нам жить,
Чтоб у новых, юных поколений
Чудом ископаемым прослыть?
Инвалидам лысым
Надлежит почет,—
К лысине отменно
Лавр идег.
Там в России люди очень пылки,
Всем к лицу геройский наш наряд,
Но со многих муки здешней ссылки
Быстро позолоту соскоблят.
И, глядишь, плетется
Доблестный герой
В виде мокрой курицы
Домой.
То не зверь голодный завывает,
Дико разыгралася пурга.
В вихре бури ухо уловляет
Хохот торжествующий врага.
Смело, братья, смело
Мы над бурей злой
Песней посмеемся
Удалой.

Стихотворение это было написано Л. Мартовым, который в конце 90-х годов от-
ал свою ссылку в Туруханском крае.

мало, и все мы были переполнены желанием поближе сойтись друг с другом, вдоволь наговориться, наговориться интимно, а не так, как мы это делали перекрикиваясь из окон. С другой стороны, дорога в ссылку означала конец тюремного сидения и некоторую, хотя бы и весьма относительную, свободу. Поэтому каждый из нас с нетерпением дожидался времени отправки в ссылку и начала этапного путешествия.

Для меня путешествие это началось с Москвы. Сперва всех нас перевезли из одиночной Таганской тюрьмы в пересыльную Бутырскую и поместили в довольно большую группу — человек 15 — в одной общей камере, в так называемой «Часовой башне». Перевод в Бутырки означал близость этапа, а потому пришлось энергично начать готовиться к путешествию.

Обыкновенно думают, что в тюрьме страшна одиночка. Это не совсем верно. Все зависит от индивидуальности. Человек, привыкший к умственной работе, к чтению и имеющий вдобавок материал для такой работы в виде достаточного количества книг, сравнительно легко переносит одиночку. В одиночке, конечно, тоскуешь по людям, стремишься увидаться с ними, дорожишь возможностью общения с людьми вообще и с товарищами в особенности. Сидя в одиночке, настроен поэтому к людям так сказать доброжелательно, их любишь, а не ненавидишь.

Наоборот, если такой человек попадает в общую камеру, заключающую в себе человек 15, он бывает, конечно, очень доволен на первое время, ибо он находит удовлетворение в своем стремлении к общению с людьми, которое развила в нем одиночка. Но как только эта потребность удовлетворена, общая камера начинает обнаруживать свои неудобства. У всех тюрьма более или менее расшатала нервы и развила несдержанность или даже нетерпимость. Сошлись люди с самыми разнообразными привычками и вкусами. Один хочет читать, а его соседи целый день занимаются болтовней. Вечером один хочет спать, а рядом с ним завязывается какая-нибудь шумная игра. Расшатанные нервы скоро дают себя знать, и начинаются сперва легкие столкновения и ссоры, которые позже приобретают характер очень серьезных скандалов. Для примирения ссорящихся и для ликвидации скандалов устраиваются товарищеские суды. Мне, однажды, пришлось быть свидетелем суда, который продолжался, если не ошибаюсь, три вечера. Во время суда многие нервничают еще более. Дело доходило часто до истерики и припадков.

Наоборот, люди, непривыкшие к упорному умственному труду, переносят одиночку с величайшим трудом. Некоторые доходят до самоубийства. Мне пришлось однажды в Бутырской тюрьме наблюдать такой случай.

Один товарищ — если не ошибаюсь, бывший матрос — был осужден на какую-то очень долгую каторгу, — вечную или 20-летнюю. Он сидел сперва в общей камере, но так как он часто имел столкновения с начальством, то в виде наказания его перевели в одиночку. Переносить эту одиночку он совершенно не мог, тем более, что в тюрьме начались строгости, и разговоры через окна, в которых отводят душу заключенные, оказались невозможными. Товарищ решил во что бы то ни стало вырваться из одиночки. Для этого он начал симулировать сумасшествие. Способ симуляции он выбрал ужасный.

Утром, когда ему подавали в камеру черный хлеб и кипяток, он немедленно выбрасывал все это в парашу. Туда же он бросал и получаемый обед. В эту же парашу он отправлял свои естественные потребности. А когда ему хотелось есть, он ел из этой параши, стараясь делать это так, чтобы его видели надзиратели. На него обратили внимание и подвергли его наблюдению, экспертизе. В результате обследования пришли к выводу, что он не сумасшедший, а только симулянт. Тогда этот товарищ прекратил свою симуляцию, но долго выдержать в одиночке не мог и очень скоро сжег себя живьем: он облил керосином матрац, лег на него и поджег этот матрац...

Мне пришлось наблюдать также другой случай самосожжения, возникший на почве неспособности перенести одиночку.

В общей камере в Бутырской тюрьме мне пришлось прожить недолго: уже недели через две нас отправили в Сибирь. Таким образом, на этот раз я не успел испытать всей тяжести жизни в общей камере.

Этапное путешествие в Сибирь началось с поездки по железной дороге. Ехать пришлось в довольно грязном арестантском вагоне, довольно тесно набитом арестантами, но присутствие новых товарищей, возможность наблюдения из окна вагона, после того как в течение 14—15 месяцев был заперт в одной камере и мог наблюдать только стены камеры да тюремный двор, предчувствие близкого выхода на свободу — все это поднимало нервы, настраивало на веселый лад и заставляло забывать о тех неудобствах, которыми было полно путешествие. Езда в вагоне — это было в общем весело проведенное время: шутки, смех, разговоры, песни.

Первой остановкой для нашей партии была Красноярская тюрьма. Пробыть в ней пришлось недели три в ожидании формирования дальнейших этапов. Жить здесь приходилось в общих камерах. Тюремные порядки были довольно свободны. Тюремные камеры были отперты целый день: свободно можно было гулять сколько угодно и переходить из барака в барак.

Ко времени нашего прибытия тюрьма была обильно населена. Одни торопились скорее отправиться на место назначения; другие, наоборот, затягивали свой от'езд, поджидая приезда товарищей, чтобы отправиться с ними вместе.

На воле революционная борьба в это время разгоралась, выдвигая все новые вопросы. Сравнительно незадолго до этого на II с'езде наметился раскол между большевиками и меньшевиками, но большинство товарищей, бывших в Красноярской тюрьме, имело очень смутное представление о сущности разногласий. Пользуясь свободой тюрьмы, мы организовали там ряд докладов и дискуссий. Нередко одна какая-нибудь дискуссия затягивалась на два-три дня. Шли споры с эсерами о целесообразности террора, о национальной программе Бунда, об аграрной программе, о разногласиях между большевиками и меньшевиками и даже уже в то время шел горячий спор о характере грядущей революции, о том, примет ли она характер социалистический. Спорили о том, может ли она окончиться победой социализма. Все эти споры так поглощали наше внимание, что в Красноярской тюрьме мы не чувствовали тяжести и неудобств тюремного заключения, тем более что пребывание в этой тюрьме было недолгое.

В начале января 1904 г. меня передвинули дальше в Иркутскую тюрьму, а после короткого пребывания в ней выслали в одно из сел Иркутской губернии.

Не успел я здесь сколько-нибудь устроиться, как однажды меня пригласили в сельское управление и заявили, что я должен быть немедленно арестован и вечером включен в этап, направляющийся из Александровской тюрьмы в Якутск, ибо место моей ссылки назначено в Якутской области. Домой для сбора вещей меня отправили уже под конвоем.

Путешествие до Якутска пришлось совершать зимой на лошадях. Расстояние от Иркутска до Якутска свыше 2 700 верст. Наше путешествие продолжалось 25 суток, причем мы ехали большей частью и день и ночь. Путешествие это совершалось следующим образом.

Берутся обыкновенные крестьянские сани. С боков с помощью согнутых деревянных брусков на этих санях устраивается подобие довольно глубокой корзины. На низ этой корзины ставятся ящики, корзины, чемоданы и т. п. вещи. Сверху накладывается довольно толстый слой соломы. Над санями опять-таки с помощью таких же, но еще более тонких брусков устраивается остов кибитки. Все это обтягивается арестантскими халатами, старыми одеялами, женскими юбками и т. п. Получается закрытая со всех сторон от ветра кибитка, которую в Сибири называют «кошевой» или «кошевкой». С боков в этой кибитке с обеих сторон имеются отверстия, через которые можно влезать в кибитку. В кибитке едет обыкновенно 3 человека, а спереди на облучке сидят ямщик и конвойный жандарм. Сидеть в кошевке неудобно. Приходится все время лежать. Издали кошевка представляется чрезвычайно большой, напоминая нечто вроде большого воза сена.

В этой кибитке, как сказано выше, мы проводили все дни и почти все ночи, ибо, желая поскорее добраться до места, мы редко останавливались ночевать на так называемых «станках». К жизни в кибитках мы так привыкли, что на ночь устраивались даже с комфортом. Несмотря на 25—30-градусные морозы, мы на ночь даже отчасти раздевались. Снимали неудобные валенки, которые страшно утомляют ноги, ложились втроем вместе, завертывали ноги имевшейся лишней шубой и спали от станка до станка крепким сном. Впрочем, нередко этот сон прерывался самым неожиданным и неприятным образом.

В Сибири, в особенности к концу зимы, снега очень глубоки. Движение по дороге довольно слабое, и самый путь очень узок. Если сани хоть немного уклонятся от этого наезженного пути, они начинают наклоняться, и, если ямщик во-время не выправит их на дорогу, кошевка падает на бок. При этом падении все лежащие в этой кошевке сваливаются на один бок; на них сыпятся разные мелкие вещи. Если такое падение происходит днем, то при свете легко разобраться, вылезть из кошевки, совместно с ямщиками и конвойными поднять кошевку и направить ее на дорогу. Но плохо, когда такое падение происходит ночью, а особенно плохо, когда такое несчастье произойдет с последней, с задней кошевкой. Едущие впереди ничего не знают о падении и продолжают спокойно ехать, не догадываясь, что их помощь очень

нужна. Свалившиеся в одну кучу, пассажиры кошевки в темноте ищут валенки, не находят их, мешают друг другу, ибо один лежит на другом. Наконец, кое-как им удалось одеться, и они через верхнее отверстие вылезают наружу. Хорошо, если в этой свалившейся задней кошевке имеются одинпвое мужчин. Тогда совместно с ямщиком и конвойным они поднимают кошевку. Но плохо, если в ней находятся только женщины и дети. Тогда один ямщик и один конвойный только с большим трудом и после долгой возни выправляют, наконец, упавшие сани.

Ехать — как я уже сказал выше — приходилось и днем и ночью. На промежуточных станциях, которые в Сибири называются «станками», останавливались только для того, чтобы перепрячь лошадей, а во время этой перепряжки поесть и напиться чаю.

С едой тоже было много затруднений. Большая часть дороги проходит по пустынному, каменистому, холодному и мало плодородному Киренскому уезду. Своего местного хлеба нехватает даже для местного населения уезда, для самих крестьян. Поэтому на станках Киренского уезда очень трудно добыть что-либо с'естное. Пищу на всю дорогу (а она у нас продолжалась 15 суток) приходилось заготовлять перед от'ездом в тюрьме.

Главной основой пищи служили котлеты и пельмени. Нас ехало человек 20. Считая, что каждый с'едал в день по крайней мере 25—30 пельменей, суточное потребление этих пельменей было на 500—600 штук. А на 15 дней это дает тысяч 15. Котлет также надо было заготовить штук 1 000. Вся эта заготовка была произведена перед от'ездом в Александровской тюрьме. Заготовленные котлеты и пельмени выносят на мороз, замораживают и складывают в мешки и ящики. Так же заготовлено было несколько мешков замороженного молока и щей. При заготовке котлет случилось несчастье. Их вынесли на двор замораживать перед вечером. На дворе в это время бегали маленькие дети одного ссыльного товарища, забавляясь игрой в снежки. Увидав какие-то черные плоские предметы, удобные для бросания, они начали бросаться этими котлетами и раскидали их по двору. Когда пришли за котлетами, оказалось, что многих из них нехватает. Начали собирать их. От бросанья котлеты совершенно деформировались; с другой стороны, стало уже совсем темно. Поэтому при подбирании котлет нередко ошибались и вместо котлеты поднимали кусок конского навоза.

Первое время при жарении котлет было легко отличать навоз от котлет. Но потом дело стало хуже. Ехали мы в марте. Днем солнце иногда нагревало настолько, что все начинало таять. Таяли и наши котлеты, ночью же начинался мороз, доходивший до 25—30 градусов. Тогда оттаявшие за день котлеты смерзались в одну массу. В состав этой массы попадало также не мало соломы, ибо крышка от ящика скоро ломалась. Весной лошади линяют; с них летит шерсть, которая тоже попадала в ящик с котлетами. Все это смерзалось в одну общую массу, которую мы перестали называть котлетами, а называли «конгломератом». Приехав на станок, приходилось топором отрубать кусок этого «конгломерата», разрубать его на мелкие куски и жарить. Отличить приэтом навоз от котлеты не было никакой возможности.

В такой же «конгломерат» превратились и наши пельмени. И эту дрянь приходилось есть в течение 3 недель, ибо почти ничего другого добыть было нельзя, да и денег на покупку у нас не было.

Расстояния между станками по якутскому тракту иногда очень велики: они доходят до 30—35—40 верст. Пока едешь по морозу, чувствуешь себя довольно бодро, но очень продолжительная поездка по морозу утомляет. Это утомление сказывается по приезде на станок, когда согреешься у огня. Приехав на станок, мы обыкновенно немедленно, не раздеваясь, втаскивали пищу, отделяли от нее необходимое количество, остатки уносили и снова клали в кошевку, чтобы они не таяли Только после этого мы начинали раздеваться. Дежурные принимались за приготовление пищи, а остальные усаживались у камина, в котором ярко горели дрова (камин в этих местностях — необходимая принадлежность всякой избы, а в особенности — юрты). Первое время это сидение у огня очень приятно, но скоро начинает разбирать страшная усталость, и неудержимо тянет лечь где-нибудь на лавке. Лежание на лавках на станках — губительное дело. На этих лавках ложатся всякие приезжающие и оставляют после себя паразитов. Мы этого не знали, но уж через неделю почувствовали, что превращаемся в какие-то ходячие зверинцы. Всем, даже женщинам, пришлось остричься возможно короче. Но слишком коротко стричься было нельзя из-за мороза; поэтому паразиты продолжали размножаться прямо в ужасающем количестве. Каждый из нас носил на себе не десятки, а много сотен паразитов. Только приехав в Якутск и устроившись на квартирах, мы сумели освободиться от них.

На обратном пути из ссылки мы уже знали, как опасно ложиться на лавки, и, насколько было сил, избегали этого лежания. Тем не менее, к концу обратного пути мы все-таки приобрели паразитов, но в значительно меньшем количестве.

II. Кое-что о жизни в Якутской области.

В Якутск мы приехали недели через две после того, как был ликвидирован протест ссыльных, известный под именем «Романовской истории». Вкратце сущность этого протеста состояла в том, что несколько десятков ссыльных отказалось уехать из Якутска в окружающие улусы [1]). Они заперлись в доме некоего Романова, а предварительно запаслись достаточным количеством пищи и кое-каким оружием. Дом Романова окружили войсками. Скоро с обеих сторон началась перестрелка, в которой убитые оказались с обеих сторон. В конце концов осажденные были принуждены сдаться. Их заключили в тюрьму, а через несколько месяцев судили, приговорив к каторге, от которой их освободила революция 1905 года.

Из Якутска нас очень быстро разослали по улусам.

[1]) «Улус» — административная часть Якутской области. Улус занимает довольно большую территорию, равную иногда нашему уезду. Улус делится на так называемые «наслеги».

Якуты не живут деревнями. Иногда встречаешь одну юрту, в которой кивет одна якутская семья. Иногда вместе стоят 2, 3, 4, 5 таких юрт. Через есколько верст снова одна юрта или небольшая группа юрт. Даже церкви в Ікутской области стоят одиноко. Они расположены на лесных полянах. При еркви нет никакого села; стоят только 2-3 домика, в которых живет священник и другой причт. Все пространство между этими редкими группами орт, расположенными на полянах, занято бесконечным лесом — так называемой тайгой.

Якуты живут большею частью не в избах, а в юртах. Избы у якутов резвычайно редки. Юрта — это нечто среднее между шалашом и домом. Она остроена из тонких бревен вершка в 4 в диаметре. Бревна эти положены не эризонтально; они стоят наклонно к поверхности земли на высоту аршина 3. Затем следует еще ряд коротких бревен с гораздо большим наклоном, сверху все это покрывается горизонтальным потолком, на который насыается очень толстый слой земли. Крыши у юрты нет.

В стенах юрты имеются небольшие окошечки вершков 10 в квадрате. этих окошечках вставлены маленькие рамы, стекла которых состоят из аленьких кусочков, искусно скрепленных между собой. Зимой вместо втоэй рамы вставляется снаружи льдина. Снаружи стены юрты обмазываются элстым слоем глины (толщина несколько вершков). К юрте непосредственно эимыкает помещение для скота, сообщающееся с юртой. В таких случаях эздух в юрте, конечно, очень тяжелый.

Внутри юрты вдоль стен расположены неподвижные скамейки, так азываемые «ороны». Днем на этих оронах сидят, а ночью — спят. Русские ечи у якутов очень редки. Для отопления служит обыкновенно камин, — камелек». Труба камина прямо, без всяких поворотов выходит наружу, когда і камине разведен большой огонь, то снопы искр вылетают прямо наужу, и по этим искрам ночью, под'езжая к юрте, можно издалека заметить :. Благодаря лучистой теплоте камина в юрте очень тепло до тех пор, пока эпится камин, но ночью, если огня не поддерживать, то юрта очень быстро ›стывает, ибо нет никаких приспособлений, чтобы закрывать трубу. Труба імина быстро вытягивает всю теплоту. Когда становится очень холодно, го-нибудь из спящих не выдерживает, встает и снова разводит большой онь. В зимнюю ночь такой огонь приходится разводить 3-4 раза. На этом е камине якуты готовят себе и свою неприхотливую еду. Дров при такой істеме отопления выходит колоссальное количество, но дрова в Якутской бласти очень дешевы, так как лес обступает жилье со всех сторон. В мое ремя платили 60—65 коп. за сажень лиственничных дров, разрубленных и доавленных на место. Я никогда не мог понять, как якуты могли брать такую :шевую плату, тем более что лиственница — дерево невероятно твердое и бить такие дрова задача не легкая.

Мне пришлось жить верстах в 150 от Якутска, в так называемой Чуэпче. Это, кажется, единственная якутская деревня, или, вернее, подобие ревни. Это была куча юрт и изб, разбросанных в беспорядке: как будто бы го-то просыпал эти избы и юрты, и они рассыпались как попало. Недалеко

от Чурапчи находилась прежде небольшая чисто русская деревня, населенная скопцами. Этим скопцам потом разрешили перебраться в другое, лучшее, место под Якутском, и они покинули свои избы. Часть этих изб разрушилась; часть осталась на месте доживать свой век, а часть якуты перевезли в Чурапчу и пристроили к своим юртам, в виде так сказать парадных помещений. Мне и еще двум товарищам пришлось жить в такой избе и в примыкающей к ней юрте. В избе было две комнаты, а юрта служила нам как кухня. В ней же мы и обедали.

Морозы в Якутской области стоят всю зиму необычайно суровые. Они доходят градусов до 60° Ц (наинизшая температура наблюдалась в Верхоянске; она доходила до 73° Ц. Верхоянск считается полюсом холода, т. е. самым холодным пунктом северного полушария). Добиться при таких морозах, чтобы в избе было достаточно тепло, дело не легкое. Печь в избе приходилось накаливать до последней возможности. Чтобы утеплить окна, в Якутской области или вставляют по три рамы, или при двух рамах внутреннюю раму делают с двойными стеклами, отделенными друг от друга промежутком сантиметра в 3 шириной. Чтобы утеплить стены избы, их в начале осени тщательно обмазывают глиной, а в начале зимы привозят бочку воды, выливают воду в заранее собранную большую кучу снега и образовавшуюся водянисто-снежную кашу лопатами бросают на стены избы. Эта каша примерзает к стенам, и изба снаружи становится ледяной. Зимой, во время сильных морозов этот ледяной покров трескается; происходящий приэтом звук напоминает ружейный выстрел. Ночью такой «выстрел» иногда будит спящего.

Часто у нашего брата-ссыльного не было денег на покупку второй зимней рамы. Тогда на место рамы вставляется кусок льда сантиметров в 15—20 толщиной. Такая льдина хорошо удерживает теплоту, если в окне стоит она одна, даже без летней рамы. Такая льдина сохраняет теплоту, пожалуй, даже лучше, чем рама. Она недурно пропускает свет, но через нее нельзя, конечно, видеть, что делается наружи.

Чтобы сберечь тепло в юрте, мы приспособили железный лист, который накладывали на выходную трубу с крыши. Сверху на лист клалось несколько кирпичей, чтобы его не сдуло ветром.

В те времена царское правительство сравнительно редко доводило политические процессы до суда, ибо суд, даже царский, при закрытых дверях, возбуждал шум, разговоры и привлекал к себе внимание. Со ссыльными расправлялись обыкновенно так называемым административным порядком. Следствие вели жандармы под наблюдением прокурора, который в лучшем случае не вмешивался в дело, а в худшем помогал жандармам. По окончании следствия «дело» с заключениями жандармов и прокурора поступало на рассмотрение министерств юстиции и внутренних дел, которые и назначали наказание: обыкновенно ссылку на 3—4—5, а иногда и более лет. В конце концов приговор утверждался царем. Иногда срок такой административной ссылки доходил до 10 лет.

Такие административные ссыльные, попав на место ссылки, с трудом, да и то только в городе, могли найти там работу. Волей-неволей сославшее

их правительство должно было давать им средства к жизни. Это делалось в виде так называемого «пособия», которое выдавалось административным ссыльным. В Якутской области размер этого пособия был 12 рублей в месяц для одиноких и, сколько помнится, 19 рублей с копейками в месяц для женатых. Жить, только на это пособие было чрезвычайно трудно, хотя цены многих продуктов в Якутской области были очень низки. Я уже сказал выше, что за сажень дров мы платили 60—65 копеек. Пуд мяса стоил рубля 2. Пуд масла рублей 12. Но зато хлеб и продукты, привозимые в Якутскую область (сахар, табак, одежда и т. п.), были, конечно, дороги. Кто мог, старался как-нибудь подработать. Многие занимались уроками, обучая якутских детей. Якуты очень способный народ и стремятся к знанию. В улусе окрестные якуты охотно посылали к нам своих детей учиться. Плата за уроки была, конечно, до смешного мала: рублей 5—6 в месяц, причем якут старался уплатить их не деньгами, а продуктами, — мясом, маслом, молоком, дровами и т. п. Якуты почему-то совершенно не едят почек; поэтому часто приходилось получать плату за учение в виде нескольких десятков привезенных якутом почек. Почки стали таким образом одним из наиболее часто готовящихся у нас кушаний. При такой системе уплаты продукты накоплялись у нас часто в очень больших количествах, — благо, холодный климат позволял оберегать их без порчи.

Наша жизнь в улусе протекала приблизительно следующим образом.

Мы жили втроем в нашей избе и в примыкающей к ней юрте. Для ведения хозяйства было установлено дежурство. Утром — часов в 8 — вставал дежурный. Придя в юрту, он подготовлял дрова в камине, щепал лучину, подкладывал ее под дрова. Затем он надевал полушубок и шапку, выходил на двор, по лестнице лез на крышу и открывал трубу, снимая для этого с нее железный лист. Возвратившись в избу, он зажигал камин и принимался за приготовление чая. Камин быстро нагревал юрту. К этому времени вставали остальные и шли в юрту пить чай.

По окончании чая дежурный приступал к приготовлению обеда, а свободные члены «коммуны» шли заниматься своими делами: занимались с учениками, читали, писали и т. п. В области приготовления пищи сперва было много смешного, ибо в начале никто из нас не умел приняться за дело. Помню, например, что, желая приготовить перловый суп, я насыпал в него столько крупы, что получилась какая-то стекловидная и мало с'едобная густая перловая каша. Однажды мне пришлось в первый раз жарить уток. Я знал, что утку надо ощипать, а чтобы уничтожить оставшиеся следы пуха, опалить на огне, но я не знал, что это лучше всего делать на углях. Я развел маленький костерик из сосновых лучин. Сосна — смолистое дерево и при горении дает сильную копоть. При опаливании мои утки стали совершенно черными. Я начал их мыть, но копоть смешалась с жиром, выступавшим из-под шкурок; поэтому мое мытье не давало никаких результатов. Утки продолжали оставаться черными, как уголь. Я решил, что всему делу мешает жир, который можно уничтожить мылом, и мылом начал мыть уток. За этим занятием застали меня товарищи, которые, конечно, подняли меня на смех.

Не смущаясь их насмешками, я продолжал упорно намыливать уток, но все мои усилия не привели ни к чему. Когда я с усилием тер уток, из них выступал все новый и новый жир, и утки продолжали оставаться попрежнему черными. Тогда я решил, что эта чернота заметна только на незажаренной утке, а на зажаренной она будет совсем не видна. Так и вышло.

Вначале мы совсем не умели готовить, но постепенно научились, и я, например, в конце концов умел зажарить не только уток, но даже журавля. Научился готовить даже очень вкусные пирожки.

Якутская область отличается не только чрезвычайно холодным климатом, но и тем, что вся почва очень глубоко — на несколько десятков сажен — промерзла. Летом земля оттаивает на 1½—2 аршина, а дальше идет вечная «мерзлота». Благодаря этому всякие продукты очень легко сохраняются даже летом, если их поместить в погреб, наполненный льдом. Лед в таких погребах может сохраняться в течение всего лета.

Еще одной из особенностей Якутской области является то, что вода якутских рек и озер чрезвычайно мутная и для питья неудобна. Поэтому в Якутской области целый год пьют не воду, а растаявший лед. Вода, получающаяся от такого растаявшего льда, очень чиста и совершенно прозрачна С добыванием такой воды у нас дело обстояло следующим образом.

Мы завели две довольно большие кадки. Обе эти кадки наполнялись льдом. Воду брали из той кадки, где лед уже в значительной степени растаял. В другой кадке в это время таял лед и накоплялась вода. Как только вода в первой кадке истощалась, надо было пополнить ее новым запасом льда. Зимой для этого брался лед, привезенный прямо с реки или с озера. К концу зимы мы наполняли свой погреб льдом, а во время лета брали этот лед для превращения его в воду.

Заботы о хозяйстве в общем занимали у нас сравнительно не много времени. На уроки также уходило только часа три в день. Свободного времени оставалось много, в особенности зимой, ибо при якутских холодах на прогулку не тянуло, и большую часть времени приходилось сидеть дома. Это свободное время употреблялось для чтения и для занятия с товарищами.

Одну из наиболее ощутимых тягостей якутской ссылки составляло то, что, благодаря ее отдаленности, почта приходила с большим опозданием, ибо от Иркутска до Якутска почта шла на лошадях. В самый Якутск почта приходила 2 раза в неделю. Московские газеты получались там не раньше, как на 25-й день. В улусах дело обстояло гораздо хуже, ибо туда газеты и письма попадали только в том случае, если кто-нибудь из нас ехал в город и привозил их с собой, или с оказией. Один из живших в городе товарищей согласился обслуживать нас. Он получал с почты нашу корреспонденцию и старался найти какого-нибудь якута, который ехал через Чурапчу, чтобы переслать с ним нашу почту. Такой способ переправки приводил к еще бо́льшим запозданиям. Кроме того, газеты скоплялись в очень большом количестве. Приходилось иногда получать сразу по 15—20 номеров газеты. При получении такой громадной почты у нас буквально разбегались глаза. Хотелось, с одной стороны, скорее узнать последние новости, а с другой—иногда трудно

было понять их, если брался за последнюю газету, пропустив 10—15 предыдущих. Газеты после их получения читались запоем в течение нескольких дней.

Товарищи, жившие в еще более отдаленных местах (Верхоянск, Колымск), куда почта приходит еще реже, рассказывали, что там ожидание почты еще напряженнее и болезненнее. О приближении почты узнают по колокольчикам. Когда кто-нибудь сообщал, что слышен колокольчик, вся колония ссыльных выскакивала на улицу и бежала к дому, где получалась почта. Это ожидание почты так напряжено-болезненно, что был строго запрещен обман на этой почве, т. е. в шутку неправильное сообщение о приходе почты. «С почтой шутить нельзя» — гласил этот закон.

Но, несмотря на эту отдаленность от России, в которой разгоралась в то время революционная борьба, мы в описываемый период не чувствовали оторванности от тех интересов, которыми жила Россия. В этом отношении существовала большая разница между ссыльными восьмидесятых годов и ссыльными эпохи перед революцией 1905 года. В восьмидесятых годах Сибирская железная дорога не существовала. Чуть ли не от Урала почта шла на лошадях, что вызывало еще бо́льшие ее запоздания. Кроме того, политическая жизнь России текла медленно. Не было массового, бурного революционного движения. Революционные события происходили редко. О текущих революционных новостях благодаря строгостям цензуры можно было узнавать только из писем. Ссыльный в такой обстановке чувствовал себя совершенно оторванным от далекой России. Попав в Сибирь, он старался войти в местную жизнь, входил в ее интересы, старался в ней найти для себя дело и стать полезным. Отсюда такое большое количество ссыльных, которые занялись изучением Сибири. Многие из ссыльных тех времен так сживались с сибирской жизнью, так входили в ее интересы, что по окончании срока своей ссылки оставались там навсегда.

В иных условиях жила ссылка в эпоху перед революцией 1905 г. Железная дорога проходила тогда через всю Сибирь. Почта приходила чаще и регулярнее. Темп русской жизни приобрел бурный характер. Чувствовалось, что вся страна клокочет, как вулкан перед извержением. Этот бурный темп жизни приковывал к себе внимание и в отдаленной Якутке. Далекая, яркая, кипучая жизнь России заслоняла серую, спокойную жизнь Якутки. Не хотелось вникать в последнюю, входить в ее узкие интересы. Каждый чувствовал, что он не доживет в ссылке до истечения назначенного ему срока, и каждый готовился к той работе, которая выпадет ему после скорого возвращения. Немудрено, что ссылка этих бурных предреволюционных годов не дала тех исследователей Сибири, каких так много дала ссылка в предыдущие мирные, тихие годы.

Жизнь ссыльных протекала, главным образом, в их же ссыльном кругу. Общение с местным населением, с местными обывателями было явлением редким, ибо интересы этих двух групп были резко различны. Отдаленный гром революционной борьбы еще не дошел в то время до мещан — обывателей Якутска. Они продолжали жить своими интересами, и ссыльному было

трудно найти почву для общения с такими обывателями, а мы — ссыльные - только и жили интересами революционной борьбы.

Чуропча и ее окрестности издавна была местом ссылки многих рев(люционеров. В этой местности жили, между прочим, Короленко, Мачте' Серошевский. В своих литературных произведениях из якутской жизни он рисовали типы лиц, с которыми они встречались в этой местности. Хот мне пришлось быть в Чуропче значительно позже Короленко, некоторые и тех, кто был изображен в его рассказах, еще уцелели. Пришлось встретит наприме, об'якутившегося казака, который изображен в рассказе Коро ленко «Сон Макара». Пришлось встретить одного бывшего уголовного катор жанина, который нарисован в рассказе Короленко «Соколинец». Не знак что было причиной — мое ли неумение подметить внутреннюю романтик этих двух лиц или чрезмерная романтика, окутывающая все то, что изобра жал Короленко, — но на меня эти два человека не произвели никакого впечатления. «Сон Макара», как он с гордостью себя называл, — был совер шенно обыкновенный об'якутившийся казак, а «соколинец» — простой вла делец небольшой лавочки в улусе. Среди других якутов встречались типь гораздо более интересные и красочные.

Маленький курьез. В Чуропче был оригинальный священник. Он служил где-то в центральной России. Любил сильно выпить, и однажды на Пасхе, напившись пьяным, отзвонил на колоколах «Комаринского». Для верующих получился большой соблазн. Началось «дело», и бедного попа отправили священствовать в Якутскую область. Я несколько раз в шутку убеждал его повторить «Комаринского» на колоколах Чуропчинской церкви. Отец Илья признавался, что он не прочь от этого, но, к сожалению, колокола церкви не подобраны.

Несколько слов о религии. Официально якуты числились православными. Но так как они живут разбросанно, вдали от церквей, так как, с другой стороны, богослужение совершается на славянском языке, им совершенно непонятном, то представление их о православной религии самое туманное и поверхностное. В значительной степени живо в них старое язычество с его бесчисленными богами. Маленький пример. Пошли мы однажды в начале зимы посмотреть, как ловят рыбу в озере. Когда лов окончился, рыбу стали делить между всеми присутствующими. Принесли и мне кучу рыбы, хотя я никакого участия в ловле не принимал. Я стал отказываться, но мне заявили, что я должен взять рыбу, иначе бог озера накажет ловцов и в другой раз не даст рыбы. Я предложил за рыбу деньги. Но и это оказалось недопустимым. Пришлось отдариться за рыбу табаком.

Другой случай. Ехал я однажды в Якутск с молодым якутом по имени Макар. Вдали заметили мы у дороги костер, около которого никого не было. Мой Макар пришел в ужас и отказался ехать далее. На мой вопрос: «В чем дело?» — он ответил, что этот костер есть чорт, ибо если бы это был обыкновенный огонь, то около него были бы люди. Пришлось вырвать у него из рук вожжи, и только тогда мы двинулись дальше. Стал расспрашивать Макара, какие же вообще бывают у них черти. Черти оказались очень

странные и своеобразные. Есть, например, чорт, у которого есть только один живот, а других органов тела нет. Есть другой, у которого есть только рот, и т. п.

Раньше — в 80-х и в 90-х годах — среди ссыльных крупный процент составляли интеллигенты. В 900-х годах состав ссылки сильно изменился. Революционное движение начало принимать массовый характер, и среди ссыльных большинство стали составлять рабочие, да вдобавок еще массовые рабочие, т. е. такие, которые до ареста были очень мало затронуты пропагандой. Часто арестованный за какую-нибудь стачку или за участие в демонстрации даже не знал сколько-нибудь толком, за что его ссылают. Многие становились в революционные ряды просто под влиянием классового инстинкта. В ссылке такой малосознательный человек под влиянием всяких неудобств, лишений, мелочей жизни и отсутствия поддерживающей его революционной атмосферы очень легко мог совершенно разложиться и превратиться в простого, заурядного обывателя. Наоборот, при внимательном к нему отношении со стороны товарищей и при их поддержке он мог превратиться в сознательного революционера. В ссылку попадали часто даже люди, имевшие чрезвычайно отдаленное отношение или даже не имевшие никакого отношения к революционному движению. Попадали, например, контрабандисты, арестованные при попытке перевезти через границу нелегальную литературу. Попал в ссылку один начальник станции какой-то из западных дорог. Он не имел никакого отношения к революции; приехал по своим делам в город и, когда шел по улице, наткнулся на демонстрацию, разгоняемую полицией. Демонстранты бежали; побежал и он с ними, но был вскоре арестован и сослан в Якутскую область в качестве участника политической демонстрации.

Наличность большого количества еще малосознательных, не сформировавшихся революционеров ставила перед нами — интеллигентами — задачу превратить этих часто случайно попавших в ссылку товарищей в сознательных революционеров. С этой целью устраивались всевозможные кружки, в которых, благодаря большому количеству свободного времени, работа шла чрезвычайно интенсивно.

Чтобы поддержать в массе ссыльных интерес к революционной борьбе, надо было показывать им, что эта борьба в России не кончилась, что, наоборот, она разгорается все сильнее и сильнее. Другими словами, надо было держать их в курсе революционных событий, а равно и знакомить их с теми вопросами — теоретическими и тактическими, — которые возникали в ходе революционной борьбы. Так как количество политических ссыльных к этому времени стало очень велико, то мы решили вести такую пропаганду не только в кружках, но и путем издания революционного журнала. Таких журналов у нас появилось сразу два. Оба они издавались марксистами; эсеры остались в стороне от этой издательской деятельности. Да и пропаганда среди них была поставлена гораздо слабее. Мало того, оба журнала издавались в одном месте, в той самой Чурапче, в которой мне пришлось жить. Наличность не одного, а двух журналов об'яснялась различием взглядов на некоторые во-

просы ссылки, а еще более трудностью сговориться с товарищем, который являлся руководителем второго журнала. Журналы наши печатались на гектографе. Тираж был экземпляров 80. При изготовлении гектографа мы наткнулись на совершенно неожиданные затруднения. Якутск — город очень небольшой; большинство населения составляют якуты. Естественно, что в таком городе потребление глицерина было очень невелико, и мы скоро заметили, что глицерину для нас не хватит. С другой стороны, мы боялись покупать глицерин в единственной аптеке Якутска, ибо это могло возбудить подозрение. Встала задача научиться делать гектограф таким образом, чтобы в него шло как можно менее глицерина. Решение этой задачи было поручено мне. После долгой возни мне удалось, наконец, научиться делать такой гектограф, в который шло очень мало глицерина, но который мог давать 40—50 довольно хороших оттисков.

Работа шла таким образом. Сперва писались все статьи и заметки. Когда они все были готовы, их в два-три дня старались переписать гектографскими чернилами. В это же время варился гектограф и начиналось печатание. Работали весь день и значительную часть ночи, чтобы из соображений конспирации возможно скорее кончить работу, спрятать затем гектограф и отпечатанные экземпляры. Затем отпечатанное в сброшюрованном виде отвозилось одним из нас в Якутск. Распространение начиналось обязательно в Якутске, чтобы отвести подозрение от Чурапчи, в которой жила редакция и работал гектограф.

Теперь не сохранилось, конечно, ни одного экземпляра этих журналов (помню, что один из них назывался «Вестник ссылки»; название другого не помню). Интересно, что в этих журналах мы не только продолжали споры по тем разногласиям, которые возникали в это время в партии, но иногда разногласия возникали в нашей среде прежде, чем мы узнавали о них из тех нелегальных газет, которые время от времени нам удавалось получать в письмах и другими способами от приятелей из России или из-за границы. Оба журнала давали также информацию (из нелегальных газет, попадавших к нам, и по письмам) о новостях революционного движения.

Революция между тем в России назревала чрезвычайно быстро, в особенности, когда обнаружилась неизбежность поражения России в русско-японской войне. После 9 января 1905 г. эта близость революции стала чувствоваться настолько сильно, что однажды, когда к якутскому исправнику явилось несколько ссыльных с просьбой выдать им полагающееся «пособие» раньше срока, исправник ответил им: «Не могу я этого сделать, господа. Войдите в мое положение; сегодня вы здесь живете как ссыльные, а завтра, может быть, получите возможность вернуться в Россию. Кто же тогда уплатит мне выданные вперед деньги? Сегодня мы даем вам, а через месяц, может быть, вы будете давать нам». При таких условиях нельзя было более удерживать ссыльных расселенными по улусам. Постепенно самовольно они начали приезжать в Якутск и селиться в городе. Улусы опустели.

В городе также ослабел надзор начальства, и ссыльные, не стесняясь, начали устраивать большие собрания, сперва в близлежащем лесу, а потом и

в городе по квартирам. Полиция совершенно растерялась. На этих собраниях долго и горячо обсуждались различные революционные вопросы: о вооруженном восстании, о характере революции, о диктатуре пролетариата и крестьянства, об отношении к либералам. В этих собраниях участвовали исключительно социал-демократы; эсеры на них не бывали, и я не помню, чтобы такие собрания у них устраивались. Среди нас — социал-демократов — все ярче и ярче намечались разногласия между большевиками и меньшевиками. Интересно, что те, кто в то время, т. е. зимой, весной и летом 1905 года, склонялся к меньшевикам, так и остался меньшевиком на все последующее время. Наоборот, большинство тех, кто в то время становился на сторону большевизма, осталось в рядах этой партии до настоящего времени.

1500 километров по Франции.

Л. Никулин.

1. Париж — Шартр — Шато д'Эн.

Лето в этом году было скверное. Ежедневно низкие мохнатые облака щедро поливали Париж. Мокрый асфальт сиял, как натянутая резина. Из окна пятого этажа дома 58 по улице Мишель-Анж мы каждый день видели отсыревшие, горбатые крыши особняков Отей, аркады окружной дороги, сплошь заполненный домами горизонт и слева Эйфелеву башню, у которой в этот день туман начисто от'ел верхушку. В саду пансиона Сан-Жозеф в это утро школьники орали совершенно так, как орут во дворе школы второй ступени имени Нансена в Москве, в Мерзляковском переулке. Внизу на улице не часто погромыхивал трамвай и, протяжно затихая, как детская игрушка, свистел кондукторский рожок. Наконец, в два часа дня совершенно мокрый, маленький Ситроэн остановился и настойчиво загудел у дома 58.

— Володя, — решил Василий Иванович. — Надо ехать.

— Может, отложите?.. Погода... — нерешительно сказал наш хозяин, но Василий Иванович мрачно подхватил чемодан, и гости шумно простились. Чемодан гулко громыхал по натертой воском деревянной лестнице. Консьержка выглянула из-за белоснежных занавесок и внимательно посмотрела на чемодан. На улице, рядом с Ситроэном, стоял Володя. Вода с козырька каскетки струилась на воротник непромокаемого пальто, сбегала по груди к коричневым тупоносым туфлям и далее распространялась по асфальту. Мы поставили чемодан стоймя внутрь машины, и тут уже можно было предвидеть дорожные споры. Удобнее было сидеть внутри машины, но много веселее быть рядом с шофером.

Ситроэн дрогнул и побежал по воде. Частый дождик, как нарочно, перешел в ливень. Дома, и деревья, и арка железной дороги еле намечались в плотной и частой сетке дождя. Мы все же выехали, пугать нас, видимо, больше не стоило, и ливень опять перешел в серенький, мелкий дождик.

По прямой улице мы выехали на площадь Отей и остановились у таможенной заставы. Здесь был конец Парижу, и здесь он, вероятно, кончался лет пятьдесят назад, когда версальцы наступали из Сен-Клу на Коммуну. Но сейчас вокруг таможенной будки был тот же Париж. Таможенный старичок дал нам ярлык. Это означало, что он точно учел количество имеющегося у нас бензина. В Париж запрещено ввозить бензин из провинции.

Наивная старина. Сто-двести лет назад, когда город начинался у этой заставы, такие же старички, неизвестно для чего, давали ярлыки кучерам дорожных карет и дормезов. Теперь ярлыки выдают шоферам Ролс-Ройсов, Рено, Ситроэнов. С месяц назад, один ярый спортсмен-автомобилист (фамилию его я забыл) устроил заговор против ненужного таможенного чиновника и его ярлыков. Он собрал две дюжины машин и во главе этой колонны приехал к заставе. Он хотел заставить старика действительно измерить количество бензина в машинах его друзей. Это отняло бы полчаса времени. За эти полчаса у заставы собралось бы не менее двухсот машин. Было воскресенье. Пока спортсмен спорил с чиновником, собралось не двести, а пятьсот машин. Это был хаос. Гудели автомобильные гудки, ругались профессиональные шоферы, ругались элегантные спортсмены. Старичок не желал мерить бензин. Его дело дать ярлычок, а не мерить. Он хотел выполнить традицию, наивную условность, обозначающую предписанное законом действие. Так делали до него и так будут делать. Спортсмен же хотел взорвать традицию, уничтожить условность. Он был чуть ли не революционер, итальянский забастовщик, он саботировал власть, — и власть в лице двух полицейских, называемых в народе «фликами», не замедлила вмешаться. Власть очень грубо намяла бока блестящему спортсмену и заставила его друзей взять ярлычки. Так победила традиция, и чиновник попрежнему, неизвестно для чего, раздает ярлыки выезжающим за заставу и отбирает их у в'езжающих в город.

Традиция — серьезная вещь. Сейчас же за заставой, среди шестиэтажных домов и заводских корпусов, тянется широкая полоса, пустырь, сплошь застроенный шалашами и загроможденный фургонами. Пустырь имеет вид лагеря беженцев или лагеря, выстроенного из обломков тотчас после землетрясения. Существует еще один нелепый закон, ставший уже традицией. В пределах парижских фортификаций запрещено возводить постоянные жилища. Поэтому, несмотря на то, что здесь квадратный метр ценится в тысячи франков, полоса земли, стиснутая домами и фабриками, имеет вид лагеря. В десять раз увеличился район артиллерийского обстрела, совершенно изменился характер крепостных сооружений, но военное министерство крепко держится за старый, ветхий закон. Париж изрыт двадцатью линиями метрополитэна, Париж имеет настоящий аэровокзал в Ле-Бурже, в Париже десятки тысяч автомобилей. Но старые законы живут и не хотят умирать.

Мы минуем мост через Сену. Влево от нас автомобильные заводы Рено, хорошо известный эмигрантам Бианкур с русскими лавочками, русским борщом, аптеками, акушерками и зубными врачами. В ресторане «Медведь» (он же русская церковь в Бианкуре) Марков второй, — Валяй-Марков, — читает рефераты о «жидо-масонах». Мимо ресторана по тихой и глубокой реке плывут нерусские чистенькие железные баржи и пробегают опрятные речные пароходики. На другом берегу тоже нерусский пейзаж — широколистые платаны, легкие павильоны и мостики исторического парка Сен-Клу.

Набережная, русские полковники и капитаны в рабочих блузах, — мастера и подмастерья с заводов Рено, — позади нас.

Машина остановилась у двухколесной цистерны-автомата и высасывает из автомата ровно два литра бензина. Володя платит черноглазой девочке двадцать два франка, — мы едем дальше, мимо других, совершенно таких же, автоматов с бензином. Их будет много, очень много вдоль нашей дороги, по всем большим дорогам Иль де-Франса и Бретани. Через каждые два-три километра обязательно выскочит плоская, вырезанная из дерева, кукла-лакей с салфеткой — реклама апперитива «Чинзано». На фронтах и брандмауэрах домов напоминают о себе апперитивы Дюбонэ. Вперемежку лезет в глаза парень, нагруженный сотней разных бутылок — реклама винного депо Николь. Затем составленный из шин толстяк-курильщик — реклама шин Мишлэн, — не оставляет нас все полторы тысячи километров по всем дорогам Франции.

Париж незаметно переходит в Сен-Клу, то есть площадь и монументальный дансинг. Дорога уходит вверх довольно крутым под'емом. Кончается городская улица, мы едем парком, темно-зеленой и очень густой аллеей. Начинается селение, похожее на пригород, с теми же рекламами апперитивов и бензиновыми цистернами. Кроме обыкновенных магазинов здесь лавки антикваров. Старая мебель, скелеты диванов и кресел мокнут под дождем. Повидимому, близко Версаль. Машину круто заносит на мокром асфальте. Мы едем очень медленно в колонне других машин, совершенно так же, как ехали в Париже. У низенькой чугунной ограды стоит двадцать или тридцать разнообразных автомобилей, от маленького трехместного Гамилькара до сорокаместных автокаров, на которых возит туристов Кук.

— Малый Трианон, — говорит Володя, выжимает, как тряпку, мокрую каскетку и, не слишком охотно, идет вдоль низенького и, вероятно, очень уютного дворца. С террасы вид на большую клумбу и темнозеленый старый парк, где Мария-Антуанетта воображала себя пастушкой. Мокрые туристы осторожно шлепают по лужам. Но у цветов и деревьев очень довольный вид. На террасе у колоннады тесно, пахнет мокрым сукном, резиной и крепкими сигаретами. За два франка привратник водит туристов по дворцу.

— Поедем в Версаль, — говорит Володя, не глядя на нас. Он, видимо, чувствует себя неловко из-за погоды. Три часа. Он собирается сделать сегодня не менее ста километров. И мы уходим из Малого Трианона, слабо запомнив низенький в форме буквы «П» дворец, квадратные окна и вид с террасы дворца на клумбу и парк.

Володя вынимает плотную книжку в красном коленкоровом переплете. Это наша библия, наш символ веры — гид Мишлэн. В нем прежде всего карты всех дорог Франции. Пока мы едем по отмеченной красной линией национальной дороге. Однако мы не минуем и коммунальных дорог. Между теми и другими почти нет разницы, одинаковый абсолютно гладкий асфальт, отполированный автомобильными шинами. Мы едем по такой дороге с несколько странным чувством. Похоже на то, что мы еще не выехали из города. Похоже на то, что именно сейчас за поворотом будет шоссе из булыжников, столбовая, знакомая дорога. Но асфальт разворачивается широкой и бесконечной лентой на десять, сто, пятьсот километров впереди. Красная, об'емистая

книжка заботливо называет нам все встречные селения, все гостиницы, кафе, рестораны, памятники достопримечательности, агентства Рено и Ситроэна, где есть механики, запасные части и, конечно, шины Мишлэн.

Теперь мы об'езжаем пруд, похожий на озеро. Версальский дворец стоит на пригорке величественный, мокрый и хмурый. Почетная лестница бесчисленными ступенями уходит вверх к террасе и фонтану Нептуна. Мы довольно долго об'езжаем дворец и тормозим у ворот почетного двора, мощеного крупным булыжником. Надо заплатить по франку с человека за в'езд. Сегодня будний день, фонтаны не действуют, и, однако, автомобили в четыре длинных ряда выстроились там, где стояли кареты принцев и королей. Бронзовому Людовику с его коня, вероятно, видны автомобили, куполообразные зонтики туристов и дальше, за оградой, казармы швейцарской гвардии. Масштабы почетного двора подавляют. Надо довольно долго итти через двор, под проливным дождем, пока укроешься под аркадами и выйдешь на другую сторону дворца. Вспоминаешь Детскосельский дворец и Петергоф и вдруг удивляешься. Мокрые бумажки, в которые французы заворачивают завтрак, валяются на газонах. Воображаю ярость наших хранителей музеев. Мы снова идем по мокрому песку, протираем забрызганные дождем стекла очков и останавливаемся удивленные и взволнованные.

Тремя террасами сбегает вниз и вдаль Версальский парк. Слева и справа, в перспективу, уходят две зеленых стены. Два старых, гигантских тополя завершают эту необ'ятной ширины аллею, эту беспредельную перспективу, похожий на декорацию искусственный пейзаж. Позади нас темные окна дворца. Людовики смотрели из этих окон и радовались чудовищным, доведенным почти до абсурда масштабам. Да, французы умеют обращаться с пространством. Они протянули чуть не на восемнадцать километров перспективу от Лувра через площадь Согласия, Елисейские поля, Этуаль к авеню Великой армии. Они выдумали бесконечные аркады Риволи, они придумали перспективу от Трокадеро до Военной школы сквозь гигантскую железную арку башни Эйфеля.

— Версаль, — протяжно и полусерьезно говорит Василий Иванович, — еще одной тайной меньше.

— Едем, — торопит Володя, — мы завтракаем в Шартре.

И мы уходим, так и не увидев стеклянную галлерею и знаменитый стол, на котором был подписан Версальский мир. Некоторые американцы интересуются только этим. Кроме дворца в Версале есть дома и улицы, Версаль — город, и в этом городе — ярмарка. Поэтому флик перехватывает нас на полдороге и заставляет сделать крюк в два километра.

— Стерва, — говорит по-русски Володя и, вежливо улыбаясь, поворачивает назад.

С фликом нельзя спорить. Это стоит франк штрафа и семьдесят девять франков издержек. Все вместе называется контравансион. Бюджет шофера не терпит таких расходов. И снова асфальтовая лента дороги, машины впереди, машины сзади, машины навстречу. Маленькие куколки и игрушечные птицы, приносящие счастье, подмигивают нам из заднего окошка

автомобилей. Породистые собачки высовываются из окошек и лают на нас. Ройсы и Испана-Сюизы тоже свирепо рычат на маленький наемный Ситроэн.

Тяжелые дорожные сундуки мягко покачиваются на рессорах Ройсов. Вчера или позавчера они возили своих владельцев по Promenade des Anglais в Ницце или ожидали их у казино в Монте-Карло. Через полчаса они будут в Париже.

Звонко хлопая копытами по асфальту, бежит поджарая стриженая английская кобыла и катит маленькую карету. Величественный кучер в ливрее хлопает длинным бичем и будто бы не замечает обгоняющих его машин.

Сен-Сир — военное училище. Здесь, в так называемой школе маршалов, читал лекции Фош. Здесь же месяц назад судили коммунистов. На веранде кафе в сине-серых шинелях, в кэпи с белыми плюмажами и в белых перчатках сидят воспитанники Сен-Сира. Говорят, они именно в таком виде идут в бой. Это — традиция. В августе они тоже по традиции ворвались в спальни новичков и переломали кому-то ребра. Военный министр разжаловал веселых молодых людей в солдаты. Сен-Сир снаружи похож на фабрику. Манеж напоминает паровозное депо. Пожалуй, это школа-фабрика, мастерские, в которых обучают самым рациональным методам разрушения.

Дорога имеет явно стандартный тип. Обсаженный тополями асфальт, рекламы аппéритивов, автоматы с бензином и через каждые восемь-десять километров деревня. Двухэтажные и одноэтажные дома, почта, гостиница, кафе и магазины, в которых можно найти почти то же, что в небольших парижских магазинах. Мимо аккуратно собранных скирд, по полям как бы шагают стальные мачты высоковольтных установок. Мы проносимся мимо Рамбуйе и видим только парк, высокую крышу дворца — летней резиденции президента республики. Нам бросают в автомобиль рекламы ресторана, и это все, что запоминается в Рамбуйе. Двадцать километров до Шартра мы сделали в двадцать минут.

Почти в каждом городе Франции есть площадь и на площади — собор. В конце концов, для не разбирающегося в тонкостях романской готики — все они на одно лицо, высокие, колючие, острые, в шпилях и башенках. Но собор в Шартре и Туре невозможно забыть. Десять или одиннадцать веков, тысяча лет этому обветренному, вымытому дождями каменному кружеву. От времени и дождей камень кажется почти прозрачным, как бы светящимся изнутри. Сколько поколений строили соборы в Кельне, Реймсе, Шартре и Туре? Это непостижимое очарование, трепет, который охватывает вас, — откуда они?.. От давно умерших поколений строителей, от векового камня?.. Может быть, оттого, что это последние бесполезные, ненужные, радующие глаз сокровища, созданные человечеством. Теперь строят и будут строить несложные, до крайности упрощенные гигантские футляры для электростанций и бетонные коробки небоскребов. Но соборы будут стоять еще несколько столетий, постепенно разрушаясь, несмотря на все ухищрения реставраторов, последние на земле памятники мрачному суеверию, фанатизму, слепой, безумной и все же удивительной вере темных людей. А, может быть, однажды, чудовищные дальнобойные пушки раздробят и сравняют с землей ка-

менное кружево. И в полчаса перестанет существовать то, что строили триста лет двенадцать поколений тружеников. Серенький день тускло мерцает за витражами. Дневной свет делает почти живыми лица святых и ангелов. Конечно, это не ангелы и не мученики, а добрые горожане Шартра — купцы, дворяне, ремесленники, солдаты и публичные женщины, монахи, натурщики неизвестного художника, умершие восемьсот лет назад.

Толстые резиновые подошвы наших ботинок шуршат по вдавленным и стертым плитам. Василий Иванович негромко жалуется на то, что мы очень молоды, что Ленинграду двести с лишним лет, Москве не на много больше, а собору в Шартре одиннадцать веков, но тут же радуется, что мы все же моложе французов. А Володя укоряет нас в неверии, в атеизме и торопит завтракать. В бистро на площади мы ели паштет из жирного кролика, пили чуть кислое, прохладное анжуйское вино и смотрели на многопудовые камни, свалившиеся с башен собора и местами разбившие вдребезги каменную резьбу.

Володя уехал за бензином. Автомобили туристов один за другим покидали Шартр. Мы бродили по площади, поглядывая на старенькие дома с высокими кровлями. Совершенно такие дома в превосходных иллюстрациях к «Трем мушкетерам» Дюма. Шартр—совсем маленький, тихий средневековый городок с небольшой площадью. На площади каменной драгоценностью поднимается к небу этот удивительный собор. Неожиданно взвизгнул рожок, и наш Ситроэн оказался позади. Мы поехали по старинным, средневековым уличкам к старому каменному мосту над заросшей камышем болотной речкой. Река текла прямо под решетчатыми зелеными ставеньками домов. Рядом с постоялым двором (тоже иллюстрация к «Трем мушкетерам») выстроили гараж и в гараже оглушительно трещал мотоцикл.

Машина круто повернула, и еще раз, еще на одно мгновенье мы увидели острые, легкие башни собора, затем выкатились на гладкую, как стол, асфальтовую дорогу.

— Одной тайной меньше,—повторил Василий Иванович, и это звучало, как лейтмотив.

В полчаса мы доехали до Шато д'Эн. По пустынным улицам стрелки и надписи указывали дорогу в замок. Ради замка собственно и ездят сюда, в Шато д'Эн. В гостинице нам отвели маленькие, чистые комнатки. Три четверти комнаты занимала монументальная национальная кровать — «Le lit national», как ее рекламируют универсальные магазины. Внизу, в ресторане сидели немцы туристы и громко разговаривали по-немецки—так, как если бы не было четырех лет войны и в Париже не готовили торжественную встречу сорока тысячам американцев, участников войны. Горничная обносила немцев жареной уткой, и можно было подумать, что в семье горничной нет убитых в четырехлетней войне. О войне напоминали памятники, множество разнообразных памятников, в каждой деревне— плачущие ангелы, солдаты в касках, обелиски с миртовой ветвью и именами убитых сограждан на постаменте. Всего — полтора миллиона имен. Полтора миллиона солдат потеряла прекрасная Франция в войне 1914—1918 годов.

Иногда напоминают о себе инвалиды в коротких, эпически-спокойны: заметках, в отделе происшествий на третьей полосе газеты:

«Вчера днем из Сены вблизи моста Инвалидов вытащили человека, ко торый бился в воде. Доставленный в больницу он умер, не произнеся ни слова При самоубийце не оказалось никаких бумаг. Возможно, что он попал в воду случайно, скатившись по крутому спуску в реку, но то обстоятельство, что он был крепко привязан к своей тележке, заставляет скорее предположить самоубийство. Погибшему на вид около тридцати пяти лет. На его пиджаке пришиты ленточки военной медали и военного креста».

Замок, Шато д'Эн, выстроен на обрыве над тихой равниной, над десятинами возделанных полей. Замок висит над равниной, ему шестьсот лет, а круглой сторожевой башне — восемьсот или больше. С трех сторон замка — обрыв, пропасть; с четвертой — улица, которая проложена над засыпанным рвом. Мы так и не узнали, кому принадлежит замок и в чью пользу пошли два франка, уплаченные за посещение. Кто он — потомок феодала или парижский бриллиантщик, за бесценок купивший замок в период инфляции?

Ветер гуляет по пустынному, подземному залу. Пятьсот лет назад здесь играли в кости наемные солдаты, десять лет назад здесь тоже стояла резервная воинская часть. Солдаты играли в домино, рисовали мелом и углем непристойные картинки на каменных плитах. Ветхий старик-сторож показывает нам почетную лестницу, она загибается резным, каменным винтом, и завитки и орнаменты лестницы сотни раз обмерены и сняты архитекторами всех стран. Для русских с красными паспортами, для русских, которым разрешено только три месяца жить во Франции, старый феодальный замок представляет особый интерес. Продолговатый, полутемный зал нижнего этажа сто тридцать семь лет назад занимал революционный трибунал. В углу, под трехцветным знаменем и фригийской шапкой, сидели судьи. За перегородкой, гремя деревянными башмаками, проходили санкюлоты. Граждане и гражданки Шато д'Эн читали расклеенные декреты Конвента. Под деревянными балками потолка можно было читать «Liberté, égalité et fratérnité». Свобода, равенство и братство. Сырость и время почти смыли буквы, и вы можете только догадаться о том, что́ написано под потолком, над скамьями судей.

Голые стены, деревянные голые скамьи, легкие перегородки — простота, спартанская скромность сурового трибунала революции. Время почти не коснулось этого памятника. И что же могло здесь изменить время — камень и, обратившееся в камень, окаменелое дерево.

В подвалах, в каменных мешках, где сидели вассалы, много позже сидели контрреволюционеры. Ветхий старичок открывает засовы и впускает нас в каземат. Мы входим, сторож остается снаружи, неожиданно закрывает дверь и задвигает засовы. Густой сырой мрак охватывает и давит нас. Василий Иванович нажимает кнопку карманного фонарика. Желтый радужный круг перебегает по шероховатому камню, сводчатому потолку и сырым плитам пола. Скрипит железный засов, с гулким грохотом открывается кованая железом дверь. Старичок очень доволен. Мы—тоже. Эта шутка всегда имеет

успех у туристов. Затем нам показывают разбитые революционерами эмблемы и гербы, и это как будто все.

Мы уходим из замка и пересекаем площадь. Темнеет. В кафе стучат костяшками домино неутомимые игроки. На площади разбивает большую круглую палатку бродячий цирк. Гулко, как в пустую бочку, рычит запертый в фургоне лев.

На том месте, где разбивают палатку, вероятно, стояла гильотина.

Вечером в городе было совсем тихо, так тихо, как бывает и в Париже в отдаленных улицах шестнадцатого арондисмана. На бульваре под газовым фонарем неутомимо целовалась запоздавшая парочка. Внизу мерцали разбросанные на равнине электрические огоньки дальних деревень. Поезда проходили, под обрывом коротко и отрывисто перекликались маневрирующие паровозы.

Было девять часов вечера. Город спал. Мы были в семидесяти километрах от Парижа.

2. Орлеан — Тур — Сен-Мало — Париж.

Здесь начинаешь понимать российскую тоску по машине. Здесь начинаешь понимать, что самодвижущаяся машина, автомобиль, не предмет роскоши, не спортсменская игрушка, а, как говорится, предмет широкого потребления, неот'емлемая принадлежность крестьянского хозяйства. Кроме того, это главная пружина туризма, средство для изучения страны, в которой живешь. Полтора миллиона автомобилей во Франции, пятнадцать миллионов машин в Америке — пока для нас цифры астрономические. Сотни километров асфальтовых дорог разгружают от пассажиров пригородные железнодорожные линии и главные железнодорожные магистрали страны. Школьники отправляются в школу на велосипедах, почтальоны развозят почту на мотоциклах, врачи едут на практику в двухместных машинах и, наконец, целые семьи крестьян ездят в солидных, поместительных Рено. Однажды ливень загнал нашего шофера в первый, оказавшийся поблизости крестьянский дом. Среднее по французским понятиям хозяйство, скуповатый, скорее зажиточный, чем богатый, хозяин. Володя спросил у хозяина, куда можно поставить машину. «У меня нет гаража, — ответили ему, — но во дворе под навесом стоит моя «bagnole», можете поставить свою машину рядом». «Bagnole» — таратайка, телега, оказалась солидным «Фиатом» на рессорах «спорт». Такая машина сделает честь любому нашему гаражу. Конечно, не легко дается такое благополучие крестьянину. Он и его семья встает на рассвете и работает до ночи. Самое скромное развлечение, бродячий цирк или синема́ кажется крестьянину безудержным расточительством. Жажда накопления, труд без отдыха, беспросветный труд до гробовой доски превращает французского крестьянина в классический тип алчного, способного на преступление, завистливого скряги, великолепно показанного Мопассаном. Несколько времени назад в газетах можно было прочитать об убийстве девушки, «чудесно» исцеленной от неизлечимой болезни в Лурде. Ее буквально

из зависти убили соседи. «Чудесное» исцеление упрочило ее благосостояние и сделало ее богатой. Этого не могли перенести скряги, по крохам создающие свое благополучие. Во Франции есть недостаток в земледельцах-рабочих. Но даже голодающие русские эмигранты предпочитают самую тяжелую работу в шахтах работе батрака. Батрак у французского крестьянина буквально погибает от непосильной работы. Конечно, бывают исключения, но это общие черты характера, типичные для крестьянской Франции. И если трудолюбивый, скупой, как говорят русские, «сантимник», французский крестьянин тратит большие средства на трактор, грузовик или легковой автомобиль, то это можно об'яснить только абсолютным пониманием ценности этой вещи в сельском хозяйстве. Вот почему триста автомобилей, выпускаемые в день французским Фордом — Ситроэном, и еще сотни автомобилей других марок, в конце концов, большей частью приобретаются и находят сбыт во Франции. Даже две тысячи шестьсот человек, раздавленных в прошлом году, даже сравнительная дороговизна бензина не останавливает чудовищного размножения автомобиля.

Теперь о туризме. Путешествие в душных коробках вагонов в общем обесцвечивает туризм. Некоторых не удовлетворяет даже путешествие в автомобиле. Есть снобы, тоскующие по перекладным, дормезам и прочим «каретам прошлого». Разве не снобизм анекдотический факт — путешествие из Парижа в Биариц в одноконном извозчичьем фиакре, которое проделал один американец. Своеобразная реакция, своеобразный протест против века двигателей внутреннего сгорания. Конечно, американская реклама собирала тысячные толпы на пути туриста весь месяц, пока он ехал на извозчике из Парижа в Биариц. Одна газета даже интервьюировала кучера одного из последних, сохранившихся в Париже, фиакров. Но мы — «молодая раса», как говорит Василий Иванович, и мы предпочитаем самодвижущийся экипаж поезду и телеге. В автомобиле очень легко сделать крюк в двадцать километров, провести два часа у виадука эпохи Рима, свернуть далеко в сторону, чтобы рассмотреть систему шлюзов на реке или, наконец, просто остановиться посмотреть на полевые работы и поговорить с крестьянами.

Купол неба над головой, полный круг горизонта, свежий ветер в лицо и чистый, не отравленный каменноугольным дымом воздух. Затем завтрак — здоровая и вкусная пища (хорошо едят во французской провинции), легкое, освежающее вино, которое можно найти только в этом департаменте. Ночлег в провинциальном постоялом дворе, в каком-нибудь «Hotel de la poste», бок-о-бок с конюшней и гаражем. И утром—опять рощи, тучные возделанные нивы и километры, километры и километры по полированному асфальту дороги. Пейзажи Иль-де-Франса, кудрявые шапки деревьев и ручейки совершенно такие, как рисовал их Вато, и нивы, сжатые нивы во вкусе Милэ, по которым на закате бродят бедные «собирательницы колосьев».

Легкая машина катится по мокрому асфальту, задние колеса заносят, они вертятся в воздухе, приходится уменьшить скорость, чтобы не свалиться на крутом вираже, не смять, как картонную коробочку, кузов. Ройсы и Паккарды, Вуазены и люкс-машины легко обгоняют нас,—разве может соперни-

чать с люкс-машиной коробочка ценой в шестнадцать тысяч франков в кредит на полтора года. Но и у нас есть удовлетворение, когда мы обгоняем тяжелых, запряженных гуськом, коней-першеронов. Рядом с конями шагает крестьянин в бархатной блузе и в кэпи с надвинутым на глаза козырьком. Ни он, ни лошади не обращают на нас никакого внимания. Два велосипедиста—полевые жандармы — едут нам навстречу, мельком поглядывают на нас и двигаются дальше, медленно и упруго сгибая колени. Как большая, хищная черная птица обгоняет нас мотоциклист-кюрэ, сельский священник, в шляпе с загнутыми полями и в подобранной сутане.

Василий Иванович стучит мне в стекло, показывает на мотоциклиста-священника, разводит руками и смеется.

— Поп на мотоцикле. Чудеса.

Действительно чудеса. В этих департаментах очень мало заводов, вообще Франция никогда не была промышленной страной, если исключить некоторые отрасли промышленности. Но здесь можно учиться другому — какой урок каждая полоска, каждый аршин обработанной земледельцем земли, — виноградники, не имеющие ограды, никем не охраняемые.

Справа и слева вдруг возникают закопченные фабричные трубы, дома и сады городского предместья, затем широкая улица, перпендикулярно перерезанная бульваром. Полицейский дирижирует движением, откуда-то выкатываются груженые винными бочками камионы-грузовики.

Орлеан.

Перелистываешь гид Мишлэн и как-то не сразу вспоминаешь об Орлеанской деве—Жанне д'Арк. Пробегаешь названия и цены отелей, адреса банков и тут же узнаешь, что кроме собора следует посетить дворец обольстительной Дианы де-Пуатье. Володя ищет по плану города собор, но поправляющие канализацию рабочие сразу об'ясняют, как и куда надо ехать, и мы выезжаем на площадь прямо к собору. Без споров устанавливаем, что собор в Шартре лучше, но для сравнения входим внутрь, отбиваясь от продавцов открыток. Здесь тишина, сыроватый сумрак и театральная торжественность, пышная декоративность богослужения, на которую такие мастера господа аббаты. У статуи мадонны мы рассматриваем золотые сердца — дары прихожан — и вделанные в стену мраморные дощечки с надписями «мерси», относящимися к мадонне. Затем обращаем внимание на большую мраморную доску, где золотыми буквами написаны имена католических священников, погибших на фронте в минувшую войну. Их довольно много, и это, конечно, свидетельствует о том, что нет церковного интернационала и что германские и французские попы одинаково беспокоили небо просьбами о даровании победы их пастве. Совсем близко от собора — памятник Жанне д'Арк. Во Франции очень любят открывать памятники, в Париже есть площади, уплотненные сразу тремя памятниками, и на одной и той же площади мирно стоят — средневековый воин, знаменитая актриса и маститый изобретатель хинина. Разнообразные Жанны д'Арк расставлены на многих площадях Франции — задумчивая и грустная Жанна в Орлеане, хорошенькая, похожая на легкомысленную мидинетку Жанна из Божанси и злая, вызоло-

ченная, облезлая баба — парижская Жанна д'Арк. Недаром именно эту, похожую на консьержку, бабу выбрали своей патронессой «камло дю руа» — парижские монархисты.

В Орлеане сохранились старинные улички, старые вековые дома. Вероятно, так же выглядели улицы старого Парижа, пока их не уничтожил энергичный мэр города Осман. Надо было снести кривые, узкие улички, в которых так легко строить баррикады и проложить прямые, широкие, удобные для артиллерийского обстрела авеню. Но в Орлеане старенькие, узкие дома с камнями, торчащими из брандмауэров, горбатые кровли и глиняные дымовые трубы сохранились и выглядят так, как сто, и двести, и триста лет назад. И мы можем себе представить, что именно в этих уличках Атос и д'Артаньян преследовали коварную милэди, и именно по этим улицам убегал от городской стражи поэт и бандит Франсуа Вийон. Еще несколько поворотов, и машина, слегка тормозя, скатывается на набережную Луары. Под тяжелыми, готическими арками каменного моста течет холодноватая, быстрая и широкая река. Трамвай пробегает по старому мосту, и мост выдерживает тяжесть двух вагонов, так же, как выдерживает тяжесть грузовиков, хотя строитель моста умер за несколько сот лет до приспособления электричества для передвижения и почти за столько же лет до камионов Рено.

Важные и вдумчивые рыболовы безнадежно удят рыбу с берега. Рыба здесь, вероятно, не клюет, но дело, конечно, не в этом. Разве мы не видели упрямых рыболовов позади Нотр-Дам на Сене, именно там, где паровой молот сколачивает стальные балки нового моста и где непрестанно мутят воду винты пароходиков, моторных лодок и буксиров. Милая условность, игра в рыбную ловлю на том месте, где когда-то полумифический дядя Жан или Анри поймал легендарного карпа. Машина капризничает, вода из радиатора уходит, протекает резиновая трубка, и пока мы сидим в угловом бистро, Володя лезет для начала под машину. Так как в этой стране уважают труд, то машину окружают добровольные помощники, завтракающие с нами рабочие газового завода, и каждый дает бесплатную консультацию. Из чувства солидарности какой-то шофер останавливает свою машину и спрашивает, не нужно ли чего.

В обращении французского рабочего с машиной чувствуется культура нескольких поколений заводского пролетариата. Едва ли не каждый французский рабочий — талантливый механик, разбирающийся в самых сложных машинах. Едва ли не каждый внимательно, чтобы не сказать нежно, относится к своему делу. Именно из этих рабочих выходят хорошие летчики, и авиомеханики, и замечательные парижские шоферы. Только недоступность высшего технического образования мешает такому рабочему сделаться инженером. Впрочем, некоторые высшие учебные заведения, например Политехническая школа в Париже, не всегда доступны и буржуа.

Культура нескольких поколений революционеров чувствуется во французском рабочем. Его естественный вечный радикализм, его «левость», ненависть к клерикалам и буржуа совершенно понятна для нас, если вспомнить, что он — плоть и кровь блузников, выворачивавших булыжники в Сен-Дени и

строивших из бочек и опрокинутых омнибусов баррикады. В рядах международного пролетариата всегда будут сотни тысяч французских пролетариев, деды и отцы которых так пламенно и мужественно подняли революцию...

Володя увозит нас из Орлеана. По ту сторону моста мы видим совершенно заросший ивой и камышом рукав Луары. Над самой водой уютные ресторанчики с пристанями, маленькие затейливые летние домики, как бы специально приспособленные для героев Мопассана.

Мопассан... Он сказал все, что можно было сказать о своем народе; он отвоевал чуть не все темы и типы у будущего поколения писателей Франции. Бедные обездоленные Мопассаном, Бальзаком, Флобером современные беллетристы — вам очень трудно теперь — мы это понимаем.

В парке Монсо, осенью, в золотом парке я видел памятник — томная молодая дама в очень широкой и длинной старомодной юбке, из-под которой видны мраморные кружева, рассеянно читает мраморную книгу. Над дамой — бюст красивого человека с пышными усами. Два толстеньких человека в котелках смотрят на памятник и игриво подмигивают друг другу: «Дом Телье». «Дом Телье» — повесть о публичном доме. Это все, что знают эти маленькие буржуа о Мопассане. Но мраморный красавец отомстил им и томной даме, своей читательнице. Он рассказал про них, он показал их сластолюбие, алчность и лицемерие городу и миру.

В двадцати километрах от Орлеана мы меняем национальную дорогу на коммунальную. Сначала мы не замечаем разницы. Та же гладкая, укатанная, отполированная шинами дорога. Предупредительно расставленные знаки — крест на перекрестке, зигзаг на повороте и схематично начерченные шпалы и рельсы перед железнодорожным полотном. Затем узкая колея трамвайного пути, соединяющего два городка. Мы оставили в стороне Луару и национальную дорогу, соединяющую Орлеан с Туром. Об этом говорят синие вывески со стрелками и названиями ближайших деревень, цифры, обозначающие, сколько километров до замка Шамбор. По обе стороны дороги не поля, не виноградники, а молодой лес, с тщательно расчищенными тропинками. Прямые аллеи и просеки замыкаются чугунной оградой, и за оградой видна трехэтажная усадьба, нечто среднее между замком и деревенским помещичьим домом. Жирные кролики, ленивые зайцы перебегают нам дорогу. Они не боятся людей. Может быть, они знают, что право на их заячью жизнь имеет только хозяин усадьбы. Теперь — август, сезон охоты — октябрь и ноябрь — у зайцев еще два месяца полного покоя. Полевые жандармы и лесники охраняют заячью жизнь от браконьеров. В октябре приедет барин и его гости. К этому времени в Париже в витринах спортивных магазинов выставят дорогие ружья, прорезиненные, абсолютно непромокаемые сапоги, шотландские вязаные жилеты и шведские куртки. Вооруженные и снаряженные до зубов охотники, по всем правилам великосветской охоты покончат с занумерованным и полуручным зайцем или кроликом.

Буржуа охотятся проще. У них нет собственного заповедника, но во всей округе есть три-четыре зайца, известные каждому охотнику, зайцы, которым дали человеческие имена — Жюль, Пьер, Жан. В пять часов в кафе,

за апперитивом Тартарен многозначительно расскажет: «Сегодня я видел Жана». Ему позавидуют, — он видел Жана, для этого стоило сделать двадцать километров по болоту и кустарникам. Конечно, подстрелить Жана он не решится — что будут тогда делать другие охоники? И Жан, Пьер и Жюль доживут до старости и умрут от ожирения, как те лани, которых можно видеть ранним утром в аллеях Булонского леса. Ничего дурного в этом нет, — почему Тартарену не тосковать по романтике, по последнему волку, убитому во Франции в пятидесятых годах прошлого столетия. Но я ощущал некоторую гордость, когда рассказывал, что у моих знакомых, прошлой зимой, в Голицыне, волки с'ели дворовую собаку.

Мы проехали мимо замка Шамбор. Не знаю, какие короли и принцы жили здесь, но замок похож на усадьбу польского магната, — есть такие усадьбы в Волыни и в Подолии. В Божанси мы опять увидели быструю и полноводную Луару и обрадовались реке, как старой знакомой. Мы долго блуждали по путаным уличкам Божанси, проезжая под аркадами средневековых домов. У городка был послепраздничный вид. Пестрые выцветшие бумажные гирлянды, флаги и арки из поблекшей зелени, и особая послепраздничная тишина. Вечером мы гуляли под столетними вязами набережной и в городском саду, где лампочки вчерашней иллюминации еще светились в густо-зеленой листве. Под ногами шуршал песок, смешанный с конфетти. Утром мы выехали из Божанси и поехали вдоль Луары по национальной дороге, к Блуа, Туру, Нанту, к океанскому порту Сэн-Назер, откуда океанские пароходы идут три недели до Рио и Буэнос-Айреса. Мы завтракали на террасе постоялого двора у города Амбуаз, мы видели все замки Луары, королевский замок в Блуа, где убили герцога Гиза, замок в Амбуаз, где повесили тысячу гугенотов и где прожил последние годы жизни Леонардо да-Винчи. В Туре нас вдруг ослепили розово-красные фонари вертящихся каруселей. Два ряда фургонов образовали новую улицу вдоль бульвара. Пестрые колеса лотерей с жужжанием вертелись вокруг оси. В узком, залитом электричеством проходе, между аттракционами, тирами, лотереями кипела толпа в синих блузках и деревянных, крашенных черным лаком башмаках. Кокетливые девушки проносились мимо на вызолоченных рогах быков, на чудовищных, оседланных свиньях карусели. Это был «фуар», передвижная ярмарка. В больших, похожих на железнодорожные вагоны, фургонах «фуар» передвигается по всей Франции. Тяжелые першероны или маленький пыхтящий фонрдзон двигает фургон по всем дорогам Франции. В окнах фургона видны белые занавески, цветы в горшках и электрическая лампа под розовым абажуром. Несколько тысяч человек обслуживает «фуар», живут и умирают на колесах. Как не имеющие оседлости, они самостоятельной группой участвуют в выборах в парламент.

Ночью, в Туре мы стояли перед удивительными, стройными как стволы пальмы, башнями собора. Мы долго кружились вокруг него. Гиганские ребра абсиса походили на обглоданный скелет кита. Дальше была совершенно средневековая уличка со статуями святых в нишах, бронзовыми и мраморными фонтанами. Рядом с домом епископа — казарма. У ворот казармы сто-

ял часовой в стальной каске, и прямо против казармы тускло светил красный фонарь публичного дома.

Мы изменили маршрут, простились с Луарой и повернули в Бретань. В городе Ренн, во время завтрака хозяин гостиницы спорил с парикмахером:

— Париж, о, этот Париж!.. Как можно устраивать беспорядки из-за казни двух итальянцев? Кажется, их здорово проучили... Вот что значит, когда в правительстве нет ни одного парижанина! — и хозяин поднял над головой, как знамя, клерикальную газету «La croix».

Парикмахер демонстративно вслух ситал «Humanité».

На следующий день мы были в Сен-Мало. У городских ворот стояло несколько сот машин. Туристы ходили по широкой крепостной стене. Улицы старого пиратского порта походили на кривые улички Галаты в Константинополе. Василий Иванович вспоминал «Фому Ягненка» из романа Фарера. Автомобильные рожки повизгивали за городской стеной. Неистовый джаз рвал и метал в стеклянной коробке казино. Зеленый океан медленно катил мимо фортов тяжелые валы, обрушиваясь на песчаную полосу пляжа. У меня зарябило в глазах от пестрых купальных костюмов и полосатых купальных будок. На пляже хохотали и визжали дети. Океан смывал их песочные крепости.

Мы перерезали мыс и через пятнадцать минут были в рыбачьей деревушке Канкаль. Вскрытые устрицы, красные, окаменевшие омары и лангусты соблазнительно расположились в корзинах на столиках кафе. Под окнами наших комнат была набережная и рейд.

В тихой, зеленой бухте, как клецки в супе, плавали лодки. Одни покачивались на якорях, другие, вытянувшись по ниточке, медленно возвращались на рейд.

Мы вышли на набережную и пошли в сторону от отелей и кафе. И вдруг мы услышали громовой, буквально сотрясающий воздух, хохот. Полотняный балаган бродячего театра, трепетал, как парус под ветром. Хохотало двести человек, задыхаясь, захлебываясь и взвизгивая. Хозяин балагана продал нам последние билеты, мы вошли и с трудом нашли место у входа. Бродячие актеры играли глуповатый, бесхитростный фарс. Здоровенные рыбаки, матросы и суровые старухи-бретонки в черном умирали со смеху. Когда же теща на глазах у публики стащила с зятя штаны — гром, землетрясение, извержение вулкана буквально поколебали балаган. Румяные солдаты, высохшие старухи в чепцах стонали, плакали, валились со скамей от безудержного хохота. Ничего подобного мы никогда не видели у городских зрителей. В антракте рыбаки, как-то щеголяя своими синими блузами, гуляли с девушками, и девушки, так же, как и старухи, были одеты во все черное.

Мы засиделись до трех часов ночи в своих комнатах. Володя играл с Василием Ивановичем в шестьдесят шесть, Василий Иванович проигрывал и стонал: «Кроет проклятый, как хочет кроет»... Я подошел к окну. Океан уходил, рыбачьи лодки жалко и беспомощно лежали на боку в грязи и тине. Зеленоватым, холодным огнем мерцал маяк, и мост, как дамба, уходил далеко в темноту, в болото, которое еще три часа назад было бухтой. Тусклые лужи

отражали зеленый огонь маяка. Лодки ложились на бок. Океан ушел на десять километров от берега. Он вернется только на рассвете.

Через две недели мы вернулись в Париж. У таможенной заставы старичок отобрал у нас ярлычок, который он дал нам две недели назад. Париж встретил нас густыми теплыми испарениями, запахом бензина и нагретого асфальта. Мы проехали под аркадами окружной дороги и остановились у знакомого дома.

Маленький Ситроэн был в крапинках распыленной грязи. Дорожная пыль, пыль тысячи пятисот километров запудрила рессоры и кузов.

Приехали.

Вечером мы говорили о нашем путешествии и немного поспорили о том, что самое интересное из виденного нами в пути.

Володя молчал и внимательно рассматривал в зеркале обветренный нос.

— А по-твоему что самое интересное? — спросили его.

— Поп на мотоцикле, — ответил он сразу и не задумываясь.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

В краю белых ночей.

Родион Акульшин.

Белая ночь.

В раннем детстве, только что научившись читать, я увидел у своей учительницы книгу, на которой было написано:

«Белые ночи. Роман».

Тогда я не подозревал, что роман — это особый вид литературного произведения. Я знал своего соседа Романа, высокого, широкоплечего мужика с черной окладистой бородой.

Белые ночи (не светлые, а белые) напомнили хрустящий коленкор, из которого недавно перед этим шили саван моей умершей бабушке. Для детской фантазии нет границ. Я представил небо, сплошь затянутое коленкором, спускающимся до самого горизонта. Я одел озера и реки туманом, луга и поля белой росою, я не допустил в свою картину ни одной деревенской избы, ни одной коровы, лошади и собаки. Все бело, и только один человек, громадный и черный, как сосед Роман, ходит от одного края неба до другого, поправляет складки савана, разравнивая волны тумана.

Мог ли я тогда мечтать о настоящих белых ночах, знал ли я тогда, что через двадцать пять лет жизнь покажет мне не коленкоровые складки небесного балдахина, а море кроткого, все пропитывающего света.

Солнце отлучилось на минутку, но кажется, что оно не ушло за лимонно-розовый горизонт, а вселилось в деревья, в кусты, в постройки и в бодрствующих людей. Нет ни одной тени, откуда и куда ни посмотри, но все излучает свет мягкий и успокаивающий. Тишина. Розово-сиреневый прозрачный перламутр на реке. Плывет лодка, скользит, как облако, бесшумно. В лодке стоит человек. Плывет лодка, и след за нею цвета луны. Золотая лента тянется, тянется за стружком, а перламутр справа и слева сгущается, лиловеет. Луна безропотная, бледная застряла в верхушках елей. Окна стройной белой церкви залиты малиновым огнем. Облака на востоке — осыпавшиеся лепестки шиповника.

Кто осмелится непристойным криком оскорбить гармонию красок и безмолвия? Люди идут в одиночку и парами. Люди сидят, как зачарованные, на берегу реки, на камнях.

О природе севера, о природе и людях я буду говорить в этой статье.

Безропотные пассажиры.

Северные реки, как и большинство наших рек, подвержены страшному обмелению, начиная с половины лета. А в этом году в Архангельской губернии с июня не было дождей, и обмеление наступило катастрофически рано. Вода ежедневно уходила на два вершка, и на вопросы пассажиров:

— До какого места пойдет пароход? —

команда ничего не могла ответить, кроме:

— Как вода позволит.

Но вот — палуба парохода «Зырянин».

Кроткой старушкой плетется баржа, держась канатом за корму парохода. Солнце печет не по-северному. Ветер обжигает лицо.

По небу бегут, собираясь в тучу, крутые облака. Все темнее и темнее там, далеко впереди. И, наконец, солнечный свет распределяется так в закоулках тучи и в прорывах между косматыми облаками, что внизу вспыхивают умопомрачительные контрасты красок.

Темносвинцовая, почти черная, тяжелая вода Двины. Яркожелтый песок отмели. И кажется, что песок сказочно ярок оттого, что на него направлен луч сильнейшего прожектора, у которого стенки прозрачно-янтарные.

И зелень лугов залита янтарем. И от этого смешения зеленого и желтого получается нежность весенней травы и развертывающихся березовых листочков.

Чайки серебряными искрами мелькают над бархатом воды. Тучные стада пятнами вкраплены в зеленый горизонт.

Коллекционер живописи сравнил бы эту симфонию красок с японскими шелковыми панно.

Да и вообще интеллигентная публика очень часто, вместо того чтобы, при взгляде на картину, вспомнить какой-нибудь живой уголок природы, даже в окружении невыразимых сочетаний тонов заката или восхода солнца, луны, моря и хаотических туч, любит щегольнуть заученным штампом:

— Ах, нестеровские тона...

— Ах, левитановский пейзаж... А взгляните на эти тучи — сплошь рериховские мазки...

И люди приэтом безмерно счастливы, что невыразимое сумели расставить по полкам, развесить на гвоздики. Ахая и восторгаясь, люди в данный момент любуются не тем, что видят перед собой, а тем, что видели когда-то на какой-нибудь выставке, в какой-нибудь галлерее или просто на дешевой открытке.

Пароход хлюпает колесами. Солнце горит на окнах встречных буксиров. Отмели и плоты пронизаны светом. Плоты — один, другой и третий. Их много стягивается к Архангельску на лесопильные заводы.

Высокая двойная радуга на сизом фоне тучи отразилась в реке и замкнулась в трехцветное кольцо — зеленое, желтое и красное. Ветряные мельницы по берегам, как застывшие на былинках стрекозы.

Пароход идет без остановки до устья Пинеги, а здесь вся верхняя палуба заполняется плотовщиками, по-местному паромщиками, закончившими свою работу и теперь едущими домой на праздники.

Бело-розовый алебастр высоких пинежских берегов украшен зелеными фестонами. Это — глубокие впадины, заросшие мачтовыми елями. Вот река делает полукруглый выгиб, и берега при этом кажутся чудесно расписанными краями громадного блюда, в котором налита бирюзовая влага. Справа, совсем близко от парохода, утка с выводком темнокоричневых утят плывет, не боясь пароходного стука. Утка вытянула шею, захлопала крыльями, а ноги ее в воде, и не то она летит, не то бежит, и утята смешно торопятся за нею, — дети послушно внимательны к материнскому уроку.

А слева снова плоты, уже без буксиров. Их меньше, и плывут они тише, и на каждом два человека.

— Миша, здорово! — кричат с парохода.

— Здорово, — отвечают с плотов.

— Давно ли из дому?

— Другу неделю.

— Счастливо!

— Поклон сказывайте нашим-то, — у Сойлы, мол, встретили.

На плотах костры: варят ужин. Полукруг луны, как лепесток яблони: чуть-чуть розоват.

На маленьком пароходе все чувствуют себя по-домашнему. За столиком трое рыжебородых (на севере таких много) тянут бесконечную заунывную песню. Перед ними бутылка и железные дорожные кружки, но кажется, что это лишь повод для песни, навевающей тоску. Поющие, обнявшись, покачиваются, и все смотрят на них с добродушно-снисходительной улыбкой.

На скамейке сидят два парня, оба высокие, румяные, голубоглазые. Один говорит другому:

— В деревне какая жизнь? Половину голодом находишься. А в городе мы с тобой будем курить папиросы... «Северную Пальмирку», конечно.

Сосед выслушивает недоверчиво мечты о папиросах.

Подходит третий:

— Ну, до чего прилична барышня сидит у лимонатора, красотейша...

— Лимонат пьет?

— У лимонатора, говорю.

— Верю, дива на пятак, а разговору на четвертак, — сомневаются сидящие.

— Не верите? Взгляните. Внизу, у лимонатора.

Со скамейки поднимаются, идут к лестнице, чтоб разыскать «красотейшу».

— А вы глазищи не пяльте, со сторонки подивуйтесь, — напутствует недоверчивых товарищ.

Пароход неожиданно останавливается. Грозит опасность наскочить на мель. Спускается лодка. Капитан со штурвальным долго плавают по всем направлениям, измеряя дно. Всюду — мелко. Пассажирам предлагают переби-

раться на крышу баржи. Северные пассажиры — крестьяне-паромщики — без всякого протеста покидают пароходную палубу и несколько часов едут, стоя на крыше, тесно прижавшись друг к другу. Крестьяне понимают, что их пересадили не в насмешку над ними и не желая им зла, а по необходимости.

И мне опять приходит на ум довольно распространенный тип людей, которые в таких случаях предпочтут стоять неделю на одном месте, нежели перенести двухчасовые неудобства.

— Я платил деньги за место на пароходе, а потому не желаю толкаться на крыше свинятника, — резон в таких случаях у нежелающих подчиниться обстоятельствам.

Пристаней нет. Плоскодонный пароход втыкается в берег. Узкий трап перекидывается с борта прямо на песок берега. Люди ждут парохода по несколько дней. Прибытие парохода — событие для деревни, и очень прискорбно, что иногда в течение двух летних месяцев (до тех пор, пока не начнутся осенние дожди) большой край бывает почти отрезан от мира. Почта, конечно, ходит и с прекращением пароходного движения, но архангельская газета приходит в деревни на третью неделю, а товары для кооперативов после продолжительной гужевой тряски сильно удорожаются.

Глушь, безлюдье. Строгие, задумчивые, бесконечные леса — сплошной стеной. Неисчерпаемые богатства. А путь к этим богатствам в половине лета почти пересыхает. С пересыхающего фарватера испаряется золото. Углубить фарватер — сущий пустяк с точки зрения американца. Но американские масштабы упираются в наше безденежье.

Пылающие миллионы.

Прясла—не изгородь, а широкие и высокие деревянные лестницы: два прочно врытых в землю столба и десять-двенадцать поперечных брусьев между ними. Такие сооружения необходимы в местностях с большим количеством влаги и осадков. На пряслах сушат сено и сжатый хлеб. В наших краях такие приспособления отсутствуют.

Один из приезжих в первый раз на север жаловался, что северная деревня не радует глаза.

— Всюду прясла, как виселицы. Избы черные, громоздкие, все на одно лицо. На улице ни кустика зелени, у каждого дома навалены бревна и горы щепок.

Избы северной деревни, правда, мрачны. От влажности воздуха, новые здания, желтые сосновые стены через год уже чернеют и кажутся старыми. Зелени по улицам нарочно не разводят. Если в степной местности приятно увидеть зеленые кустики в палисаднике, то на севере, где кругом леса, открытое место — радость для глаза. Бесконечные леса утомляют. Бревна (строевые и для топлива) тут почти у каждого дома. Северянину не страшны никакие морозы.

Коснувшись внешности северной деревни, укажу на некоторые подробности. Со всех сторон деревня обнесена изгородью. Под'езжая к селению,

приходится слезать с телеги и открывать ворота. На противоположном конце улицы снова ворота. Избы преимущественно двухэтажные, со светелкой. Как признак большой культурности — наличие при каждом доме уборной. Так что стихи Есенина:

А уборных в России нет...

не совсем верны. Внутреннее убранство северных изб и необыкновенная чистота комнат заставляет думать, что это не крестьянское жилье. Но, может быть, так кажется после средней полосы и Поволжья, где в тесных избах люди копошатся вместе с поросятами, телятами, ягнятами, дышат зловониями, и удивительно еще, как не задыхаются.

Сначала я не понимал, для чего возле избяной наружной двери ставят в некоторых случаях палку. Мне пояснили, что это «прӥстав». Когда все уходят из дому, то дверь не запирают на замок, а ставят «прӥстав», который должен показывать, что хозяев нет дома и войти в избу никому нельзя, кроме самых близких родственников.

Деревня «Великий двор». За околицей гари. Неподалеку, над лесом висит, как и вчера, дымовая туча. Лес зажгло грозою неделю тому назад. Пожар с каждым днем усиливается. Страшная сушь способствует распространению пламени.

Через три недели, когда я снова вернулся на это место, пожар еще не был затушен, хотя мобилизованные мужчины и женщины большими партиями отправлялись на борьбу с огненным морем. Мужчины недалеко от пожарища рубят лес, делают двухаршинные просеки, женщины сдирают мох. Пожар в районе реки Сотки — первый, который пришлось увидеть. Вся дальнейшая моя поездка была в окружении пожаров. Иногда трудно было ехать, дым закутывал леса, поляны, дороги на сотни верст. Архангельские газеты извещали о пожарах во многих районах. В нынешнее лето тысячи десятин леса взлетели на воздух, миллионы рублей развеялись дымом. Гроза — как причина пожара — редкость. Окурок, спичка, непогашенный костер — вот источники огненной стихии, хотя всюду, на каждой тропинке, на каждой дороге воззвания на деревянных досках:

> «Граждане!
>
> Лес — наше богатство. Источник благосостояния нашей Республики. Будем зорче охранять его. Ни одного окурка в лесу, ни одного не залитого костра. Сохраняя леса от пожаров, мы обогащаем свое государство. Чем богаче государство, тем меньше налогов с трудового населения. Оберегая леса от пожаров, мы тем самым сохраняем трудовые гроши в своих карманах».

Неприкосновенность собственных карманов, кажется, самый веский аргумент для всех народов и сословий на всем земном шаре и во все времена, начиная с появления человека на нашей планете.

Умом-то своим многие понимают значение искренних плакатов о бережливом отношении к лесу, но близко до сердца эти плакаты как-то не доходят. А многим, может быть, кажется, что северные леса нельзя спалить

никакими пожарами, а если и придет такое время, когда лесу не будет, то во всяком случае очень не скоро. При таком настроении, конечно, неизбежна забывчивость: оставлять в лесу костры без призора, бросать тлеющие спички на мхи сухие, как порох.

Гари за Великим двором — следы давнего пожарища. Грустная, меланхолическая картина. Как будто забытое кладбище, край света. Серо-зеленые мхи, обугленные пни. Сизые ягодки-голубели. Тропинка вьется меж глубоких ям. Это—мурги, воронки, как будто снарядами высверленные. Такие углубления на всем протяжении алебастрового слоя подпочвы. Алебастр размывается, земля оседает. Лесные мурги завалены ветровалом, сучьями. Здесь они зияют — обнаженные, мрачные.

Надо мною кружатся кровожадные овода.

Но все же в этом году оводов, комаров и мошек очень мало. Помахивания веточкой достаточно, чтоб предупредить себя от укусов. Крестьяне сами удивляются, почему в этом году нет кусающих тварей. Обычно днем лесом ехать нельзя: лошадь загрызают овода, людей—комары. В этом году все мои переезды происходили днем. И хотя у меня был накомарник, но его в течение месяца не пришлось надеть ни разу. Об'ясняли благодать нынешнего лета тем, что весной была сильная гроза и всех оводов оглушило громом.

Возвращаясь с прогулки, я спросил своего спутника, как лучше путешествовать — в одиночку или компанией? С этого вопроса разговор перешел вообще на тему об исследователях и об их отношении к народу. Попутно с исследователями коснулись всех праздношатающихся горожан — интеллигентов с опустошенными душами. Обанкротившись духовно, общением с первозданной природой хотят они реставрировать разрушенную гармонию мироощущения. Они идут к простому народу. Но вот какую ошибку допускают при этом: с опустошенной душой итти к народу нельзя. Высасывание из себя народ замечает очень скоро, и гордость народа не мирится с этим. И, если недопустимы отдельные опустошенные единицы, тем более нельзя являться в деревню опустошенным людям большим скопом.

* * *

Вечером этого дня я записал в своем дневнике:

«Самоед любит север, южанин — Черное море. А для меня дорога вся Россия в целом.

Долины, горы, поля, перелески, реки, озера, прибой океана, восход и закат солнца, мерцание созвездий, ленты северного сияния, целомудрие белых ночей, пение жаворонка, цветок незабудки, плеск рыбы, шум ветра, улыбка далекого костра, гуденье пчел над цветами — все это для человека, а, значит, и для меня. Для человека весь земной шар, все его величие, все красоты его и богатства.

Путешествуя по различным дорогам, человек проникается любовью к природе и людям, проникается мудростью, пониманием своих собратьев.

Когда люди (каждый из людей) будут иметь возможность занять зрение и слух природой, тогда меньше будет злобы на свете».

Радиомысли.

Добрая, шустрая старушка (сын у нее убит в гражданскую войну белыми) довезла до берега. Через реку перетолкнул на стружке молодой парень. И вот я один. Солнце, река и широкая отмель. Песок раскален. Вода теплая, прозрачная. Как хорошо иногда почувствовать счастье от здоровья: я могу ходить, бегать, подниматься на горы, глядеть на вольный свет, говорить, слушать, петь. Люди часто считают себя одинокими, несчастными, но несчастье — понятие относительное. В минуты, когда у человека такое настроение, нужно вспомнить обо многих тысячах уродов и калек, населяющих земной шар. Они подлинно несчастны, потому что не могут всесторонне пользоваться благами жизни. А мнимые несчастья — это, чаще всего, результат истрепанности нервов.

Вспоминается день. Юг. Черное море. Я один, без всяких признаков какого-либо одеяния.

Какое это благо — бродить в первобытном виде по безлюдным скалам! Птицы, полынь, соленый ветер, шум волн и солнце.

Плоские горы. Тяжелыми глыбами разлеглись они на пустынном берегу и склоны их напоминают толстую морщинистую кожу каких-то допотопных чудовищ. Камень и песок, песок и камень. Широкая дуга синезеленого залива.

И нет людей. И совсем не нужно стеснять свое тело нарядом. Наряд этих скал — душистый чебрец. Какой наряд нужен открытому телу, кроме пуха волос, мелких, как ворсинки персика? На меня никто не смотрит, и я позабыл о всех. Тело открыто для воздуха и солнца. Птицы не осудят. Полынь обвеет ароматом пустыни.

На севере — воспоминание о юге. На севере песок отмели чище и горячее морского пляжа. Разбросан багаж, разбросано белье. Солнце радугой светится в брызгах. Купаюсь, стираю запыленное в дороге. А людей все нет и не видно нигде.

На угоре, вдали, разметалась деревня. Котомку на плечи. Прощайте, просторы, прозрачные струи реки.

От Марьиной горы до Пиремени двадцать шесть верст. Один крестьянин как раз собирается туда по делам. Едем лесами, берегом Пинеги, поднимаемся на высокие горы, дорога вьется зигзагами.

В Крыму очень красива дорога от Коктебеля до Судака. Здесь красота первобытнее. Здесь как-то смешно подумать об автомобиле. Северные леса, северные дороги не для моторов, по крайней мере дороги в их теперешнем виде. В Архангельске я тоже не видел ни одного авто, и, вероятно, архангельский председатель губисполкома ездит по делам службы на трамвае.

Под'емы и спуски, а справа и слева — пихты, лиственницы, ели и сосны. Воздух насыщен ароматом хвои. Вот дорога, делая крутой поворот, спускается как бы в ущелье. Только стены этого ущелья не из гранита... Лапчатые ветви пихт снизу до небес. И как только мы достигаем самых затененных, самых тихих глубин, я начинаю ощущать запахи фруктового сада, когда

перед осенью там и сям под яблонями корзины с красивыми плодами. Я говорю об этом своему вознице — Александру Куприяновичу, и он об'ясняет мне, что яблоками пахнет особый кустарник, растущий в бору.

Вот и знаменитая Архиерейская гора. Когда-то в осеннюю распутицу здесь проезжала архиерейская карета, запряженная четверкой лошадей. Лошади были не подкованы, грязь стояла непролазная, карета застряла на половине горы, сопровождавшая архиерея свита и кучера, для облегчения тяжести сошли с козел и запяток, а карета все не трогалась с места. Один из кучеров шепнул другому, что, может быть, не мешало бы их преосвященству потревожиться, на что другой шикнул, что никак невозможно, чтоб люди святой жизни свои козловые сапожки грязью пачкали. Бились больше часу. Важный седок о том не знал, потому что почивал непробудно, а когда вздрогнул от неожиданного сотрясения кареты, пальцем в дверцу постучал, чтоб доложили ему, кое место проехать изволили. Узнав же в чем дело, молитвы вознес усердные, но не услышаны были зовы архипастыря, и приказал он кучерам своим вспять тронуться, чтоб в том селеньи, откуда выехал, купно с причтом и прихожанами отслужить молебен просительный о ниспослании милости, т. е. о безболезненном на высокую гору добрых коней вхождении. Колокольным звоном возвещено было архиерейское возвращение, повалили на церковную площадь старые и малые. А тем временем кучера двух лошадей более сильными заменили, а двух прежних подковали, и полетела четверка и без малейшего промедления на вершину горы карету вознесла.

— Вот что значит молитва, — вздохнул архиерей.

— Вот что значит — сила и техника, — промолвили кучера.

Мой возница крайне любознателен, но его любознательности мешает неведение, что из себя представляет его седок, по каким делам едет, на какой должности служит, а самое главное: партийный или беспартийный.

Все крестьяне крайне осторожны в начале своего знакомства с новым человеком.

Александр Куприянович догадывается, что я беспартийный, а на его вопрос, чем я занимаюсь, я затрудняюсь ответить. Прежде я учительствовал, но вот уже три года, как учительство оставлено, и я человек — свободной профессии. Но сказать так о себе, значит возбудить новое подозрение, и я отвечаю, что я учитель, что приезжал посмотреть, как живут люди на севере.

— Я слышал, что на севере крестьянам жить во много раз легче, чем нашим поволжским мужикам.

— Сначала вы слышали, а теперь сами посмотрели. Ну, и как же по-вашему? — стремительно спрашивает меня северянин.

— По-моему очень много общего в крестьянской жизни, где бы крестьянин ни жил — на севере или на юге. Чтобы ответить на вопрос, кому лучше, нужно знать, чем питаются те и другие, во что одеваются, сколько дней в году работают. Питание северянина не лучше нашего, одежда тоже. Лучше, правда, жилье, но это, конечно, благодаря природе. Работает северянин, как видно и слышно из бесед с вашими крестьянами, больше наших. У нас горячка в работе летом, у вас — круглый год кропотливая работа.

— Так что по-вашему северянину хуже? — делает вывод из моего сравнения возница.

— Не скажу, хуже или лучше. Вижу только, что северяне не должны завидовать нашим. Трудно и тем, и другим. И тем, и другим общими усилиями нужно выходить из затруднений.

— Общими усилиями? — вопросительно растягивает слова собеседник. — Это конечно, только больно трудно завлечь нашего крестьянина в коллектив. Очень трудно. Я об этом думал, а потом так решил: если соседи не хотят, буду один чего-нибудь добиваться.

Упомяну кстати о внутреннем убранстве избы моего возницы. Географические карты по стенам, карты военных действий, печка, выложенная изразцами, рядом с печкой — плита. В одной из комнат ножная швейная машина и паровой утюг. На стене хорошие большие часы. Чистота везде поразительная.

Почти интеллигентный язык Александра Куприяновича, карты военных действий, изразцы и паровой утюг — все это наводит меня на мысль, что, вероятно, человек этот в империалистическую войну был послан из России в числе прочих на французский фронт. Но, к моему удивлению, он не только не был за границей, а никогда не служил ни в одной армии и даже не держал в руках винтовки.

— С детства меня тянуло к ученью, но учиться в прежнее время нашему брату было очень трудно. Тогда я стал покупать книжки, когда бывал в Архангельске, и на дом стал выписывать журналы и газеты. Мне хотелось узнать какое-нибудь ремесло, а соседи смеялись надо мною, что ремесло по книжкам не изучается. Я говорил: «Не может этого быть, для чего же тогда книжки печатаются?». Теперь-то я знаю, что по книгам любое дело можно постигнуть.

— Какое ремесло вы постигли?

— Кузнецом сделался. А жену на курсы кройки и шитья определил, двадцать пять рублей заплатил. Теперь она шьет, я в кузнице стучу и крестьянством занимаемся, хлеб сеем, только хлебопашество у нас самая последняя статья, на маленьком клочке не рассеешься.

— А вот у вас в доме карты географические? Вы, наверно, побывали во многих местах?

— Дальше Архангельска нигде не был, а к другим странам с детства интерес. Ездить средств нет, ну, хоть по карте знаю, каких размеров каждое государство, какие реки и города на белом свете. Книги тоже и про природу и про политику читаю, но вот один вопрос меня очень интересует, а в книгах об этом я не встречал ничего. Может быть, и есть такие книги, только до нас они не доходят.

— На какой вопрос хотели бы вы получить ответ?

— А вот, например, я уехал из дому на неделю, и вдруг затосковало сердце и места нигде не могу найти, а когда обратно приезжаю, вижу, что жена моя больна. Кто же сердцу моему весть передал?

Или вот еще. Мой товарищ, когда был на фронте, увидел сон: входит будто к нему в окопы отец и говорит: «Прощай, Ваня». А через несколько дней приходит письмо, и в письме сообщают, что в ночь с третьего на четвертое августа отец умер. Заметьте, что в ту же самую ночь во сне отец сказал своему сыну: «Ваня, прощай». Как все это об'яснить, я не знаю. Темный народ богом об'ясняет, а много таких историй происходит, где чорта считают виновником, но только на мой взгляд тут не при чем ни бог, ни чорт.

Вдоль дороги тянется на столбах единственная проволочка. Порою ее заслоняют мохнатые ветви пихт. В этой сиротливой ниточке все: и телефон, и телеграф. Проволочкой связан губернский центр с отдаленными почтово-телеграфными пунктами. Спрашиваю:

— Про радиотелефон слыхали?

— Слыхал, как же. Через сотни верст волна несет по воздуху человеческие слова. Где есть приемник, там эти слова и услышать можно, песни передают и всякие речи из центра.

— Ну, вот, а теперь ученые думают, что человеческий мозг — это то же, что радиотелефонная станция и передающая, и принимающая. Отец вашего товарища, умирая в деревне Архангельской губернии, тосковал о том, что не видит перед смертью своего сына. Только о нем были все его помыслы, и слова его последние были: «Ваня, Ваня».

И эти слова и эта тоска полетели за многие сотни верст, как волна радиопередающей станции. И хотя сын спал, его мозг работал, и мозг принял телеграмму, а телеграмма запечатлелась якобы пророческим сном: «Ваня, прощай».

— Радиомысли, значит?

Мне нужно было ответить что-нибудь на вопрос любознательного человека, но сейчас, признаваясь в этом, я чувствую неловкость перед учеными, что сунулся об'яснять такие вещи, в которых сам очень мало разбираюсь. Но думаю, что все же я не совершил преступления: ведь сущность моих об'яснений сводилась к науке, а не к суеверию.

Александр Куприянович согласился, что это вполне возможно, и что лечение заговорами, вероятно, тоже не что иное, как сила радио или гипноза.

— Я даже думаю теперь, — сказал он, — что коров и лошадей тоже можно загипнотизировать. У нас тут есть один знахарь. Как пропадет корова, к нему идут. Он долго о чем-то шепчет, руками разводит, ну, и, правда, корова находится. Люди думают — колдун, а по-моему этот старик внушает ей, что она нагулялась в лесу, пора и о своем дворе вспомнить.

Мой возница высокого роста (низкорослые на севере — большая редкость) с подстриженными волосами и бритой бородой. Что еще сказать о его внешности? Она располагает к себе. На севере я не встречал отталкивающих физиономий. За несколько часов езды с собеседником роднишься, и бывает жаль с ним расставаться.

Вот поляна, обнесенная изгородью. Высокая рожь колеблется от легкого ветра.

Значит; близко деревня

Околица. Нужно открыть ворота. Несколько домиков и околица с другого конца. На бревне сидят ребятишки. Русоголовый мальчик открывает ворота настежь, мы проезжаем. Мальчик улыбается. Нужно подарить ему что-нибудь.

— Подойди сюда!

Какой светлый, какой румяный, какой голубоглазый.

В его красоте воплотился Север: светлые ночи, непотухающая гармония красок, прозрачная синева небес. Я дал ему три леденца. Александр Куприянович говорит:

— Скажи спасибо.

А мальчик молчит. Только улыбается и протягивает руку. Жму эту рученку, впиваюсь в эти глаза. А потом голубоглазый бежит к товарищам и торопливо сообщает о чем-то.

Кругом непроходимые леса. Вдруг поле. Среди поля деревушка. В деревушке — незабываемая радость: этот ребенок и другие, его товарищи.

Мы под'езжаем к парому, я расстаюсь со своим возницей. Переправа через Пинегу. Ужин в Пиремени — черный хлеб и молоко, — и снова дорога.

Неужели можно забыть эту тишину и умиротворенность, эти леса и лужайки, брызжущие солнцем, без устали ласкающим?

Ни звука в селе. Ни звука в лугах и лесу. Только низкое кроткое солнце, такое нежное и грустное в то же время. Едешь час, два. Ели, сосны, рожь, ячмень, снова леса и пряный аромат осеннего фруктового сада.

А теперь еще эта русая курчавая голова ребенка.

Край, где явь, как сон.

Вы не видите снов красивых? Ваша жизнь, может быть, грустью одной заполнена? Уделите один только месяц жизни своей поездке в леса бесконечные, и материал для воспоминаний обеспечен до конца ваших дней.

„Толще псалтыря“.

Северная поветь. На повети солома и сено. Под поветью домашний скот. Я лежу прямо на сене, без всякой подстилки, потому что постельного белья со мною нет, а хозяева не догадались предложить какую-нибудь кошменку. Но отсутствие подстилки меня не огорчает: сено мягкое, душистое, напоминает детство. Дремлю. Но вот раздается кашель. Кто-то кашляет долго, с болью, с хрипом — старческий кашель, неотвязный. Но почему кашель внизу, там, где люди не живут? Заглядываю в квадратное отверстие, через которое бросают животным сено, и вижу: кашляет овца. Я ей сочувствую. У нее в горле соматохи, надо утром сказать хозяевам, чтоб чистым дегтем полечили. Прислушиваюсь. Осеньчуки (молодые овцы, рожденные осенью) сопят беззаботно. Баран вздыхает, как внезапно проснувшийся на печке старик, свешивающий ноги через задоргу. Коровы жуют жвачку. Коров три — все белые с черным, холмогорки.

Но вот слышно шлепанье, и запах проникает сквозь щели на поветь. Крестьянскому носу этот запах не противен. В Германии, я слышал, перед

окнами санаторий для туберкулезных больных разбрасывают навоз. Мо› быть, и крестьяне потому меньше подвержены легочным заболеваниям, ' всю жизнь возятся в навозе.

А утром снова дорога. Нужно сделать перегон в сорок шесть вер нужно перевалить через двенадцать высоких холмов. Крутые спуски, кру под'емы. А вознице семьдесят восемь лет, а лошадь молодая, буйная.

Шустрые темные глаза и седая длинная борода, снизу слегка завив щаяся, с самого начала наводят на догадку, что старик словоохотлив. И, д ствительно, за семь часов езды о чем только мы ни переговорили! Прея всего старик рассказал о своих четырех сыновьях. Он в них души не ча каждого поставил на ноги; отделяя, каждому построил дом, дал корову лошадь.

— Чтоб не обижались: родить родил, а в дело не произвел. Младш при доме остался. Видал на карточке, какой красивый?

— Видал.

— И женка красивая. А отец с матерью красивы, в кого же дети у дятся некрасивыми? Нюрка вон какая полная да румяная, а сколь умна, ласкова.

У старика вся радость — дети и внучата. Он их взлелеял, как любящ садовник каждое деревцо, каждую веточку в своем саду. В его питомнике н дичков, а лишь одни добротные сорта.

Корабельный лес шумит вершинами. Белки прыгают, не боясь тележно стука, такого редкого на этих дорогах. Почта два раза в неделю, да коо ративные подводы несколько раз в месяц, а путешественники? Их, конечн очень мало в этих лесах.

Всякие экспедиции торопятся закончить свои исследования до той пор пока не перестают ходить пароходы. Вряд ли согласится какой-нибудь пр фессор трястись по многоверстным необ'езженным гатям.

Прыгают белки. Кричат журавли на болотах.

— Старые обучают молодых. Лететь тысячи верст, — поясняет стари

В просветы леса виднеется Пинега, дорога все время идет вдоль рек

— А вон на том берегу виднеются деревни, значит и там есть дорога

— Нет, дорога только с одной стороны, а если из тех деревень еха куда-нибудь понадобится, то на эту сторону переправляются. Скажем, с деревни до деревни пять верст, а тропинки нет. Приходится сначала чере реку перебираться, пять верст по этому берегу итти, а потом снова чере реку и уж в ту деревню, куда дело есть. У нас насчет дорог плохо. У звере свои тропинки в лесу, а мы с дорогами много маемся. Теперь вот новую пр рубили, в той стороне, короче, и под'емов высоких нет, только мосто еще не устроили. Зимой там ездим, года через два и летняя дорога туд перейдет.

Дым лесного пожара заволакивает лес. Пожары — несчастье этого лет Страшная сушь продолжается вот уже месяц. Яровые посохли, озимые бе налива. Есть опасность, что пламя проникнет в ущелья, тогда пожар могу загасить только осенние дожди.

— Теперь ты мне рассказывай, по каким делам в наши края приезжал, на какой должности служишь? — улыбается старик, — а то все я тебе, а ты мне ничего.

— Я нигде не служу.

— Торгуешь, значит?

— И не торгую.

— На наследство, может быть, живешь?

— И наследства ни от кого не получил и получить не собираюсь.

— Хозяйствуешь?

— И не хозяйствую.

Старик испуганно оглядывается на меня и долго молчит. Про себя в это время он, вероятно, соображает, что я не иначе, как жулик, потому что как же можно жить, не служа, не торгуя, не хозяйствуя и не получая наследства? Он не подозревает о существовании людей свободной профессии, живущих как птицы небесные. Есть зернышки — поклюют, нет ничего — натощак спать укладываются.

— Не беспокойтесь, дедушка, в карман чужой не залезаю.

— Может быть, подарки получаешь? А то вот видишь — ездить приходится. На это ведь тоже деньги нужны. Деньги-то есть у тебя?

— Есть.

— То-то, а я думал, тебя бесплатно возят.

— Со всеми расплачиваюсь.

— Я это к тому, что в Пили-горах купить кой-чего хотел, а денег не захватил.

— Вот расплачусь и купите, что надо.

— По обличью видно, что ты хороший человек, не обманешь. Откуда деньги-то берешь?

— Книги пишу.

— Кни-ги? Дак разве их пишут, а не на фабрике делают?

— Делают на фабрике, но, прежде чем книжку напечатать, ее написать нужно. Напишешь — покажешь. Хорошая, так возьмут, деньги заплатят и на фабрике напечатают.

— Вон что... А я думал, книжки делают.

Старик никак не предполагал участия автора в создании книги. Ему казалось, что берут материал — бумагу и краску, кладут в машину, повертывают ручку, из машины вылетают книги.

Хорошая машина — и чтение (содержание) хорошее, плохая машина — и буквы неясные, а то еще какие-нибудь непонятные, татарские или американские.

— А ведь это сколько хочешь можно написать. Сел, и пиши, и пиши.

— Нет, дедушка, это дело нелегкое. При письме думать надо. Старины слыхал, небось? Тоже ведь люди их придумали. Если б все-то их могли придумывать, так сколько б их было теперь? А то от старинных-то людей мало их до нашего времени сохранилось. В прежнее время люди писать не умели,

друг от друга заучивались. А теперь люди сами придумают и запишут, а потом на фабрику отнесут, там напечатают.

— Так, значит, ты придумщик?

— Во-во.

— А я все-таки думаю, что придумщикам жить легче нашего. Горб-то свой придумщику зачем натруживать? И топором тяпать не приходится. Перо в чернильницу обмакнул и води, а придумать чего хочешь можно. Я неграмотный, так ничего не придумаю, а грамотному в голову всякая небылица лезет свободно.

— Небылица-то, может быть, полезет, да только принесешь эту небылицу на фабрику, а там скажут: «Не можем взять, товар плохой».

— Дак разве этот товар-то смотрят?

— Еще как смотрят-то. Бывает и так, что половина книги хорошо написана, половина плохо, переделывать заставляют. А то и сам придумщик недоволен книгой бывает. Когда пишет, кажется, что хорошо выходит, а как всю книгу закончит, то и видит, что книга-то плохая получилась. Переделывать начинает. Да так по нескольку лет над одной книгой сидит. Может, слыхал про писателя Льва Толстого?

— А писатель что делает?

— А вот эти самые придумщики писателями называются. Был писатель — Лев Толстой, так он над книгой одной десять лет сидел, все переделывал.

— О-о? Наверно с псалтырь книга-то?

— Толще.

— Неужто толще псалтыря? Сколько ж он за книгу такую денег огреб?

— А платят за книги по-разному, смотря по тому, какой толщины книга. Бывает, сто рублей дадут, бывает и тысячу.

— Тысячу? — подскочил старик, — дак ведь это по нашим местам четыре дома.

А если б я сказал старику, что некоторые книги (в двадцать печатных листов и больше, как: «Цемент», «Барсуки», «Колокола», «Города и годы», «Разин Степан», «Мощи» и др.) переиздаются по нескольку раз, если б я высчитал, во что они обходятся издательствам, старик, наверное, кувырнулся б с телеги.

Деревенский ум не может, что б вы ни говорили, понять расценки, установленные жизнью, на труд физический и труд умственный.

Крестьянин полгода возится с плотами, ворочает тяжелые бревна, отдает себя на с'едение комарам, и за все-про-все получает восемьдесят рублей, тогда как певица или балерина за одно выступление в Колонном зале Дома союзов, выступление пятиминутное, получает круглую сотню. Я потрудился сделать вычисление, во сколько раз труд людей искусства расценивается выше крестьянского труда, в приведенном примере: 80 р. за полгода и 100 р. за пять минут. Диаметр пропасти определяется цифрой 650

Вот это ножницы!

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

В защиту „рационалистического" изображения человека.

В. Фриче.

I.

Перед нашей художественной литературой единодушным мнением руководящей критики поставлена, как одна из основных проблем, проблема о «живом человеке».

Писателям предлагается отрешиться от узкого «рационалистического» подхода к изображению человека и перейти к более широкому и глубокому «органическому» методу трактовки человеческого характера. «Органический» метод изображения человека в поэзии разнится от «рационалистического» тем, что он считается с наличием в психике человека не только «сознания», но и «бессознания»... Призыв к переходу от «рационалистической» к «органической» трактовке человека мотивируется прежде всего тем, что

> «помимо сознательных чувств и мыслей у человеческого индивида имеется о г р о м н а я п о д с о з н а т е л ь н а я сфера»,

что

> «сознание сплошь и рядом является о р у д и е м подсознательного, в в ы с ш е й с т е п е н и а к т и в н о г о начала»

и что

> «д а л е к о н е в с е г д а с о з н а н и е умеет подчинять себе внесознательное».

Можно подумать, читая эти строки, что они принадлежат какому-нибудь убежденному стороннику теории З. Фрейда, однако их автор спешит отмежеваться от этого модного учения:

> «утверждая наличие подсознательного, мы отнюдь не считаем правильным фрейдизм».

Однако различие здесь собственно только в трактовке самого содержания, а не роли подсознательного в психике и в поведении человека — у фрейдистов этим содержанием является преимущественно или даже исключительно начало сексуальное, тогда как, по мнению автора цитируемой статьи,

оно отнюдь не исчерпывается сексуальностью и не в ней главное его содержание. Но сходство, и притом явное сходство, между обеими точками зрения в том, что подсознательному или внесознательному моменту в психике и в поведении человека приписывается исключительно большое значение, как видно — в данном случае — из цитированных суждений, из тех слов, которые нами подчеркнуты.

Призыв, обращенный к писателям, перейти от «рационалистической» к «органической» точке зрения на психику человека и от «рационалистического» ее изображения к «органическому» мотивируется далее тем, что

> «в России в художестве смертельные удары рационализму были нанесены Толстым и Достоевским».

Примеру этих «классиков» рекомендуется следовать и современным и, в частности, конечно, пролетарским писателям.

> «Чем современные писатели скорее усвоят художественные открытия наших классиков в этой области, тем скорее они выберутся на настоящую дорогу» [1]).

II.

Упрекать наших писателей в том, что они при изображении человека игнорируют наличие в его психике подсознательного или внесознательного начала, едва ли, однако, справедливо. Как писатели, сосредоточивающие внимание свое на изображении человека не из рабочего класса, а из других социальных слоев, например из крестьянства, так и писатели, дающие в своих произведениях образы пролетариев, в последнее время вольно или невольно, но охотно оперируют с этим подсознательным моментом. Достаточно указать среди писателей первого типа на автора книги «Тайное тайных», выстраивающего свое изображение человека преимущественно именно на основе подсознательных иррациональных элементов и моментов психики своих героев. И то же самое надо сказать и о писателях-коммунистах, о представителях пролетарской литературы, воспроизводящих в своих произведениях образы рабочих и партийцев.

Проблема «подсознательного», подчиняющего себе «сознание», вскользь поставлена, напр., в романе С. Семенова «Наталья Тарпова».

«Секретарь фабкома крупной фабрики, очень деятельный партийный работник», Наталья «выработала из себя женщину, освободившуюся от мещанских взглядов» на любовь и строила свои к мужчине отношения на новых началах, легко сходясь и так же легко расходясь с своими избранниками. Однако одно для нее было ясно: сойтись с классовым врагом или даже хотя бы только с классово-чуждым мужчиной она никогда бы не смогла... это противоречило бы ее классовому сознанию, ее классовому долгу. Подобное убеждение оказалось на проверку чисто теоретическим, отвлеченным. Стоило только

---

[1]) А. Воронский, Мистер Бритлинг пьет чашу до дна, статьи о Фадееве и о «Красной нови».

появиться на горизонте ее жизни инженеру, человеку явно чужому, и она потянулась к нему «всем, что было в ней женского».

> «В Тарповой вспыхнуло влечение, ей еще не известное, наполнившее ее и радостью и страхом, ибо человек этот был чужой, из другого ряда, чем Тарпова. Мало того, что он был беспартийный (Тарпова не шутила, когда обмолвилась перед видным партийцем, что не может жить с беспартийным), он, кроме того, был — чудилось Тарповой — враждебен всему тому, что составляло жизнь Тарповой после Октября. Но оттого, что в нем чуялся враг, неодолимое влечение к нему не уменьшалось».

Инженер в самом деле в этой первой пока опубликованной части романа человек безусловно чужой, чтобы не сказать: враждебный, пролетариату, и, несмотря на свое, выше подчеркнутое, убеждение Наталья неудержимо влечется к нему.

«Подсознательное», «биологическое» ворвалось в ее классовое сознание и властно продиктовало ей ее поведение.

В несколько ином варианте та же проблема, если не поставлена, то, во всяком случае, освещена в повести Чумандрина «Родня».

Федор и Надежда, познакомившиеся еще на фронте гражданской войны, потом вместе работавшие над восстановлением завода, жили «уж который год» как муж и жена, и жили притом, как им казалось, «неплохо». Не было не только между ними «крупных ссор», «не случалось даже и мелких». Но вот из деревни приезжают к ним родственники мужа, люди некультурные, жадные, политически невежественные. И добрые отношения между супругами вдруг начинают портиться, дело доходит до полного разрыва, тягостного как для него, так и для нее. Виноват кругом Федор. Прекрасно понимая, что приехавшие к ним родственники люди им в самом деле чуждые, он, однако, всячески их выгораживает перед женой и ради них идет даже на незаконное дело (протекционизм), так как в нем еще сильно держится в сфере подсознательного родственное чувство, чувство долга по отношению к родне. Возникавшие на этой почве размолвки между супругами принимали с течением времени все более резкий и бурный характер. И опять по вине Федора.

> «Он до-смерти любил жену, но эта любовь была чудной — все было как у людей, но стоило только Наде сказать что поперек — Федор вспыхивал, и зажигалась внутри его огромная необ'яснимая злоба к жене, и она длилась днями, иногда неделями».

После чего

> «он чувствовал себя словно виноватым перед Надей и старался задобрить ее на каждом шагу».

В таком отношении к жене, завершившемся в конце концов грубым насилием над ней, виноватой была отчасти неуравновешенная, легко возбуждавшаяся и свое возбуждение резко выражавшая натура Федора, а, с дру-

гой стороны и главным образом, жившее в его подсознательном авторитарно-патриархальное чувство превосходства мужа-отца, вынесенное из той самой деревни, откуда приехала к ним и его родня. Подсознательно лелеянное родственное чувство (при отрицательной по существу установке на самих родственников) и столь же, если не более, подсознательное авторитарное отношение к жене, властно подчинив себе психику рабочего и партийца Федора, предопределили собой его поведение со всеми для обоих, столь долгие годы дружно вместе живших, тягостными и печальными последствиями.

III.

Еще более определенно и решительно поставлена проблема власти подсознательного в интересном романе Бахметьева «Преступление Мартына» (занимающем в недавно вышедшем альманахе ЗИФа центральное место).

Оставляя в стороне большинство выведенных автором персонажей романа, действие которого происходит в годы гражданской войны, остановимся лишь на фигуре «героя», на которой автор и демонстрирует пресловутую власть «подсознательного».

Мартын Баймаков — молодой человек, хороший марксист, прекрасный коммунист. И все же в нем есть какой-то из'ян.

> «Выполняя точно все задания, ему поручаемые, выказывая себя при этом жадным и ревнивым, Мартын был как бы только наполовину в з д е ш н е м м и р е. Он выступал агитатором на митингах, заседал членом в президиуме губпрофсовета, писал ночью пламенные передовицы в газету, терпеливо составлял разверстки на зерно и сам во главе рабочего отряда проникал в отдаленные местечки губернии... Но ч т о - т о, выходящее з а п р е д е л ы о б ы д е н н о г о с о з н а н и я, все время н е в е д о м о й м у з ы к о й звучало в сердце Мартына».

То, что приводило помимо его сознания и воли в движение его психику, то, что неведомыми путами обусловливало его поведение, было гипертрофированное чувство собственного «я», некий подсознательный эгоцентризм. Автор показывает действие этого внесознательного двигателя на величайшем множестве примеров — уже с юных лет Мартын убежден, что рожден для небывалых подвигов; когда он выступает на митингах, он больше всего слушает «свой рокочущий голос», чувствует, глядя на зал «сверху вниз», именно себя в «центре всего»; когда он думал о смерти, то рисовал себе картину, как люди, наконец, поймут, какая «необычайная жизнь сгорела, именно сгорела на их глазах», и это властное эгоцентрическое чувство, «неведомой музыкой» звучащее в потемках его психики, порою сказывается в нем даже несколько странно. Так, Мартын решил покончить с собой и

> «если бы в эту минуту кто-нибудь стал на его пути, если бы кинулась ему под ноги дворняжка, или даже просто хлопнула где-нибудь поблизости дверь, он выстрелил бы в себя, но он стоял у глухого забора, никто не окликнул его — и он опустил руку с зажатым в ней браунингом».

И этот находившийся во власти внесознательного эгоцентрического устремления прекрасный революционер и коммунист совершает «преступление».

Партия поручила Мартыну сопровождать поезд с женщинами и детьми, увозивший их из города, который не сегодня — завтра может быть взят белыми. В поезде находится и казна, охрана которой поручена другому партийцу. Эшелон благополучно прибыл на соседнюю станцию. Вдруг раздаются выстрелы. Как будто подошли белые. Товарищ Туляков, которому поручена охрана казны, заставляет машиниста прицепить к паровозу вагон с драгоценностями. Часть женщин и детей в паническом страхе вломилась в вагон. Мартын стоял тут же и, когда поезд тронулся, пошел рядом и — вскочил.

> «Не из трусости ухватился я за перильца подножки, — повествует он. — Я был так безразличен к своей особе, что о трусости не могло быть и речи. Здесь работала к а к а я - т о с т р а ш н а я, н е д у м а ю щ а я с и л а. О н а подхватила меня в последний момент, напрягла мускулы м о е й руки, вложила в нее с в о ю волю... и я вцепился в перильца.
>
> Повторяю, это случилось помимо моего рассудка, вне моей воли».

Мартын скоро пришел в себя, овладел собою, подчинил бессознательно-«биологическое» классовому сознанию и долгу, выпрыгнул на-ходу из вагона и пошел обратно, целых десять верст, чтобы умереть в бою, а на станции все было тихо и спокойно (подошли красные, и отряд белых, ничего не сделав, отступил). Так, из-за пустого фантома изменил Мартын классовому и партийному сознанию ради подсознательного биологического инстинкта.

Не будем следить за тем, как эгоцентрически реагирует Мартын на это событие, как он во что бы то ни стало хочет, чтобы товарищи, у которых дел и хлопот по горло, непременно поняли все то особое, что в нем тогда происходило, как из своего заявления в ячейке он готов сотворить некое помпезное торжественное заседание, где в центре опять-таки стоял бы он со своими переживаниями, хотя время для пролетариата и для революции было до крайности тяжелое и требовало максимального напряжения всех сил класса.

Впоследствии Мартын совершил еще одно «преступление».

Под Екатеринославом шел бой. Красным приходилось туго. Командир убит. Мартын станновится на его место. Следовало бы отвести отряд, чтобы сохранить его для будущих битв. Мартын не соглашался. По мосту шли на тот берег реки беженцы — старики, женщины, дети. Если уйти — казалось Мартыну, — то огонь белых изничтожит беженцев. И из жалости к ним он был готов пожертвовать отрядом. Никто почти не уцелел. Был убит и Мартын. Но и те беженцы, что перешли на тот берег, все были сметены огнем белых. Остались в живых именно те, которые задержались на этом берегу!

Так, снова из-за пустого фантома, Мартын свое личное чувство поставил выше классового долга.

И автор устами одного из действующих лиц ставит недоуменный вопрос, на него сам не отвечая, предоставляя это сделать читателю:

«Вот штука: когда же Мартын совершил свое преступление — там ли в Липках, спасая себя, или... потом, спасая других».

Не в этой хитроумной проблеме интерес образа Мартына, а в том именно, что он в своем поведении руководится бессознательно в нем действующим эгоцентрическим началом, и в том, что оно — это подсознательное, — врываясь в его сознание, разрушает его классовое содержание.

И автор поясняет:

«Мартын почитал себя человеком образованным, его голова хранила достаточный клад всяческих больших и малых выловленных из книг истин.

Но за этим миром, построенным в пору короткой сознательной жизни, был, несомненно, другой мир, уходивший корнями в глубокое прошлое. И в этом другом мире Мартын видел себя иным, безликим, но неотвратным, как степь и небо над ней. И в этом другом мире октавой пела свою песню древняя кержацкая кровь».

Дело в том, что Мартын, собственно, не рабочий, а сын рыбака и жены помещика, вышедший из крестьянского и помещичьего мира, по нутру своему чистокровный индивидуалист, и эта его биологическая наследственность, эта подсознательная «музыка» или «песня» разлагала в его психике слабое, еще неокрепшее классовое сознание.

В психике других пролетариев и партийцев, выведенных в романе, момент «подсознательный» отнюдь не играет той же роли, отчего эти фигуры в конце концов — хотя и менее освещенные автором — не становятся менее жизненными.

Для примера и для контраста — Туляков. Предоставим слово Мартыну.

«Туляков действительно не думал о себе, он думал только о казне. Представь себе: там на станции в эшелоне у него остались жена... жена и двое ребят. Ни одним словом ни тогда, когда мы ехали к Липкам, ни теперь, когда убегали, он не обмолвился о них. Но он любил их, чорт возьми!.. Но партия, вручив ему ценности, приказала: ты должен сохранить их».

В этом подлинном пролетарии и партийце классовое сознание без остатка поглотило и подчинило себе «биологию» и «подсознательное».

IV.

Возможно, что проблема о подсознательном и сознательном поставлена еще и в других произведениях нашей современной литературы, но и этих примеров вполне достаточно, чтобы на их основании сделать известные выводы.

Если автор книги «Тайное тайных» Вс. Иванов рисует человека (как, впрочем, до известной степени уже и раньше) одержимым бессознанием и совершающим под его властью странные иррациональные поступки, то он совершенно прав, так поступая, ибо его человек стоит близко к природе (крестьянин), одержим природою и в нем «биология», эта сознанием не организованная часть психики, естественно, играет доминирующую роль.

Психика этого в значительной степени асоциального, не прошедшего через горнило коллектива и индустрии, еще близкого к природе и еще не оборвавшего связующую его с ней пуповину человека — по преимуществу «биологична», по преимуществу несознательна, и было бы странно, — даже в том случае, если эти образы — об'ективные фигуры, а не олицетворения психики их создавшего автора, — изображать их «рационалистическими» приемами, изображать их психику как психику «рационализированную».

Если от этих образов перейти к фигуре Федора в повести Чумандрина, то она представляет собою переходный этап от деревни к городу, от крестьянина к пролетарию, и потому в нем наличие наряду с классовым сознанием «биологического», сознанием неорганизованного, начала вполне естественно, тогда как в психике его жены, которую кто-то из действующих лиц метко окрестил «фабричной дворянкой», «биологический» момент в гораздо большей степени изжит и парализован классовым сознанием. (Она, кстати, обладает, по словам мужа, натурой «холостой», характерное указание на победу сознания над внесознательной половой стихией.)

Столь же законна трактовка в таком стиле и Мартына, в своем подсознании еще довольно крепко связанного с непролетарскими классами и успевшего только идеологически, а не психологически раствориться в рабочем классе и в партии.

Несколько загадочнее Наталья Тарпова, но если принять во внимание, что она дочь рабочего, в царское время принадлежавшего к касте привилегированных рабочих, рабочих-«аристократов» или, вернее, рабочих-мещан, и кончила гимназию, что она и всем своим обликом, вплоть до костюма, не очень похожа на рядовую работницу, то, может быть, этими чуждыми пролетариату особенностями склада ее натуры и характера об'ясняется ее «биологически» неодолимое влечение к инженеру, столь противоречащее ее классовому сознанию.

Таким образом самый призыв к переходу от «рационалистической» к «органической» трактовке человеческого образа в литературе нуждается по меньшей мере в диференциации.

Если писатель лепит образ человека не пролетарского, а крестьянского происхождения (себя ли в этом образе выявляя или создавая об'ективные фигуры), то «биологическую» психику этого человека, разумеется, никак нельзя трактовать «рационалистически», ибо ratio в ней играет минимальную роль. Если писатель создает образ человека индустриального мира и, в частности, рабочего или работницы, в которых еще сильна деревенская или мещанская или интеллигентская подпочва, то вполне возможно и вполне

законно сочетание «биологического» и «классового» момента в психике изображаемого персонажа.

Но, изображая доподлинного человека индустриальной поры и, в частности, доподлинного пролетария и тем более сознательного партийца, писатель не может не трактовать их психику иначе, как «рационалистически». Вся культура индустриализма, равно как и его высшей формы, социализма, насквозь «рационалистична». Техника, организация, партийный коллектив, научное устремление, — все эти черты социалистической культуры рационализируют жизнь, рационализируют вместе с ней и психику, организуют неорганизованное, преодолевают «природу», подчиняют сознанию и сводят к минимуму «биологию», стихию внесознательную, власть подсознательного.

И даже ссылка на классиков не должна смущать.

Классики были люди своей эпохи и своего класса. Толстой и Достоевский вышли оба из классов, не поспевавших за ростом капитализма, за крепнувшей буржуазной культурой, неприспособившихся к новым условиям жизни — в одном случае — дворянское барство, в другом — городское мещанство — и потому загнанных в потемки и в подполье подсознательного, в раскрывшуюся под развалом класса мрачную бездну изначально-биологического и «вечных» вопросов бытия.

Обильная дань «власти подсознательного» со стороны современной художественной литературы кажется нам, однако, в общем, не только ненужным, но даже в известном смысле отрицательным явлением. Как видно хотя бы даже из приведенных примеров, это столь обильное вторжение в художественную литературу «подсознательной» стихии знаменует в конце концов, не что иное, как оживание в ней классов, вытесненных революцией или стоящих вне пролетариата.

Торжество «биологического» человека и, в частности и в особенности, прорыв «биологического» человека сквозь пролетарско-классовое сознание, что это, в конце концов, как не самопротивопоставление непролетарских социальных слоев сознательности пролетариата, как класса, некий невольный протест против его рационалистической психики, против его рационалистического подхода к строительству жизни, против которых мелкобуржуазная стихия бунтует, под маской «подсознательного» и «биологии» утверждая себя на фронте художественной литературы.

Пшибышевский и Даниловский.

Генрик Каменский.

Смерть соединила случайно имена этих двух польских писателей, не имевших в жизни ничего общего между собой. Однако возможно провести между ними некоторую параллель. Если они непохожи друг на друга в своих достоинствах, то их до некоторой степени сближают недостатки. В поколении молодой Польши, к которому они оба когда-то принадлежали, едва ли есть еще третий писатель, который бы в такой малой степени, как эти двое, заслужил создавшееся о нем мнение. А именно, оба они слыли революционерами: первый в области духа и чувства, второй — в области социальных отношений. Оба не были ими на деле: оба были в гораздо большей степени рабами фразы, чем это казалось поколению бурной эпохи молодой Польши. Оба они стали достоянием прошлого, прежде чем их рука выронила перо.

I. Станислав Пшибышевский.

Пшибышевский начал, как социалист. Происходя из трудовой, хотя и шляхетской семьи (его отец был сельским учителем), проведя свою молодость в весьма трудных условиях, он стал социалистом и сделался в Берлине редактором польского органа германской социал-демократии, «Газеты роботничей». Но он скоро ушел от социализма, и на его творчестве эта полоса ничем не отразилась. Ибо это были уже не те времена начала 80-х годов, когда к социализму примыкал цвет молодой германской литературы. Гергардт Гауптман, Рихард Демель, Арно Гольц, Иоганнес Шляф тогда уже вышли или выходили из своего периода революционных и социальных настроений. Натурализм стал вытесняться антисоциальной мистикой. Пшибышевский сразу стал одним из мастеров нового направления в искусстве. Немецкая критика называла его «гениальным поляком». И эта берлинская слава помогла ему быстро завоевать себе популярность и в Польше, когда он в конце 90-х годов переехал в Краков и стал писать исключительно по-польски.

Своей славой Пшибышевский был обязан не только своему формальному таланту и писательскому темпераменту. Правда, уже и в этом отношении он был необыкновенным явлением. Он писал бешеным, раскаленным

пером, от которого самая, так сказать, твердая тема расплывалась в сверкающую туманность.

Но главное было, конечно, содержание. Подобно ницшеанству, и, конечно, под влиянием его, пшибышевщина являлась реакцией против социального, общественного искусства. Тем, кто тяготился подлостью и гнилью буржуазного мира, но не хотел итти за пролетариатом в его борьбе против этого мира, пшибывшевщина давала некоторый суррогат протеста против капиталистической пошлости.

В своих произведениях, посвященных теории искусства (их было не очень много, но они сыграли большую роль), Пшибышевский повел атаку против искусства, близкого к массам и обращающегося к массам.

«Внешние факты, — говорит Пшибышевский в своей книжке «О драме и сцене» (1905), — это только декорации для души, такие же с грехом пополам размалеванные декорации, какие можно видеть в провинциальных любительских спектаклях».

«Искусство, — говорит он в книге «На путях души» (1900), — является откровением души. Все же искусство до настоящего времени было реалистично и являлось, поэтому, заблуждением души». Искусство не может служить ничему, а следовательно, и социальным целям, а всего меньше рабочему движению. «Искусство является абсолютом, ибо оно есть выражение абсолюта — души». В искусстве находит выражение «обнаженная душа», душа, отрешившаяся от всех случайностей социального бытия. В нем выражается душа не горожанина или селянина, не рабочего или капиталиста, а человеческая душа, как таковая. Оно отражает сущность жизни.

Пшибышевский, конечно, писал и о себе, когда он следующими словами характеризовал творчество норвежского живописца Мунха:

«Он впервые воспроизвел обнаженные состояния души, как они проявляются самородно, совершенно вне зависимости от всяких функций мозга. Его картины — это просто написанные препараты души, в моменты, когда умолкает голос разума, когда прекращаются всякие мыслительные функции — препараты души, когда она извивается и в диких порывах становится на дыбы, когда она сохнет в мрачном отупении и кричит от боли и воет от голода».

Пшибышевский конкретизировал ту таинственную силу, которая блуждает, как призрак, в драмах Метерлинка. Он конкретизировал ее таким образом, каким психоанализ по фрейдовскому методу расшифровывает наши сонные видения — путем отнесения их причин к нашим внутренним инстинктам и потребностям. То, что нам кажется внешним образом, является по взглядам фрейдистов символом наших психо- и физиологических инстинктов. Точно таким же образом роковая сила Метерлинка, тянущая к нам постоянно из мрака свои костлявые пальцы, у Пшибышевского выступает в форме полового инстинкта.

«В начале была похоть, ничего вне ее, все в ней», — так начинается «Посмертная месса» (1893), первое художественное произведение Пшибышевского.

«Теперь я понял то, чего мой мозг не мог понять. Я понял, что думала моя душа, когда руки мои бессознательно создавали. Из разбрызганных морских волн выплыло белое огромное лицо, осенний пейзаж преобразился в глубокий, бездонно глубокий глаз и, как кровавую рану, выжег на нем час сумерек мистические, сладострастные губы».

«И из всех моих образов выплыла самка, воля вселенной, прачрево — Владычица» («Вигилии», 1895).

Эта половая сатанистика находит себе особенно яркое выражение в произведениях первого периода творчества Пшибышевского. Все его герои, как и сам автор, являются мономанами полового инстинкта. Эта роковая сила господствует над ними беспредельно, вызывая в них постоянные катастрофы, толкая их на преступления, превращая мир для них в ад. Как бешено страдает, например, Фальк в «Homo sapiens», когда он думает о том, что соблазненная им невеста его друга Никиты когда-то принадлежала тому же Никите. Нормальный человек совершенно представить себе не может той жуткой власти, какую имеет половой инстинкт над героями Пшибышевского.

Превратив, таким образом, половое влечение в какую-то мистическую силу, определяющую судьбы человека, Пшибышевский этим путем увертывается от влияния социальных условий. Хозяйственные отношения, классовые противоречия становятся с этой точки зрения ничтожным, побочным фактором, недостойным особого внимания. Единственно важным является то, что разыгрывается в самом человеке. Пшибышевский сознательно раздувает переживания своих героев, которые на самое ничтожное раздражение реагируют с фантастической силой. В их душах то-и-дело происходят стихийные катастрофы. Например, когда в «Андрогине» (1900) влюбленный герой становится перед зеркалом:

«Раздался ужасный гром, как будто какая-то планета оборвалась и грохнулась на землю, — разразился бешеный ураган ветров, адский хохот и завывание рвали его мозг в клочки; вдруг он видит в страшном ужасе, как вокруг зеркала образуется сверкающий туман, кружится, вращается, оформляется; все яснее обрисовываются линии и очертания, закругляются, становятся телесными, пульсируют кровью, дышат теплотой и жаром жизни».

Это необузданное многословие, этот высокопарный пафос, превращающий музыку слова в пронзительный вопль, является здесь внешним выражением внутренней неискренности поэта. Мастер слова то-и-дело теряет равновесие, балансируя на тонкой проволоке над бездной, которой нет.

Герои романов Пшибышевского, конечно, вполне адекватны своему автору по части презрения к обществу и неимоверной переоценки важности своей «обнаженной души». Сверхчеловеки вроде Фалька из «Homo sapiens» (1901) или Гордона из «Детей сатаны» (1899) не признают никаких общественных стеснений. Они удовлетворяют свой голод впечатлений и смеются над всем остальным. Фальк, неотразимый завоеватель женских сердец, переходит от одной возлюбленной к другой, очень легко справляясь

с угрызениями совести. Гордон, обуреваемый жаждой разрушения единственно из-за удовольствия разрушать, пользуется анархистскими методами и вызывает кровавые беспорядки, не имея ничего общего с мечтами анархистов и насмехаясь над их желанием осчастливить людей. В фантазии «Над морем» (1899) король, желая порадовать прекрасную рабыню из страны мрака, которую он любит без памяти, проклинает солнце и навлекает на свою страну всякого рода бедствия, ибо разгневанное солнце сжигает хлеба и сушит всю землю.

Перед лицом этой «революционности» Пшибышевский хочет изобразить весьма бледной и убогой революционность социализма. Ведь социализм улучшает и сохраняет общество, в то время как пшибышевщина мнит себя чем-то вроде динамита, превращающего общество в прах. Огорошенные филистеры, читавшие в свое время сочинения Пшибышевского, и в самом деле — одни с удивлением, другие со страхом — считали его революционером из революционеров.

Но сам Пшибышевский очень рано осознал, чего стоила его революционность. Его отношение к его же ницшеанским героям далеко не характеризуется тем отеческим восторгом, с каким относился Арцыбашев к своему Санину. Оно похоже скорее на настроение тех средневековых подвижников, у которых дикие эротические фантазии сочетались с не менее диким самоистязанием и ненавистью к орудию дьявола — женщине. Пшибышевский бичует самого себя в образе своих героев. Могучий соблазнитель, Фальк, кончает моральным банкротством и становится развалиной, от которой все в ужасе отворачиваются. Король из его вещи «Над морем», не поколебавшийся из-за бледной рабыни ввергнуть весь свой народ в бедствия, терпит кару от того же народа, который умерщвляет нежелательную иностранку. Пшибышевский оказался далеко не на высоте той репутации растлителя и разрушителя, какую ему создали испуганные мещане.

Это проявилось с еще бо́льшей наглядностью с того момента, когда Пшибышевский перешел к сочинению драматических произведений. Его драмы, правда, в начале встречались всеми охранителями основ с возмущением. Уж очень большим безбожником слыл их автор и уж слишком много в них говорилось о проблемах пола. «Золотое руно» (1901) попадало кое-где даже под запрещение. А ведь едва ли есть что-нибудь по замыслу нравственнее этой драмы. Трудно представить себе более добродетельного человека, чем старый резонер Рущиц, который читает моральные проповеди поэту Пшецлавскому, влюбленному в замужнюю женщину Ирену Рембовскую:

«Вы хотите уничтожить нравственность, так называемую нравственность — вы спрашиваете, что такое добро и что зло, но вы забываете, что существует какая-то странная, таинственная, скрытая нравственность в каждом поступке. То, что дурно, всегда мстит за себя, несмотря на все умствования...» (I акт).

«Вы индивидуалисты, для вас это забава разрушить жизнь человека, убить его, убить... Вы убили глупыми теориями совесть, для того, чтобы

удовлетворить свои преступные вожделения, вы начали проповедывать, что любовь не знает никаких прав и обязанностей, что любовь все оправдывает... Это ложь. Такая любовь преступна, она мстит, и она отомстит вам...» (II акт).

Эти проповеди не помогают, ибо они помочь не могут. Во-первых, потому, что драмы Пшибышевского построены не на конфликтах характеров, а по рецепту того, что в немецкой литературе тогда называлось «драмой рока». Раз что-нибудь предрешено судьбой, то от этого нельзя уклониться. Во-вторых, из этих наставлений не могло ничего выйти, потому что Рембовский не заслужил себе лучшей судьбы, чем участь рогоносца: он сам тоже соблазнил чужую жену. Да и Рущиц обременен тяжкой виной: он соблазнил мать Рембовского, и Рембовский оказывается сыном Рущица. Поэтому Рембовский, точно так же, как некогда его мнимый отец, пускает себе пулю в лоб, вследствие чего Рембовский и Рущиц получают воздание за свои грехи. Несомненно и Пшецлавскому с Иреной в свое время также будет воздаяние за их грех. И если приличные христианские критики в свое время возмущались обилием прелюбодеяний, господствующих в этой драме, и провозглашали ее пасквилем на семейные отношения в Польше, то они делали много шума из-за ничего. Драма была очень нравственна по идее, и никакого соблазна к супружеской неверности она возбудить не могла.

Такое же направление имеет и драма «Для счастья» (1900), где Млицкому, изменившему своей жене для очаровательной Ольги, приносят в дом труп жены, утопившейся вследствие обманутой любви. Точно так же и в драме «Снег» (1903) обманутая своим мужем Бронка кидается в воду, бросая этим мрачную тень на будущность мужа и соблазнившей его женщины. А резонер в той же драме «Снег», Казимир, высказывает мысль автора о том, каких женщин следует любить:

«Вот именно то, что мне нужно: такая простая девушка, такая белая, дворянская девушка, так... целые вечера проводить с нею у камина, с такой целомудренной, не знающей ни о грехе, ни о добродетели. Чувствовать рядом с собой женщину, не знающую ни принципов, ни теории, ни направлений, ни всяческих «измов» и представляющую собой лишь сердце, горячее, чистое сердце».

Таков был свирепый революционер Станислав Пшибышевский тогда, когда он еще рыскал хищным зверем по дебрям модернизма. В то время он был еще большим художником, его литературный талант развивался и утончался. Его взасос читала русская интеллигенция, весьма любившая те «революционные» откровения, которые уводили прочь от революции. Но в самом Пшибышевском боевой искренности уже не было. В нем уже назревало примирение с обывательщиной. Его миросозерцание теряло ту трагичность, которая характеризовала его в первое десятилетие его творчества, и ему приходилось уже искусственно создавать атмосферу трагизма в своих драмах путем разных литературных ухищрений. Жуткие, туманные в метерлинковском стиле намеки на приближающуюся беду, фигуры разных незнакомцев и незнакомок, символизирующие таинственный Рок, все это

были театральные маневры, более или менее эффектные, но уже прикрывавшие начавшееся опустошение таланта Пшибышевского. Ибо нельзя быть революционером впустую, нельзя бороться со старой традицией в искусстве, оставаясь чуждым тем источникам революции, которые заложены в жизни и борьбе масс.

Пшибышевский все более и более работал на холостом ходу. Его произведения становились все менее интересны и проходили мало замеченными.

Империалистическую войну Пшибышевский, как и многие другие буржуазные писатели, пытался использовать в качестве поставщицы новых тем. Война проявила, казалось, и в выхолощенном буржуазном обществе способность к некоторому новому пафосу, и Пшибышевский, как все, попытался поймать этот новый вид энергии на свой приемник. Но у него, как, впрочем, у всех апологетов войны, ничего ценного не получилось. Он не сделал даже серьезной попытки перевоплотить в художественные образы ту шовинистическую идеологию польско-немецкого братства против России. которую он развил в своей немецкой брошюре: «Польша и святая война» (1916). Его книга военных рассказов «Возвращение» (1916) представляет собой чудовищную смесь военных и эротических мотивов. Его герои, мучимые угрызениями совести по поводу своих любовных преступлений, ищут в войне случая национальным подвигом искупить свою эротическую вину. Они с наслаждением стреляют и разбивают черепа и ломают кости «врагам» и умирают с тем блаженным сознанием, что они умерли не даром, так как они пролили чужой крови гораздо больше, чем своей. Книга изобилует отвратительными сценами бойни, написанными с каким-то болезненным сладострастием. Пшибышевский здесь проституирует свой трафарет, ставя его на службу военной пропаганды, но у него не выходит даже порядочной военной агитки.

Этот демонический мещанин стал до того никому не нужным, что в первые годы независимой Польши ему пришлось добывать себе пропитание в качестве почтового чиновника. О нем потом вспомнили и помогли ему, но его произведения уже не могли проломить равнодушия публики. Когда он перед смертью об'явил себя верующим католиком, это ни на кого не произвело впечатления. Он мог делать что угодно: он был уже неактуален.

II. Густав Даниловский.

Даниловский считался некогда революционером, переносившим в область искусства то, что было революционно в массовом рабочем движении. Кто, если не он — активный деятель Польской «социалистической» партии, мог выразить идеи рабочего класса, переведенные на гармонический язык поэзии? Беспартийный Жеромский, казалось, должен был, по крайней мере в смысле понимания социальных явлений, уйти на задний план перед этим партийным поэтом.

Было время, когда имя Даниловского произносилось если не перед именем Жеромского, то непосредственно после него. Напрасно. Этот «социа-

лист», принадлежавший к партии, уже тогда, в 900-х годах, весьма сомнительно социалистической, показал себя в гораздо бо́льшей степени, чем Жеромский, эстетствующим интеллигентом, для которого борьба рабочих была только литературной темой.

Он имел, несомненно, значительный литературный талант. Он писал «красиво». Его произведения читаются с большим удовольствием, они иногда волнуют и почти всегда заинтересовывают. Слабее прозы была его поэзия. Стихотворная форма стесняла его, и его фразистость становилась тут более банальной, чем в прозе. Но что касается содержания, то Даниловский оставался одним и тем же в поэзии и в прозе. Он делал из революции литературу, но сам не чувствовал революции.

Дело здесь не только в идеологии, не только в выдержанной политической линии, в понимании общественных отношений. Было бы смешно требовать от Даниловского пролетарской, классовой поэзии. В его поэме «На острове» (1901), одном из самых ранних его произведений, эта идеология уже развертывается во всю ширь. Поэт Даймон, живущий на счастливом острове (подразумеваются состоятельные и образованные классы), старается убедить своих сограждан подняться на помощь несчастному материку, где массы бедных погибают в нищете и бессилии. Он вызывает глубокое возмущение островитян и чуть-чуть не изгоняется из их среды. Но часть молодежи — поэты — присоединяется к нему, они общими силами строят корабль и устремляются на материк. Бушующие стихии стараются преградить им доступ к материку, но они борются и, несомненно, добьются своего, и никто не помешает им понести обездоленным массам материка светоч сознания и помощь.

Повторяем, тут дело не в неправильной идеологии. Жеромский в такой же степени, как Даниловский, не верил в способность «материка» добыть свои права собственными силами, без помощи героев с буржуазно-интеллигентского «острова». Но Жеромский смотрел открытыми глазами на жителей привилегированного «острова», понимая, что среди них идейные борцы представляют ничтожное меньшинство, что в массе они не только равнодушны к судьбе народа, а глубоко враждебны всем попыткам народа освободиться от векового рабства. Поэтому романы Жеромского изобилуют отрицательными типами и безобразными сценами.

Ничего подобного нет у Даниловского. Безмятежная красивость пропитывает его произведения. Редко-редко в них встретится неприятный, пессимистический момент. В общем все красиво и благородно. Как прекрасно все в романе «Из минувших дней» (1902). Виктор прямо необыкновенный герой, его жена, Марина, до такой степени живет только своим мужем-бойцом, что она не может пережить его смерти в хладных снегах Сибири и кончает самоубийством. Его сын Игнась, хотя и ребенок, уже готов отдать себя в жертву человечеству и находит ночью смерть в реке в поисках заколдованного зелья, которое должно осчастливить всех его близких. Но до какой степени симпатичны автору все второстепенные фигуры романа! Как хорош брат Виктора Игнатий, как очаровательна жена Игнатия Иза-

белла, которые, хотя и помещики, а сочувствуют Виктору с женой и делают для них все возможное. Хорош и старик Постанский, и дети Игнатия, и все, все, все.

Все это сделано очень стильно и убаюкивает читателя. Только надо сказать, что Даниловский уж слишком облегчает себе свое ремесло революционного писателя. Если бы все было так, как это выходит по «Минувшим дням», то очень легко было бы в Польше делать революцию. На самом деле было совсем не так. Много было грязи и всякой подлости в шляхетских усадьбах, и не было там таких Игнатиев и Изабелл. Даниловский убегает от действительности, он не говорит всей правды. А кто не говорит всей правды, тот лжет. И ложь Даниловского имела корни в том, что он только в своем суб'ективном представлении был революционным писателем. На самом деле он был националистическим мечтателем, которому очень хотелось подогнать революционный базис под свои мечтания о национальной независимости.

Следующим важным этапом в творчестве Даниловского была «Ласточка» (1907), так же, как «Из минувших дней», переведенная на русский язык и в свое время популярная в России. Она написана уже в другую эпоху: не революционное брожение, а нисходящая волна революции является фоном этого романа, опять-таки довольно высоко стоящего по своим чисто-художественным достоинствам. Сообразно настроению эпохи героем является уже не революционер, идущий на смерть за свои убеждения, а полусоциалист, отходящий от революции в сторону мещанства, причем дело усугубляется еще получением большого наследства.

Сигизмунд Орский отходит от социалистического движения. Он обрастает. Он становится мещанином. Его равнодушие к социалистическому движению сменяется легкой враждебностью: и чего они в глаза лезут, неприятные воспоминания возбуждают, а главное, как будто в претензии на него, ренегата. Нехороший, отрицательный тип. Но у Даниловского он, собственно говоря, таким нехорошим не выходит. Например, он не хочет дать отдохнуть у себя в Варшаве подпольному революционеру Линовскому, своему старому товарищу по университету. Даже обыкновенный воришка из предместья, оказалось, более сочувствовал Линовскому, чем Орский. А все-таки Даниловский не может решиться представить Орского в непривлекательном свете. Очень уж хорошо живет человек. И какие прекрасные балы и охоты они устраивают в деревне, и какие приятные, добродушные типы все эти окраинные помещики и их управляющие! И как приятно пошляться с Орским и его женой по Италии!

Кстати, у Орского есть две жены: каждая из них в своем роде чудо, и обе его любят. На одной из них, Ласточке, он женился еще в университете, для того чтобы освободить ее из-под отцовской опеки и дать ей возможность пойти на революционную работу. Женитьба фиктивна, но Ласточка все-таки любит Орского, а когда она с ним много лет спустя случайно встречается и узнает, что стало из былого молодого социалиста, она... бросает вон из поезда перевозимую ею нелегальщину, а потом и сама

кидается под колеса. Все это очень романтично, для Ласточки красиво, для Орского безвредно, но, впрочем, мало правдоподобно.

Не хуже и вторая жена Орского Гальшка — хорошая дворянка, но по темпераменту большая анархистка. Во время путешествия в Италию, она во Флоренции вмешивается в толпу бастующих рабочих и падает в баррикадной борьбе. Кстати об итальянских рабочих: они, конечно, в последний момент спасаются бегством и за революцию отдают свою жизнь лишь двое: поляк Дулька и полька Гальшка. Красиво! Только в жизни так не бывает, чтобы рабочие давали заменять себя в борьбе польским аристократкам.

Дальше последовали рассказы «В любви и в бою» (1910). Уже одно заглавие отражает всю романтичность этих рассказов, где герои, далекие от массы, замещают ее в борьбе и красиво умирают. Правда, Богдан в последний момент колеблется бросить бомбу и умереть, потому что он слишком любит Ирену. Но зато Ирена, одухотворенная любовью к Богдану, в решающее мгновение сменяет поколебавшегося революционера и сама кидает бомбу. Любовь и революция торжествуют одновременно. На самом деле торжествует лишь революционная фраза, в этот раз заметно понижающая качество продукции Даниловского.

Последовавшая затем «Мария Магдалина» (1912) представляет собою уже бегство в легенду религиозного свойства. Это — картина из эпохи деятельности и смерти Христа, не дающая, впрочем, абсолютно ничего для более углубленного понимания эпохи или сущности христианства. Зато она дает щекочущие нервы эротические настроения.

Эпоха войны и последовавшего затем восстановления независимой Польши не оживила Даниловского, как боевого поэта. Его роман «Конский топот» (1919) представляет собой весьма банальную любовную историю. Если Пшибышевский использовал войну, как фон для бешеной пляски разнузданных страстей, то у Даниловского война и борьба легионов Пилсудского за независимость послужила лишь аккомпаниментом для истории любви красавицы Лины и мужественно-прекрасного Богдана, любви, прерванной смертью Богдана на войне. Этот роман написан малиновым сиропом: от него теряешь аппетит на весь день, как после чрезмерного потребления пирожного с кремом.

После Даниловского осталось несколько удачных ударов по сладкопевным струнам. Еще не совсем затихло их эхо. Но это и все.

Пшибышевский и Даниловский—писатели различной величины и весьма различного тембра, однако имеют между собой нечто общее. Они отжили свой век. Их роль в прошлом оценивается с точки зрения настоящего совсем иначе, чем во времена их расцвета: она стала гораздо меньше в перспективе истекших лет. Они не смогли угнаться за временем, которое оставило их позади.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Дм. Петровский. Галька. Стихи. Изд. «Круг». 1927 г. Стр. 110. Тир. 5 000 экз. Ц. 1 р. 25 к.

Петровский сам так определяет основные приемы своей работы (в стихотворении «Установка»):

Найти язык — не растеряться,
В то время, как века уж он —
Старорежимный, — рад стараться,
Учить словесности закон.
Мы суффиксы введем в глаголы,
Деепричастия в предлог,
Дабы бы не могли мон олы
Так скоро изучить наш слог.

Он продолжает хлебниковские лексические изыскания, творит такие неологизмы, как «ездоч», «сыноша», «вселюдно» и др., поэтизирует в неограниченном количестве разговорную речь, работает над жанром песни, баллады. Удачно ощущается работа над освежением традиционного поэтического языка в песнях; оформляя настроения современности, они ритмами наших дней, колоритностью словаря и образов дают яркое представление о тех или иных сторонах эпохи. Песни Петровского (песни в бо́льшей степени, чем стихи) всегда темпераментны, по-настоящему песенны и обычно сюжетны. Автор исходит от лучших народных образцов и, часто оставляя традиционным развитие действия, окружает его специфическими условиями гражданской войны. Понятно, что годы почти десятилетнего отсутствия мужей могли казаться казачкам «за сто годов», и часто встречные должны были отвечать на томительные расспросы жен о «хозяине»:

Он на белой горочке
Там лежал, —
Лисы-волки чалились
Поприбрать.

Поэт хорошо овладел также жанром баллады; он умеет заставить читателя нетерпеливо ожидать развития событий в те ночи, когда

На уровне, морском
Две башни старые с тоской
Безмолвия стоят;
Огни горят,
И ночь куском,
Отрезанным от древних книг,
Лежит извечная из них,
И на седых морях
Ладья, как песенка, скользит.

Хлебниковской недоработанностью, недоговоренностью веет от поэм «Моцарт и Сальери» и «Абрам Беркович»; автор не ставит точек над i, перемещает груз со своих плеч на плечи читателя.

Работа над обогащением литературного языка диалогом улицы, неологизмами, синтаксис, приближающийся по динамичности к построению фразы Б. Пастернака, заставляет видеть в Дм. Петровском одного из близких к Лефу поэтов. Автор обладает большим темпераментом и романтическим задором. Он «не желает поминать умерших честно на кровати», и его идеал — «Ветер», который

Гулял на том и этом свете,
И, может, был большевиком.

В. Красильников.

Сергей Буданцев. Командарм. Роман. 1927 г. Гиз. Тир. 4 000 экз. Стр. 165. Цена 1 р. 20 к.

Он же. Японская дуэль. Рассказы. 1927 г. «Прибой». Тир. 6 000. 213 стр. Цена 1 р. 35 к.

Интеллигенция и революция: эта тема по-разному разрабатывалась разным писателями. У Буданцева она нашла своеобразную трактовку. Начиная с «Командарма», он продолжает эту тему в рассказах «Сын», «Неравный брак», «Японская дуэль». — Интеллигент у Буданцева: неврастенич-

ный, страдающий рефлексией индивидуалист, стреляющийся под забором (эсер Калабухов); морфинист Северов, умирающий в сумасшедшем доме; военспец Эккерт, насильно втянутый в гражданскую войну, одинаково безразлично относящийся к Троцкому, Калабухову и Теплову; Елена — дочь полковника, примкнувшая к большевикам, но, по существу, чужая революции; поэт-декадент, сын старой революционерки-энтузиастки, отгораживающийся от революционного движения своим дворянским происхождением и поэзией («Сын»); чудак-библиофил, неуместный со своей «старомодной» вежливостью и странной страстью к западноевропейским поэтам («Японская дуэль»). Интеллигент в изображении Буданцева — пассивный, смешной, капитулирующий «Лишний человек» в революции. — Таков внутренний смысл «Командарма».

«Командарм» — книга не новая. Написанная между 1919 и 1922 год ми, появившаяся в печати впервые в 1923 году («Мятеж»), она рисует, тогда еще живые, но теперь ставшие достоянием истории события первых лет гражданской войны. В ней ценна не столько фактическая сторона, сколько психологичность содержания: революция в восприятии левого эсера, который в мирное время стал бы хорошим преподавателем русского языка и словесности в гимназии, но которого революционая волна выбросила наверх, сделала командармом дикой дивизии, поселила в нем мечту о военной славе, превратила в авантюриста, голову которого кадеты оценили в пятьдесят тысяч, отдала в руки победивших большевиков и заставила, в сознании безысходности и ненужности своей, кончить жизнь самоубийством.

Эта книга интересна не только содержанием, но и внешним своим оформлением. Это любопытный, очень характерный, впрочем — теперь уже не новый, прозаический жанр, имеющий своим истоком символизм, но удачно сочетающийся с тем отрезком времени, с духом той среды, которую рисует Буданцев. Разорванность, скачкообразность композиций, разломанный ритм ее, дисгармония и звуковая выразительность фразы передают психологию развинченности, неврастеничности, наигранной революционности героев. Отдельные мотивы переплетаются, завязываются в сложный узел, и — люди, вещи и природа служат выполнению одного общего замысла. Отдельные образы экспрессивны и, одновременно, символичны.

После ликвидации белогвардейского мятежа, на следующий день — преувеличенно спокойный и безлюдный после сражения.

> «Силаевский (помощник главнокомандующего дикой дивизией. *А. Ш.*) ехал с ординарцем, и по безлюдным улицам звон лошадиных копыт раздавался, как колокол. Всадники могли бы показаться фантастически-громадными, такими они казались сами себе.
>
> Огромность, несоизмеримость создавали одиночество, в этом безлюдном мире насторожившихся домов не было ни родственников, ни друзей, ни просто людей, равного всадникам роста.
>
> Вечерело. Серело. Сливалось с пыльными сумерками. Кони, богатырски стуча, медленно дефилировали мимо черного остова погрома...»

Этот отрывок — пример экспрессивной образности — символичен для изолированности, одиночества людей, мнящих себя вождями и неуклонно идущих к своему роковому концу.

От нарочитой образности, от ритмической инструментированной прозы к простому реалистическому письму — таков путь от «Командарма» к «Японской дуэли». Знатоки японского быта и нравов знают, чем именно неравный поединок между чудаком-библиотекарем и завом библиотечного подотдела, между начальником и подчиненным и, главное, между людьми разных типов, разных стилей, — чем этот поединок похож на японскую дуэль. Для непосвященных смысл заглавия не ясен. Побежден в этой «дуэли» Григорий Нилыч — страстный библиофил, далеко стоящий от современных требований к библиотекарю. Из его библиотеки забирают дорогие ему — редчайшие экземпляры книг, перевозят их в библиотеку сельскохозяйственного института, сваливают там в кучи, наполняют ими сараи и коридоры. Глядя на потертые кожаные переплеты,

на треплющиеся золотые обрезы, Григорий Нилыч страдает, он ощущает теперь свою ненужность, он хочет бороться, хочет мстить за то, что отняли у него смысл его жизни, но, безоружный, жалкий в своем бессилии, смешной интеллигент, он мстит собственным своим уничтожением. Он сжигает всю картотеку, весь библиографический свод — труды всей своей жизни. И, вместе с пеплом сожженных карточек, он посылает своему сопернику — заву Басову, занявшему его место, смешной человеческий упрек: «Как вам не стыдно!».

Интеллигент Григорий Нилыч, как и эсер Калабухов, ощущает свою неприспособленность, свое бессилие. Он, знающий новые и древние языки, разбирающийся в редчайших книгах, он — не владеет языком сегодняшнего дня. «Мне незнаком их язык, Макуша», — говорит он своему помощнику.

> «Утром, дома, я готов был бороться, но, — он перелистывал бумаги, взглядывал в упор, говорил металлическим голосом, — я отступил. Я — гнилой интеллигент, да, Макуша?
>
> ...С подоконника в беспорядке свисала газета с заметкой о Басове. Григорий Нилыч пихнул ее в печь. Пламя, вспыхнув, выбилось наружу. За спиной Григорий Нилыча закачались какие-то странные тени. Раздражающее чувство одиночества и потерянности навалилось еще сильнее и неотступнее».

«Японская дуэль», несмотря на некоторую рыхлость композиций; что, впрочем, относится и к другим рассказам, лучший рассказ в книге. Он актуален по своей теме. Незначительное происшествие, давшее материал для рассказа, попав в объектив современной критики, получает социальную значимость. Григорий Нилыч — спец — работает исключительно для себя, удовлетворяя свою страсть к библиографии; действия Басова-общественника сводятся к устройству своих личных дел; завгубоно ограничивается тем, что при разговорах с Басовым «морщится, отодвигается, влипает в кресло»; почему-то чувство «брезгливого опасения» одинаково характеризует как Григория Нилыча, так и зава, — автор не поясняет. С играет роль «третьего лица». Его главн внимание уделено психологии действую щих лиц, но его собственное отношени к ним не ясно. В рассказе нет четкост поставленной автором задачи. Психол гический портрет Григория Нилыча нар сован довольно удачно; слабее Басо не ясен завгубоно и совсем мертвая фи гура — комсомолец Макушин, — ст тист, выведенный на сцену для каких-т неудавшихся режиссерских замыслов.

Анна Шафир.

Авдотья Панаева. Семейств Тальниковых. Приложения. К Чуковский «Панаева и Некра сов», Н. Некрасов «Стихи, посвя щенные Панаевой». «Academia». Ленин град 1928. Стр. 267. Цена 1 р. 50 к.

В своем предисловии к «Семейств Тальниковых» К. Чуковский совершенн правильно отмечает, что повесть эта при мыкает к серии обличительных повесте 40-х годов.

Обличительный пафос «Сороки-воровки Герцена, пафос, где звучат еще отголоск трагедии Шиллера и гуманистически заветов XVIII века, речь обвинителя повесть Панаевой — голос пострадавшего

Герцен ставит вопрос шире, — картина нарисованная обвинителем, всегда полнее— он обсуждает дело всесторонне, потому что он видит его со стороны. Расска потерпевшего более личный, узкий, зат всегда будет обладать какой-то особой волнующей убедительностью, которую не затмить самому блестящему обвинению. Недаром цензура, разрешившая к печати «Сороку-воровку», — «Семейство Тальниковых» запретила, недаром эту повесть так горячо приветствовал умирающий Белинский.

Авдотья Панаева, вероятно, и не думала писать обличительную повесть. Она просто рассказывала о своем «детстве каторжном, об унизительной юности». От этой простоты, бестенденциозности, повесть и вышла настолько обличительной и боевой, что председатель цензурного комитета—Бутурлин—запретил уже разрешенное к печати «циничное, неправдоподобное, безнравственное» произведение.

Повесть Панаевой представляет, прежде всего, большой общественный интерес — судьба Натальи (под этим именем выводит себя в повести Панаева), ее сестер и братьев — не случайная судьба, — она связана со всем безобразным, деспотическим семейным укладом, со всем крепостнически-казарменным строем николаевской России.

В лучшем случае — тупое равнодушие, в худшем — издевательства и истязания, — так рисует Панаева родительскую власть, систему воспитания в ее семье.

Несмотря на всю ненависть к своему «каторжному детству», Панаева нигде не переходит границ искусства, она не доказывает, а показывает. Каждая фигура, ею зарисованная, — живой человек, каждая сцена не оставляет сомнения в своей подлинности. Насколько художественно полнокровны и убедительны и мать — тупая, толстая картежница с маленькими глазками и походкой командора, — и ссоры дедушки с бабушкой и «благородная девица» — гувернантка. Насколько обаятельна героиня повести — смуглый сорванец, «девка-чернавка» Наталья, которая никак не хочет уложиться в рамки этого сонного, тупого и жестокого быта.

Приложенная к книге статья К. Чуковского «Панаева и Некрасов» была бы убедительной, если бы против нее не говорила, во-первых, книга, во-вторых, все письма Панаевой, которые автор статьи цитирует. К. Чуковский задался целью реабилитировать Панаеву, смягчить то обвинение в воровстве (в деле о продаже имения Огарева), которое над ней тяготеет. Но, защищая Панаеву, он настолько снизил, упростил ее, что вышло по пословице — простота, к которой привел Панаеву К. Чуковский, оказалась хуже воровства, в котором ее обвинил М. К. Лемке.

Неужели женщина, бывшая 15 лет подругой Некрасова, только «эффектная брюнетка», «бельфам», виртуозно умеющая разливать чай? Неужели она, действительно, средняя женщина, случайно попавшая в круг великих людей за «смугло-бархатный румянец»? Какие основания у К. Чуковского утверждать это? То, что она желала иметь семью, тосковала о мертвом ребенке? Разве это непременно признак незначительности женщины? Она была недостаточно грамотной? Но женщины сороковых годов вообще не были сильны в орфографии, та же «Консуэлло» — Н. А. Тучкова-Огарева — писала ничуть не грамотней, об этом свидетельствуют письма ее к родным, опубликованные в «Русских пропилеях».

Но если даже принять, что всех современников очаровал лишь смуглый румянец Панаевой, то разве можно при помощи «смуглого румянца» написать три хороших романа, которыми восхищались Добролюбов и Белинский, над которыми плакал Огарев? Если даже решить, что все литературные достоинства ее романов объясняются сотрудничеством Некрасова, то как объяснить талантливость и остроту ее «Воспоминаний», написанных через несколько десятков лет после смерти Некрасова? И разве о «бойкой, сорокалетней кумушке» говорят письма стареющейся Панаевой — усталые письма надорвавшегося человека?

В Панаевой было много лживого, вульгарного, сплетнического, — безобразная среда, в которой она росла, не могла не наложить на нее своего отпечатка. Но она была не бездарна, и лучшей реабилитацией Панаевой будет издание ее писем — хотя бы писем к Ипполиту Панаеву, хранящихся в Пушкинском доме.

Голос самой Авдотьи Панаевой лучше всех расскажет нам о ней.

Евг. Книпович.

И. Мàца. Литература и пролетариат на Западе.

Издательством Коммунистической академии выпущена книга И. Мàца «Литература и пролетариат на Западе», заслуживающая внимания по целому ряду затронутых в ней вопросов.

В предисловии автор указывает, что книга его «имеет целью дать общую картину развития литературы современного Запада, более или менее связанной с жизнью рабочего класса», что «работа его представляет опыт систематизации вопросов — в динамике их». Автор говорит:

> «Центральный вопрос, который поставлен в этой работе, это — каким закономерным путем развивалась л и т е р а т у р а о р а б о ч и х и д л я

> р а б о ч и х на Западе от явно мелкобуржуазных взглядов на рабочий класс к выявлению тенденций революционного пролетариата и к углублению психологического контакта литературы с передовыми отрядами рабочего класса?» (Подчеркнуто мною. *Г. Я.*).

Решение этого вопроса имеет большое практическое значение. Изучение развития литературы не является для нас отвлеченным научным вопросом.

> «Какие общие выводы можно сделать из этого развития в пользу возможного упрощения и сокращения пути к пролетарской литературе? Практически: какие литературные традиции нужны и какие не нужны нам для дальнейшего развития?»

И. Мàца говорит только о путях к пролетарской литературы, имея, очевидно, в виду литературу Запада, где, по его мнению, пролетарской литературы еще нет. В последующем изложении И. Мàца определенно заявляет:

> «Пролетарской поэзии, поэзии, отражающей концентрированную сущность не только идеологии и идеи, но и психологии революционного слоя пролетарского класса, пока еще нет»...

и далее:

> «Имеются искания и опыты, имеются намеки пролетарской поэзии» (стр. 152, 153).

Это утверждение, так же как и другие теоретические выводы автора и формальные проблемы, поставленные им, следует внимательно рассмотреть.

И. Мàца совершенно правильно разграничивает идеологию и психологию в литературном произведении. Классовый характер литературного произведения определяется совокупностью идеологических и психологических элементов. Одной идеологической выдержанности недостаточно, произведение должно быть выдержанно психологически, должно быть положительным, с точки зрения пролетарской психологии, тогда только оно может быть отнесено к пролетарской литературе.

Но в психологии пролетариата на Западе много «капиталистических элементов», она носит «смешанно-классовый характер», а писатели, пишущие о рабочем классе, далеки от его непосредственных интересов, — отсюда исследователь делает вывод:

> «Мы не можем говорить о пролетарской литературе в п о л н о м смысле этого термина», потому что очень мало еще таких писателей на Западе, «которые умеют нам показать, ч т ó т а к о е п р о л е т а р и а т н е в и с к л ю ч и т е л ь н ы х с л у ч а я х в ы я в л е н и я с в о и х «х а р а к т е р н ы х», «и н т е р е с н ы х» к л а с с о в ы х ч е р т, а в ц е л о м к а к к л а с с, к а к с т р о г о о п р е д е л е н н а я е д и н и ц а» (Подчеркнуто мною. *Г. Я.*).

Предъявляя такое требование к писателю, необходимо разъяснить, что значит: показать класс в целом, как единицу, да еще строго определенную! Неясность в этом пункте делает хрупкой всю методологическую конструкцию исследователя.

И. Мàца прав, когда разграничивает идеологию и психологию, анализирует состав понятия: классовый характер литературы, раскрывает сложность вопроса. Но И. Мàца неправ, когда он выключает пролетарскую литературу, сдвигает проблему о ней в плоскость вопроса о литературе о рабочем и для рабочего. И. Мàца берет отправной точкой буржуазную литературу, он говорит о политической поэзии, о революционной поэзии, об агитпоэзии и для пролетарской литературы не остается места, проблема растворяется в многочисленных рубриках и подразделениях.

Свою «строгость» в отношении к «пролетарской» литературе (он берет в кавычки оба слова) И. Мàца оправдывает задачами критика-марксиста. Он говорит:

> «Критик-марксист работает не для истории литературы, а в первую очередь для действительности. Таким образом, если он определяет классовый характер данного литературного произведения, высказывается за или против, он берет на себя ответственность не перед профессорами литературы и не перед отдельными литературными группами, а перед всем своим классом».

Однако, несмотря на утверждение, что пролетарской литературы «пока нет», что есть только намеки на пролетарскую поэзию, что говорить о пролетарской литературе «в полном смысле» не приходится, исследователь возвращается к этому термину, и оказывается, что пролетарская литература все-таки существует. После определения задач критика-марксиста читаем:

> «В конце концов полагаем: пусть говорится поменьше о «пролетарской литературе» и побольше о чуждых нам уклонах в литературе о рабочих и для рабочих. Таким образом получится больше пользы той литературе, которая без всяких сомнений может называться пролетарской» (Подчеркнуто мною. *Г. Я.*).

Отдавая дань осторожности и «строгости» исследователя, необходимо все же установить, что в его исследовании несуществующая пролетарская литература, взятая в кавычки, вынесенная за скобки, появляется вновь, в чистом, беспримесном виде, в сверкающих одеждах «несомненности». Возникает вопрос: следует ли методологически брать отправной точкой буржуазную литературу и искать в ней революционные уклоны, упираясь в таинственную, «невполне» существующую пролетарскую литературу, или исходить от реально существующей пролетарской литературы, отмечая ее непролетарские уклоны.

Неясности и спорные моменты в методологической установке исследования И. Мàца, только что рассмотренные нами, связаны с некоторыми формальными проблемами, затронутыми в книге. Автор полагает, что в творческом процессе, при создании художественного произведения, художник вполне сознательно комбинирует все элементы идеологического и психологического порядка. Здесь, очевидно, переоценивается роль сознания в художественном творчестве, авторское желание выдается за действительный факт. Несомненно, что роль сознания все увеличивается в творческом процессе соответственно успехам культуры и научных завоеваний, область бессознательного поддается все бóльшему контролю сознания, но ни в коем случае нельзя утверждать, что художник вполне сознательно комбинирует все составные элементы, входящие в его произведение. А И. Мàца именно это утверждает.

Прежде всего посмотрим его определение литературы:

> «Литература есть художественное отражение общего стремления общества или определенного общественного класса к возможно полному равновесию всех элементов общественной (или классовой) психологии и идеологии данной исторической эпохи, отражающих диалектику материальных производственно-экономических сил данного общества».

Тяжеловесная формула оставляет без ответа важнейший вопрос, что же такое художественное отражение, какова его природа. Насколько сознательно отражает художник стремление общества или класса к согласованности идеологии и психологии? В другом месте книги, по другому поводу, художественное произведение определяется так:

> «...Художественным называется такое литературное произведение, в котором идеологические и психологические элементы его внутреннего состава сознательно комбинированы таким образом, что они действуют посредством ассоциаций общих чувств и мыслей, в первую очередь, эмоциональные отношения (?), на психику воспринимающего» (Подчеркнуто мною. *Г. Я.*).

Изучение литературы чрезвычайно упростилось бы, психология художественного творчества была бы ясной и точной наукой, если бы верно было утверждение И. Мàца. Едва ли оно нуждается в опровержении. Общеизвестно, что художник создает произведения часто безотчетно, повинуясь нахлынувшим на него чувствам, настроениям и мыслям, причем у него появляется настоятельная потребность освободиться от них, придавая им ту или иную форму. Неясно, что это за ассоциации «общих чувств и мыслей», или «несознательные ассоциации», посредством которых будто бы воспринимается

поэзия. С психологией вообще, с психологией художественного творчества в частности, у И. Мàца дело обстоит неблагополучно.

Упрощенный подход к художественному творчеству и его особенностям отразился и на решении других формальных проблем в книге «Литература и пролетариат на Западе». Так, о развитии революционной поэзии И. Мàца замечает: «Силы, которые должны (!) формировать нашу революционную поэзию, следующие: широкий темп нашей общественной жизни, как основной ритм; будничный, реальный характер языка; яркая выразительность образов и спокойная динамичность внутреннего ритма — ритма образов и эмоций». Воздействие действительности на поэта и формальные элементы художественного произведения — все это смешано в кучу и объединяется понятием «силы».

Смешение неадекватных понятий, расплывчатость, субъективизм определений,— ибо, в самом деле, что такое конкретно: широкий темп, реальный характер и т. д.,— только запутывают дело, в той же мере, как и постановка вопроса о форме и литературных «традициях». Если сказать: «субъективный романтизм не годится для революционной литературы» — это ничего не дает для решения стоящих перед нами задач. Всякую мысль о механическом перенесении форм или «традиций» в пролетарскую литературу следует отбросить. Анализируя свободный стих, сопоставляя ритм Уитмана с нервозным ритмом экспрессионистов, И. Мàца ставит следующий вопрос: «К а к о е о т н о ш е н и е м о ж е т и м е т ь к н а ш е й р е в о л ю ц и о н н о й п о э з и и э т о т с в о б о д н ы й р и т м, с о з д а в ш и й с я и з ч у ж д о й н а м д е й с т в и т е л ь н о с т и? Может ли пользоваться создающаяся революционная поэзия пролетариата формами Уитмана или формами экспрессионистического свободного стиха?» (Подчеркнуто мной. *Г. Я.*). Исследователь затрудняется дать ответ, так как пролетарской поэзии по его мнению еще нет. Далее он вновь возвращается к этому вопросу: «Можно ли пользоваться ритмом и формою н а р о д н ы х п е с е н, ритм которых отражает ритм ручного труда, коллективных плясок, патриархального быта и т. д., в зависимости от усложнения форм крестьянской жизни. Мы полагаем, что формы и ритм этого рода довольно далеки от темпа, ритма и форм жизни современного западного индустриального пролетариата». Последнее замечание не решает вопроса. Из сокровищницы формальных достижений искусства пролетариат волен черпать все, что ему понадобится для оформления своего материалистического понимания действительности. И как раз в поисках революционных моментов в трудовом прошлом человечества, пролетариат может найти ценный материал в народном творчестве, в котором труд и борьба с природой находят свое непосредственное отражение. На вопрос: какое отношение могут иметь к революционному пролетарскому искусству формы и ритмы, создавшиеся в условиях чуждой нам действительности, — отвечаем определенно: отношение культурной преемственности, использования культурных завоеваний и ценностей на потребу рабочего класса и его литературы.

Примером предвзятости некоторых положений рассматриваемой книги может служить отношение автора к утопическому роману. Отношение это — резко отрицательное. — Наиболее уважительной причиной, — говорит И. Мàца, — объективной невозможности «революционно-социалистического» утопического романа является то, что никаким образом не могут быть основой литературного произведения революционного, пролетарского характера факты или предположения, которые не только не выдерживают научной критики, но даже стоят в противоречии с основными тезисами нашей научной социологии.

Спрашивается, а если положить в основу романа научно проверенные факты, не стоящие в противоречии с нашей социологией, и рисовать картины будущего, — исключается ли такая возможность? Там, где научному методу поставлен предел, там остается еще достаточно простора для художественного творчества, для фантазии художника, для конкретизации отвлеченных научных проблем, для их популяризации, чем и занимались в прошлом авторы утопических романов. «Утопический» роман приравнивается «строгим» исследователем к утопии, т. е. к ненаучной

социологии, очевидно, на том основании, что утописты, предшественники научного социализма, пользовались формой романа для изложения своих теорий.

Пусть современный утопический роман выродился «в пессимизм и сплошную фантастику» — можно ли на этом основании делать такой категорический вывод: — писателям революционного пролетариата этой формой пользоваться не следует и нельзя (!).

Книга И. Маца весьма содержательная, интересная работа. Она показывает, как много важных вопросов, имеющих практическое значение, у нас почти не подвергается обсуждению. Мы коснулись только некоторых из них. Спорность методологической установки, изобилие подразделений, их условность умаляют значение богатой фактическим материалом исторической части труда.

Г. Якубовский.

И. Сталин. Об оппозиции. Статьи и речи 1921—1927 гг. Гиз. 1928 г. 750 стр. Цена 2 р.

Появление книги тов. Сталина как раз к моменту XV партийного съезда нужно признать весьма своевременным. XV съезд нашел несовместимой принадлежность к оппозиции с пребыванием в партии. Троцкистская оппозиция оказалась за партийным порогом. Завершился целый этап нашей партийной истории. Поэтому сейчас крайне важно оглянуться на пройденный путь, подвести итоги нашей недавней внутрипартийной борьбы, проследить и проанализировать постепенный, все углублявшийся отход оппозиции от ленинизма и от ленинской партии.

Книга тов. Сталина, заключающая в себе важнейшие выступления, посвященные борьбе с оппозицией в период с 1921 по 1927 год, дает богатейший материал для изучения оппортунистического пути троцкистской оппозиции, ставшей на путь всесторонней ревизии ленинизма и, в конце концов, скатившейся в яму меньшевистского социал-демократизма.

В 1921 г. во время дискуссии о профсоюзах тов. Сталин в полном согласии с тов. Лениным обвинял Троцкого в том, что он пытается перенести военные методы из армии в профсоюзы, в рабочий класс. «Демократизм» тов. Троцкого, — писал тов. Сталин, — есть вынужденный, половинчатый, беспринципный и, как таковой, лишь дополняет военно-бюрократический метод, непригодный для профсоюзов» (стр. 11). В противовес лозунгу «перетряхивания», прикрытому псевдодемократической демагогией, тов. Сталин вместе с ленинским Центральным комитетом защищал нормальные методы пролетарской демократии внутри союзов.

В конце 1923 г. началась новая дискуссия между партией и троцкистской оппозицией. Троцкист Преображенский открыто выступил с заявлением, что «партия вот уже два года ведет в основном неверную линию в своей внутрипартийной политике». Иными словами, Преображенский вместе со всей оппозицией утверждал, что со времени X съезда наша партия под руководством тов. Ленина взяла ошибочное направление, запретив существование фракций и группировок. В заявлении 46 оппозиционеров прямо говорилось, что «объективно сложившийся после X съезда режим фракционной диктатуры внутри партии пережил сам себя». В качестве выхода из положения Преображенский настаивал на восстановлении партийной жизни «по типу 1917—1918 гг.».

Таким образом, если в 1921 г. вынужденный, половинчатый, беспринципный «демократизм» служил прикрытием для предполагавшегося перетряхивания профсоюзов сверху, военно-бюрократическими методами, то в 1923 году лозунг «внутрипартийной демократии» понимался троцкистами в смысле борьбы против ленинского режима в партии, в смысле установления свободы фракций.

Тов. Сталин разоблачил эти маневры оппозиции в «Правде» от 15 декабря 1923 г., обвинив Преображенского в том, что он по сути дела предлагает отмену ленинской линии в условиях нэпа и требует ревизии ленинизма (стр. 36—37).

Как известно, в то время Троцкий держал себя архи-осторожно. Предпочитая выпускать на арену своих сторонников, он сам умышленно оставался в тени и руководил публичными выступлениями своей фракции из-за кулис. Поэтому тогда

еще приходилось в упор ставить вопрос: высказывается ли Троцкий за оппозицию или против нее.

Заслуга тов. Сталина состояла в том, что он первый сорвал маску с Троцкого, избегавшего прямо солидаризоваться с оппозицией и открыто не выступавшего ни за, ни против. «Разве так защищают ЦК и его резолюцию о внутрипартийной демократии, принятую к тому же единогласно? — писал тов. Сталин по поводу письма Троцкого «Новый курс». — Впрочем, тов. Троцкий, очевидно, и не ставил себе такой задачи, выступая с письмом к партийным совещаниям. Видимо, умысел другой тут был, а именно: дипломатически поддержать оппозицию в ее борьбе с ЦК партии, под видом защиты резолюции ЦК» (стр. 43). В своем докладе на XIII всесоюзной конференции 17 января 1924 г. тов. Сталин констатировал, что оппозиция создала особое бюро во главе с Серебряковым, рассылала своих ораторов, по команде меняла резолюции, одним словом, оформилась, как определенная фракция со своей фракционной дисциплиной. «Мы в лице оппозиции, — говорил в заключительном слове тов. Сталин, — имеем дело не с людьми, желающими помочь партии, а с фракцией, которая подкарауливала ЦК: «авось, дескать, ошибется, прозевает, а мы его стукнем». Это и есть фракция, когда одна группа членов партии поджидает центральные учреждения партии у переулочка, чтобы сыграть либо на неурожае, либо на падении червонца, либо на других затруднениях партии, для того, чтобы выскочить потом из-за угла, из засады и стукнуть партию по голове» (стр. 73). Как показало все последующее развитие событий, эта характеристика троцкистской фракции была абсолютно правильной. Тогда же тов. Сталин предупреждал оппозицию, что ее предложения идут вразрез с организационными принципами большевизма и знаменуют собою ее отход от Ленина. Уже в то время тов. Сталин поставил вопрос о «третьей силе»: «Оппозиция выражает настроения и устремления непролетарских элементов в партии и за пределами партии. Оппозиция, сама того не сознавая, развязывает мелкобуржуазную стихию. Фракционная работа оппозиции — вода на мельницу врагов нашей партии, на мельницу тех, которые хотят ослабить, свергнуть диктатуру пролетариата» (стр. 80—81).

После того, как оппозиция докатилась до создания второй партии, до уличных демонстраций, тайных типографий и нелегальных собраний, правильность этого анализа проверена и доказана жизненным опытом.

Таким образом, уже в начале 1924 г. была налицо организованная по всем правилам троцкистская фракция, представлявшая собою потенциальный зародыш новой партии, отражавшая давление непролетарских слоев и развязывавшая мелкобуржуазную стихию. Любопытно проследить истоки пресловутой теории оппозиции о термидорианском перерождении партии. Неправильно думать, что ее изобрел в 1925 г. Залуцкий. Залуцкий никогда не претендовал на роль теоретика. Авторами термидорианской теории были на самом деле Троцкий и Радек. Когда в 1923 г. Троцкий писал о перерождении «старой гвардии» II Интернационала, он весьма недвусмысленно намекал на оппортунистическое перерождение, на ослабление пролетарского и революционного духа нашего партийного руководства. Разве это не было замаскированным обвинением в термидоре? Наконец, более откровенно этот вопрос в 1923 или в начале 1924 г. поставил Радек, заявив, что в ЦК, по его мнению, создалась «директория». Как известно из истории французской революции, создание директории знаменовало собою начало термидорианской эпохи.

Таким образом, обвинение в термидоре уже имеет за собой четырехлетнюю давность.

Через всю книгу тов. Сталина красной нитью проходит совершенно исключительная терпимость, с какой относилась партия к фракционно-раскольнической работе оппозиции. В заключительном слове на XIII конференции тов. Сталин рассказал об инциденте на сентябрьском пленуме ЦК в 1923 г., когда Троцкий в ответ на совершенно правильное заявление тов. Комарова, что члены ЦК не могут отказываться от исполнения решений ЦК, демонстративно покинул заседание пленума. Тогда пленум ЦК направил к Троцкому «делегацию» с просьбой вернуться

на заседание. Но тот отказался исполнить эту просьбу. Такая же терпимость проявлялась по отношению к Троцкому в течение последующих лет, вплоть до августовского пленума ЦК и ЦКК 1927 г., когда, несмотря на вызывающее поведение оппозиции, Троцкий и Зиновьев не были выведены из состава Центрального комитета. Впервые опубликованные в данном сборнике речи тов. Сталина на этом пленуме показывают, что он, вполне отдавая себе отчет в том, что неудовлетворительные предложения оппозиции означают не установление в партии мира, а лишь временное перемирие, тем не менее выступал защитником этого временного перемирия с оппозицией. Когда кто-то из участников пленума предложил отвергнуть перемирие, воскликнув: «Нам не надо перемирия, нам нужен мир», то тов. Сталин резонно ответил: «Нет, товарищи, нам перемирие нужно, вы тут ошибаетесь. Если уж брать примеры, лучше было бы взять пример у гоголевского Осипа, который говорил: «Веревочка?—давайте сюда, и веревочка пригодится» (стр. 701). В результате августовский пленум ЦК проявил максимамальную снисходительность и не исключил из своего состава Троцкого и Зиновьева, чего они уже тогда вполне заслужили. Но оппозиция истолковала выступление тов. Сталина и терпимость пленума, как проявление слабости Центрального комитета, и, закусив удила, по всему фронту перешла в бешеную атаку, не останавливаясь перед уличными, по существу антисоветскими, выступлениями и перед созданием второй партии.

После этого партии не оставалось ничего иного, как скрепя сердце прибегнуть к методам отсечения оппозиции, объективно сделавшейся точкой приложения третьей контрреволюционной силы. Еще на XIV партсъезде тов. Сталин, предвидя возможность исключения из партии Зиновьева и Каменева, совершенно правильно поставил вопрос: «Мы за единство, мы против отсечения. Политика отсечения противна нам. Партия хочет единства, и она добьется его вместе с тт. Каменевым и Зиновьевым, если они этого захотят, без них — если они этого не захотят» (стр. 230).

Вожди оппозиции не захотели единства с партией, поэтому партии пришлось добиться своего единства без них, в борьбе против них. Чем больше читаешь и перечитываешь речи и статьи тов. Сталина, чем глубже и серьезнее вдумываешься в них, тем сильней убеждаешься в безукоризненной правильности партийной линии в вопросе об оппозиции. Но не только в этом отношении поучительна новая книга тов. Сталина. Помимо всего прочего она имеет большое теоретическое значение. Здесь затронут целый ряд важнейших и актуальнейших проблем, начиная с вопроса о возможности победоносного строительства социализма в одной стране. Тов. Сталин убедительно доказывает, что творцом этой теории был не кто иной, как сам Ленин. В противовес Зиновьеву, отождествлявшему диктатуру партии с диктатурой пролетариата, тов. Сталин развивает ортодоксально-ленинский взгляд на диктатуру пролетариата. Проблема стабилизации, вопрос о госкапитализме в нашей стране, проблема смычки рабочего класса с крестьянством, критика троцкистской теории перманентной революции, одним словом, все то, что волнует нашу партийную мысль, нашло себе отражение на страницах этой книги. Здесь содержится исключительное обилие материала для дальнейшей теоретической разработки всех этих вопросов. В совершенстве владея марксистским методом, тов. Сталин умело применяет его не только к исследованию теоретических вопросов, но и к анализу событий китайской революции, которой посвящена значительная часть книги.

В области национального и колониального вопроса тов. Сталин является в полном смысле слова творческим марксистом.

Под непосредственным руководством тов. Ленина, он разрабатывал и двигал вперед марксистскую теорию национального вопроса. Естественно, что китайская революция, начавшаяся с национально-революционной, антиимпериалистической борьбы и затем переросшая в аграрно-крестьянскую революцию, застала тов. Сталина вполне подготовленным к решению этих вопросов.

Его печатные и устные выступления по китайскому вопросу дают наглядный урок правильной большевистской так-

тики в непосредственно-революционной обстановке.

Всякое изменение соотношения классовых сил в Китае с логической неизбежностью влекло за собою изменение тактики и смену политических лозунгов. Когда китайская национальная буржуазия еще объективно играла революционную роль, тогда была правильна тактика блока компартии и гоминдана. Немедленное образование советов в то время означало бы перепрыгивание через определенную фазу развития, была бы авантюристским заскоком. Но когда национальная буржуазия под напором широко развернувшейся аграрной революции и рабочего движения перекинулась в лагерь империализма и стала выполнять контрреволюционную роль, тогда в результате дальнейшего углубления революции в порядок дня стала пропаганда лозунга советов, как орудия борьбы за власть и как будущей формы этой власти.

Вместо союза с революционным гоминданом компартия повела борьбу с ним как только в процессе своего развития он превратился в контрреволюционный гоминдан. Кто не понимает этой диалектики, тот является безнадежно потерянным для марксизма и революции.

Этой ленинской линии Коминтерна жалкая, упадочная оппозиция не могла противопоставить решительно ничего, кроме озлобленных истерических воплей, обнаруживавших полное непонимание факта аграрной революции в Китае.

На объединенном заседании президиума ИККИ и ИКК 27 сентября 1927 г. тов. Сталин, подводя итоги безобразным выступлениям оппозиции по китайскому вопросу, дал совершенно правильное резюме: «Никакой линии, никакой политики у оппозиции по вопросу о Китае не было. Была качка, было топтание на месте, метанце из стороны в сторону, но никакой линии у оппозиции не было» (стр. 708).

Впервые опубликованные в этом сборнике важнейшие документы Коминтерна красноречиво свидетельствуют, что коминтерновское руководство задолго до всякой оппозиции последовательно и неуклонно держало курс на развязывание массового движения, на вооружение рабочих, на превращение крестьянских комитетов на местах в фактические органы власти. Вместе с тем Коминтерн принимал энергичные меры для обеспечения организационной и политической самостоятельности китайской компартии и давал директивы о беспощадном разоблачении изменнической и реакционной политики правых, а затем и левых гоминдановцев.

Беспощадно вскрывая социал-демократические, меньшевистские ошибки руководства китайской компартии, тов. Сталин одновременно берет под свою защиту от яростных нападок оппозиции руководство Коминтерна. В своей речи на объединенном пленуме 1 августа 1927 г. тов. Сталин говорил следующее: «Оппозиционеры кричат, что у нее, у円компартии, собственно — у ее руководства, имеются социал - демократические меньшевистские ошибки. Это правильно. Упрекают в этом руководство Коминтерна. Вот это уж совершенно неправильно. Наоборот, ошибки руководства киткомпартии Коминтерн исправлял систематически» (стр. 643).

Однако, по заслугам осуждая оппортунистические ошибки руководящего ядра киткомпартии, тов. Сталин не пытается сделать ее козлом отпущения и не изображает ее причиной всех причин поражения китайской революции. Он не вешает на нее собак и не смешивает ее с грязью, как это делала оппозиция.

Для троцкистской оппозиции прямо убийственно следующее сопоставление тов. Сталина: «Меня поражает высокомерие тов. Троцкого, который, видите ли, терпеть не может, оказывается, малейших ошибок у компартий на Западе или на Востоке. Он поражен, видите ли, что там, в Китае, где имеется молодая партия, которая насчитывает едва два года существования, что там могли появиться меньшевистские ошибки. А сколько лет блуждал сам тов. Троцкий среди меньшевиков? Об этом он забыл? Ведь он блуждал среди меньшевиков целых 14 лет — с 1903 до 1917 г. Почему он дает себе 14-летний срок для того, чтобы, блуждая по всяким антиленинским «течениям», приблизиться потом к большевикам, а молодым китайским коммунистам не хочет дать хотя бы 4-летний срок? Почему он так высокомерен к другим, забывая о своих собственных блужданиях? Почему? Где же тут, так сказать, «справедливость»?» (стр. 644).

В самом деле, почему? Откуда у Троцкого моральное право судить euro киткомпартию, быть ее наставником по кафедре ленинизма? «Врачу, исцелися сам» — с достоинством могут ответить китайские коммунисты.

В заключение сделаем несколько замечаний библиографического характера. Настоящий сборник представляет собою далеко не все, сказанное тов. Сталиным по вопросу об оппозиции. За исключением впервые опубликованной с некоторыми сокращениями речи тов. Сталина на августовском пленуме ЦК и ЦКК 1927 г. и перепечатанной из «Правды» его речи на октябрьском пленуме того же года, все остальные выступления тов. Сталина на пленумах ЦК и ЦКК в эту книгу не вошли. Солидный объем сборника (750 стр.) затрудняет пользование им без алфавитного предметного указателя. Каждый интересующийся тем или иным вопросом с помощью такого указателя легко и быстро мог бы найти все, что ему необходимо.

Кроме предметного указателя ко второму изданию следует сделать кое-какие пояснительные комментарии в конце текста. В наше время события развиваются таким бешеным темпом, что даже 1923 год уже стал наполовину историей. Приведем пример. На стр. 87 говорится о небезызвестной «анонимной платформе», требовавшей ревизии ленинизма. Для того времени, когда это говорилось, платформа, действительно, была небезызвестной, но теперь она уже давно канула в лету. Без соответствующего примечания эта ссылка на «анонимную платформу» для многих будет непонятна. В двух статьях тов. Сталин полемизирует с тов. Рафаилом. В настоящее время имя Рафаила основательно забыто. В примечании следовало бы дать о нем краткую справку. Аналогичных примеров можно привести немало. Издана книга превосходно. 35 000-й тираж дал возможность пустить ее в продажу по 2 р. за экземпляр. Для книги в 47 печатных листов это совсем недорого.

Ф. Раскольников.

М. Павлович (М. Вельтман). Собрание сочинений. Том IX. Революционный Восток. Часть I. СССР и Восток. Гос. изд. Москва—Ленинград 1927 г. Стр. 332. Цена 3 р. 25 к.

Новый том собрания сочинений М. П. Павловича, заботливо подготовленный автором, вышел в свет уже после его смерти. Девятый том (I часть) посвящен восточным проблемам, привлекавшим за последнее время особенное внимание М. Павловича. Тов. Павлович считался, по справедливости, одним из лучших знатоков современного Востока и крупнейшим представителем нового советского востоковедения. Его работы всегда касались наиболее актуальных и боевых вопросов, выдвигаемых текущей восточной действительностью. Вышедшая книга содержит интересный и разнообразный материал. В первую очередь отметим цикл статей, посвященных СССР и Востоку. Тов. Павлович прослеживает влияние наших революций на Восток, приводя обильные иллюстративные данные. Открывается том статьей «Октябрьская революция и восточный вопрос», дающий общую установку всему дальнейшему содержанию. Весьма любопытна статья «Революция 1905 г. и Восток», характеризующая степень и формы революционной экспансии 1905 г. в ее восточных отображениях. Здесь приведено немало красноречивых данных. В статье о Ленине и народах Востока и о Ленине и национальном вопросе М. Павлович останавливается на той роли, какую играл Ленин в деле национально-освободительного движения на Востоке и на его блестящей, строго обоснованной постановке национального вопроса. В статье о восточных торговых палатах и экономических интересах СССР в странах Востока тов. Павлович говорит о тех важных практических мероприятиях, какие предприняты были за последнее годы с целью развития и расширения торговых операций между СССР и Востоком. Автор отмечает здесь активную роль Союзной (ранее Российской) восточной торговой палаты. Ряд статей трактует о вопросах нового тюркского алфавита и находится в связи с первым всесоюзным тюркологическим съездом в Баку, созванным в 1926 г. Азербайджаном совместно с Всесоюзной научной ассоциацией востоковедения. Тов. Павлович принимал самое деятельное участие как в подготовке, так и в самом

проведении съезда. В своих статьях (и речах) он выступал горячим пропагандистом новой реформы, являющейся своего рода культурной революцией на Востоке. Обстоятельную, снабженную большим фактическим материалом статью о достижениях тюрко-татарских народностей со времени Октябрьской революции, М. П. Павлович заканчивает следующей пламенной репликой: «Латинский алфавит — это не мрачный столб на кровавом пути конфликтов между отдельными тюркскими народностями и этими народностями в СССР, с одной стороны, и зарубежным Востоком, с другой. Нет, это яркий маяк, ослепительно сверкающий указательный столб на великой дороге к завоеванию тюрко-татарскими народами культуры, цивилизации, всех благ прогресса, которыми до сих пор пользовались только европейские народы (стр. 121). Статья «История и задачи новых востоковедных вузов» выявляет ряд проблем нового востоковедного образования в связи с расширением деятельности созданных революцией Московского и Ленинградского восточных институтов. Особенно важное значение имеет статья «Задачи и достижения советского востоковедения». Это — последняя статья М. П. Павловича, написанная им по случаю пятилетия Научной ассоциации востоковедения при ЦИК СССР. Здесь автор не только дает яркую картину состояния нашего востоковедения перед Октябрем и зарождения и быстрого роста советского востоковедения, но и высказывает ряд ценных и глубоких теоретических соображений. Будучи организатором и бессменным председателем созданной по инициативе В. И. Ленина Научной ассоциации востоковедения, М. П. Павлович был, как никто другой, в курсе всего востоковедного дела Советского Союза. И вот, следя за развитием и успехами советского востоковедения, автор отмечает его отличительные особенности и намечает дальнейшие перспективы. «Отличительной чертой молодого советского востоковедения, — пишет он,— несомненно, является то, что оно стремится объяснить все социальные, политические, культурные процессы, происходящие в странах Востока, характер развития этих процессов, форму классовой структуры населения этих стран основными чертами хозяйственной жизни их, влиянием прошлой истории и т. д., причем вся жизнь современного Востока изучается советским востоковедением под углом зрения освободительной борьбы угнетенных народов желтого и черного континентов против империализма» (стр. 143). И далее он продолжает: «Освещая марксистски политическую, экономическую и культурную жизнь народов Востока в ее прошлом и настоящем, изучая современное состояние промышленности, торговли, мелкого ремесла, земельных отношений в Китае, Персии, Индии и т. д., советские востоковеды исследуют все хозяйственные и социально-политические процессы, происходящие в этих странах с точки зрения перспектив национально-революционного движения народов Востока и борьбы революционного пролетариата с мировой буржуазией. В отличие от буржуазных востоковедов *мы ищем для Востока не путей к движению вспять, к старому проклятому прошлому векового рабства и мракобесия, а, как раз наоборот, путей революционного развития*, руководясь при этом тезисами по колониальному и национальному вопросам, вычеканенными тов. Лениным в знаменитых пунктах, принятых на II конгрессе Коминтерна и являющихся ныне своего рода скрижалями завета в глазах всего Востока» (стр. 145). Констатируя достижения Ассоциации востоковедения, «которая первая стала во главе нового востоковедения и первая формулировала задачи последнего», тов. Павлович в этом своем последнем завете призывал к дальнейшему углублению и расширению работы, причем, наряду с дальнейшим накоплением и подбором фактического материала, он считал необходимым обратить больше внимания на вопросы общего методологического, теоретического и программного характера. Занятые позиции, как совершенно справедливо полагал тов. Павлович, надо закрепить. И эти соображения нашего выдающегося советского востоковеда далеко не лишне припомнить теперь, когда неожиданно нависают угрозы необоснованных экспериментов и случайных реформ,

могущих принести серьезный ущерб становящемуся на ноги молодому советскому востоковедению.

Вторую часть книги занимает известная работа тов. Павловича о революционной Турции. Автор пересмотрел и дополнил изложение, доведя его до 1927 г.

В своем настоящем виде работа т. Павловича является чрезвычайно полезной, знакомя с последовательными этапами разложения старой Турецкой империи и создания новой Турции. Автор дает обстоятельный экономический очерк Турции и внимательно прослеживает основные моменты национально-освободительного движения. В последней главе намечаются перспективы турецкой революции. Тов. Павлович уделяет особое внимание той роли, которую в истории новой Турции сыграл Советский Союз.

В заключение нельзя не пожелать, чтобы за вышедшим томом последовали и дальнейшие и чтобы не законченное при жизни автора собрание его сочинений было завершено его друзьями и соратниками.

И. Бороздин.

Издатель: Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва, Кривоколенный пер., 14; тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ

За рубежом

От земли и городов

Литературные края

Критика и библиография



ПЕЧАТЬ И РЕВОЛЮЦИЯ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, КРИТИКИ И БИБЛИОГРАФИИ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ: **Вяч. Полонского, А. В. Луначарского, Н. Л. Мещерякова, И. И. Степанова-Скворцова, М. Н. Покровского.**

8 КНИГ В ГОД

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

на год — **12** р., на 6 мес. — **6** р. **50** к., на 3 мес. — **3** р. **75** к., на журнал с приложениями: на год — **24** р. **50** к.

Цена отдельного номера — 2 руб.

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОДОВЫХ ПОДПИСЧИКОВ:

Всего вместо **25** руб. за **12** руб. **50** коп.

В. ПОЛОНСКИЙ **РУССКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЛАКАТ**

Роскошное богато-иллюстрированное издание, ц. 15 руб.

Творчество А. Н. ОСТРОВСКОГО Юбилейный сборник под ред. С. К. Шамбинаго. Стр. 365+портрет.

СОДЕРЖАНИЕ: **А. А. Фомин.** — Связь Островского с предшествующей драматической литературой. **Н. П. Кашин.** — Отношение к Островскому западной сцены и научной литературы. **В. В. Яковлев.** — Общественно-театральная деятельность Островского. **А. А. Фомин.** — Черты романтизма у Островского. **П. А. Марков.**—Морализм Островского. **Б. В. Варнеке.** — Островский и сценические исполнители. **В. Г. Сахновский.** — Влияние театра Островского на русское сценическое искусство. **Н. П. Кашин.** — Исторические пьесы Островского. **С. К. Шамбинаго.** — Из наблюдений над творчеством Островского.

ПУШКИН В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ СБОРНИК СТАТЕЙ. Стр. 408.

ТУРГЕНЕВ И ЕГО ВРЕМЯ Первый сборник под редакцией **Н. Л. Бродского.** Стр. 325

ЩЕГОЛЕВ, П. **ДУЭЛЬ И СМЕРТЬ ПУШКИНА**

ЛИТЕРАТУРА и МАРКСИЗМ

Журнал истории и теории литературы.
Выходит 6 книг в год.
Отв. ред. В. М. Фриче.

Редакция: Коллегия И-та языка и литературы: В. М. Фриче, В. П. Лебедев-Полянский, В. Ф. Переверзев, И. И. Гливенко, Е. Д. Поливанов, С. С. Динамов.

ЗАДАЧА ЖУРНАЛА — разработка вопросов истории и теории литературы с точки зрения марксистской методики.

ОТДЕЛЫ ЖУРНАЛА: 1) Проблема марксистской методологии литературоведения. 2 Поэтика. 3) История литературы. 4) Вопросы современной литературы. 5) Хроника. Обзор научной жизни учреждений, разрабатывающих вопросы литературоведения.

Подписная цена: на год — 5 руб., на 6 мес. — 3 руб.

НАУЧНОЕ СЛОВО

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Редакция: проф. О. Ю. Шмидт (отв. ред.), проф. А. И. Абрикосов, прив.-доц. К. Х. Кекчеев, М. Я. Лапиров-Скобло, акад. С. Ф. Ольденбург, В. К. Траубенберг, Э. В. Шпольский.

ЗАДАЧА ЖУРНАЛА: отражение научной мысли во всех отраслях человеческого знания.

ОТДЕЛЫ ЖУРНАЛА: 1. Естествознание и техника. 2. Социология. 3. Организация умственного труда.

Подписная цена: на год — **8** р., на **6** мес. — **4** р. **50** к.

Цена отдельного номера — 1 руб.